

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2014

№ 1 (27)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук", Высшей аттестационной комиссии



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

А. Демешкина (Томск, Россия) – главный редактор
А. Айзикова (Томск, Россия) – зам. главного редактора
М. Ершов (Томск, Россия) – зам. главного редактора
А. Катунин (Томск, Россия) – отв. секретарь
П. Каминский (Томск, Россия) – зам. отв. секретаря
В. Иванцова (Томск, Россия)
Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
А. Суханов (Томск, Россия)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

К.Ф. Бейлин (Stony Brook, USA)
Л. Вартанова (Moscow, Russia)
Д. Голев (Kemerovo, Russia)
Н. Липовецкий (Boulder, USA)
И. Резанова (Tomsk, Russia)
В. Силантьев (Novosibirsk, Russia)
Л. Фрэнкс (Bloomington, USA)
В. Шмелева (Veliky Novgorod, Russia)
С. Янушкевич (Tomsk, Russia)

EDITORIAL BOARD

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy Executive Editor
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Блинова О.И., Гавар М.Э. Синонимия сибирского говора сквозь призму комплексной лексикографической параметризации.....	5
Копытов О.Н. О тексте СМИ сегодняшнего дня: взгляд со стороны модуса.....	16
Москалюк Л.И. Немецкие языковые острова в Западной Сибири.....	28
Кочеткова М.О., Тубалова И.В. Динамика развития блога как жанра дискурса блогосферы: социолингвистический аспект.....	39
Шмелева Т.В. Память термина: <i>языковедение, языкознание, лингвистика</i>	53

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Алексеев П.В. Сирия в мифопоэтике О.И. Сенковского.....	63
Анисимов К.В., Разуvalова А.И. Два века – две грани сибирского текста: областники vs. «деревенщики».....	75
Киселев В.С., Васильева Т.А. Эволюция образа Украины в имперской словесности первой четверти XIX в.: регионализм, этнографизм, политизация (Статья третья. «Между Польшей и Россией»).....	102
Никитина Н.А., Тулякова Н.А. «Перламутровый ларец» А. Франса: жанр и композиция.....	124
Севастьянова С.К. «Нравственные правила» Василия Великого и «Наставление царю» как источники «Возражения» патриарха Никона.....	136

ЖУРНАЛИСТИКА

Каминский П.П. Природа в публицистических очерках Виктора Астафьева 1960–1990-х гг.	150
Пронин А.А. Авторская интенция в информационной тележурналистике: опыт практического анализа.....	159

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

Яценецкая М.Н. Пропозициональный аспект словообразования (обзор работ сибирских дериватологов).....	167
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	193

CONTENTS

LINGUISTICS

Blinova O.I., Gavar M.E. Synonymy of the Siberian dialect through the prism of complex lexicographic parametrisation	5
Kopytov O.N. On the text of modern media: the modus aspect	16
Moskalyuk L.I. German island dialects in Western Siberia	28
Kochetkova M.O., Tubalova I.V. Development of the blog as a genre of the blogosphere discourse: the sociolinguistic aspect	39
Shmeleva T.V. Memory of the term: <i>yazykovedenie, yazykoznanie, lingvistika</i>	53

LITERATURE STUDIES

Alekseev P.V. Syria in O.I. Senkovsky's mythopoetics.....	63
Anisimov K.V., Razuvalova A.I. Two centuries – two versions of the Siberian text: regionalists vs. "village-prose writers"	75
Kiselev V.S., Vasilieva T.A. Evolution of the image of Ukraine in the imperial literature of the first quarter of the nineteenth century: regionalism, ethnography, politicization. Article 3. "Between Poland and Russia"	102
Nikitina N.A., Tulyakova N.A. <i>L'Etui de Nacre</i> by Anatole France: genre and structure	124
Sevastyanova S.K. The <i>Moralia</i> by Basil the Great and the <i>Instruction to the Tsar</i> as the sources of Patriarch Nikon's <i>Refutation or Demolishment</i>	136

JOURNALISM

Kaminskiy P.P. Nature in the publicistic essays of Victor Astafiev of 1960s – 1990s	150
Pronin A.A. Author's intention in information television journalism: the experience of practical analysis	159

SCIENTIFIC HERITAGE

Yantsenetskaya M.N. The propositional aspect of word formation (the overview of works by Siberian scholars)	167
--	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	193
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1.374
DOI 10.17223/19986645/27/1

О.И. Блинова, М.Э. Гавар

СИНОНИМИЯ СИБИРСКОГО ГОВОРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОМПЛЕКСНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ

Статья посвящена полиаспектной классификации синонимических рядов вершининского говора – одного из русских старожильческих говоров Среднего Приобья. Исследование выполнено в рамках проекта комплексной лексикографической параметризации говора с привлечением вершининских словарей разных типов (толковых и аспектных). Создание словаря синонимов сибирского говора является завершающим этапом проекта. В структуру словарной статьи включена интерпретационная зона, описывающая разноаспектные характеристики синонимов, это послужило источником для классификации синонимических рядов исследуемого говора. Актуальность составления словаря обусловлена продуктивностью и информативностью лексикографического метода исследования русского языка и его говоров.

Ключевые слова: синоним, синонимия, синонимические ряды, сибирский говор, синонимический словарь, классификация, лексикографический метод.

Избранная тема статьи связана с задуманным в середине 80-х гг. XX в. проектом комплексной лексикографической параметризации одного говора, одной микросистемы [1]. Выбор пал на один из русских старожильческих говоров Среднего Приобья – говор с. Вершинино Томской области (далее вершининский или сибирский говор). За истекший период в рамках проекта были опубликованы разные типы словарей (толковые [2, 3] и аспектные словари: мотивационный [4], антонимический [5], вариантный [6], образный [7]), содержащие в своей совокупности десятки тысяч слов и фразеологизмов сибирского говора.

В последние годы велась работа по составлению синонимического словаря сибирского говора в соответствии с разработанной концепцией [8, 9], отдельные вопросы лексикографического представления синонимов отражены в публикациях членов авторского коллектива [10, 11]. Предварительный вариант синонимического словаря насчитывает свыше тысячи словарных статей. Из них 600 статей составлены одним из соавторов данной работы – М.Э. Гавар. Этот материал лёг в основу классификации синонимических рядов (далее СР). Ниже приводится образец словарной статьи словаря синонимов сибирского говора (список условных сокращений и обозначений приведен в конце настоящей статьи):

КРАСИВЫЙ, ВИДНЫЙ, КРАСИВЕНЬКИЙ, МАЛОВИДНЕНЬКИЙ, СИМПАТИЧНЫЙ/СИНПАТИЧНЫЙ, СИМПАТИЧНЕНЬКИЙ, СЛAVНЕНЬКИЙ, ХОРОШЕНЬКИЙ, ХОРОШИЙ

Имеющий привлекательные черты внешности.

Красивый [мот., зам., ант. некрасивый, как скелет, страшный, страшненький, как веретёшко, О, 35]

Хороший [абс., мот., уточ., поясн., зам., ДО, 18]

Симпатичный – вызывающий симпатию, расположение [отн., вар., мот., зам., уточ., О, 2]

Синпатичный [отн., вар., мот., зам., ант. как *веретёшко*, ДО, 10]

Видный – представительный [отн., мот., обр., антроп., переч., уточ., О, 2]

Славненький [экспр.-стиль, мот., переч., ласк., одоб., О, 1]

Симпатичненький [экспр.-стиль, мот., уточ., поясн., ласк., Д, 1]

Маловидненький [экспр.-стиль, мот., ласк., ДО, 1]

Красивенький [экспр.-стиль, мот., уточ., стиль, ласк., О, 3]

Хорошенький [экспр.-стиль, мот., уточ., стиль, ласк., О, 24]

– *Хороша, така красивенька, недослышит она только. А так хороша, красивенька, беленька, кудрявенька* [девушка]. // *Дети хорошеньки, красивеньки*. // *Владимир Прокофьевич женился, красивый был, это щас страшненький стал, а так он хороший был*. // *Красивый был! Яков походит маленько на него, но он синпатичней был*. // *То-олстый такой, красивый, синпатичный, черноватый* [парень]. // *А мужик краси-ивый, синпатичный, а она вот така, как веретёшко*. // *Красива така, хороша*. // *Когда намоется, набрется – хорошенький, красивый, синпатичный*. // *А так он симпатичный, правильно, был хороший*. // *Она же синпатична, красива она, Ленка-то. – Ваське синпатична, а так-то... – Нет, нет! Хороша, хороша!* // *Хорошенька была, синпатичненька така!* // *Она така видна, хороша женичина, а тоё бросил*. // *Вот здесь бабушка живёт. Славненькая, хорошая*. // *Красивый был, а счастье он – как скелет*. // *Некрасивая сама, Красивый мой милёночек (из частуш.)*. // *Поди, хорошенька Надька-то? Натолый хороший*. // *На морду хороша, а в чунях*. // *Такая синпатичная девчошка*. // *Ну супроти его она так-то, по красоте-то, как это... [хуже]. Ну и он не красавец, ну как-то это, маловидненький такой*. // *Девчонка така хорошенька. И фотографию прислал. Их две там. Одна серьёзная, а наша хорошенька*. // *Понравилась она мне. Молоденька, тоненька, на лицо хорошенька*.

Жанр словаря определяется характером построения его словарной статьи, количеством ее зон, способом расположения материала и приемами его отражения с учетом адресата. Так, статья словаря состоит из трёх зон: заглавной, интерпретационной и иллюстративной. Заглавная зона представлена синонимическими рядами, начинающимися с доминанты, после которой располагаются остальные компоненты в алфавитном порядке. Иллюстративная зона включает тексты и метатексты, в которых актуализируются синонимические отношения либо употребляется одиночный синоним. Новизну исследования синонимии подчеркивает включение в словарную статью интерпретационной зоны, которая состоит из толкования значения ряда¹ и характери-

¹ Толкование значения синонимического ряда формируется на материале толковых словарей вершининского говора [2, 3] и может соответствовать значению доминанты. Доминанта – это лексема, которая имеет прямое номинативное значение, является наиболее употребительной, обладает наибольшей семантической сочетаемостью в говоре, семантически максимально емкая, нейтральная стилистически. Значение доминанты должно содержать семы, которые являются общими для всех членов парадигмы. В том случае, когда среди компонентов синонимического ряда нельзя выделить такую лексему, в качестве доминанты используется наиболее употребительный синоним говора, а толкование значения ряда представляет собой описание общих сем в значении членов синонимического ряда. Кроме того, у относительных (семантических) синонимов указываются оттенки значения.

стик синонимов: семасиологической (вид синонима, наличие свойства мотивированности, образности, выполняемые функции, системные связи), культурологической (принадлежность к лингвокультурологическим разрядам зооморфизма, артефактоморфизма и др.), лексикологической (стилистическая и эмоционально-экспрессивная дифференциация, в аспекте новизны и устарелости), грамматической (морфологические и синтаксические) характеристик, отмечены соотносительность синонимов с разновидностями языка и количество фиксаций. Включение разноаспектных характеристик в структуру интерпретационной зоны словаря позволило создать классификацию СР говора.

Под синонимическим рядом понимаются «два и более лексических синонима, соотносимых между собой при обозначении одних и тех же явлений, предметов, признаков, действий и т.д.» [12, С. 98].

Классификация синонимических рядов

Выявлены следующие виды СР по различным основаниям:

1. По лексико-грамматической соотносительности в СР объединены слова только одной части речи или разных. Таким образом, СР делятся:

1) на однородные, состоящие из синонимов, принадлежащих одной части речи:

– из имен существительных: *бич, бичик, кнут, плеть, плётка, пуга; заработок, плата; избыток, лишка;*

– из имен прилагательных: *злой, дикий, лихой; красивый, видный, красивенький, маловидненький, симпатичный/симпатичный, симпатичненький, славненький, хорошененький, хороший;*

– из глаголов: *бить, жварить, лупить, пороть, стегать, хлестать; ворожить, гадать, навораживать; набрать, нахапать, нахватать;*

– из наречий: *безбожно, бессветно; вместе/вместях, дружно, единомышленно, заодно;*

– из служебных частей речи – союзов, частиц, предлогов: *ага, да, ну, угу; ой, оиньки; или/али, ли, либо; сверх, поверх;*

2) смешанные, включающие разные части речи и устойчивые сочетания: *напиться, нажраться, напиться в дужинку, натилискаяться, окосеть, опьянеть, подпить; отчаянный, бедовый, боевой, бойкий, вертоголовый, оторви да брось, оторви-голова, отчаюга; здоровый/здоровой, здоровый как бык, быть в могуте, быть в силе, железный, здоровенный/здоровянный, здоровуций/здоровучий, крепкий, крупный, лев, матёрый, могутной, прочный, сильный/сильной, ядрёный.*

2. По морфологической структуре синонимов выделены СР, включающие:

– только однокорневые синонимы: *изрезать, порезать, нарезать; кончить, закончить, окончить; шишковать, шишкарить, шишкобойничать; рукотельник, рукотерник/рукотёрник;*

– однокорневые и разнокорневые синонимы: *урожайный/урожайливый, плодородный; спина, горб, горбушка;*

– только разнокорневые синонимы: *комната, горница, зал; спиртное, магарыч; конь, лошадь.*

3. По виду синонимов относительно доминанты¹ отмечены СР:

– однородные, включающие:

а) абсолютные синонимы, или дублиеты (*лист, противень; мараться, грязниться, пачкаться*);

б) относительные синонимы или семантические (*накормить, попотчевать, угостить; переживание, страдание; переиживать, перелаживать*);

в) экспрессивно-стилистические синонимы (*убить, поразить, порешить, похитить, приканать, прихлопнуть, укокошить*);

– смешанные, состоящие из синонимов разных видов: *напиться, нажраться* (экспр.-стил.), *напиться в дужинку* (экспр.-стил.), *натилискается* (экспр.-стил.), *окосеть* (экспр.-стил.), *опьянеть* (отн.), *подпить* (отн.); *наругать, настрамить* (отн.), *облаять* (экспр.-стил.), *обозвать* (отн.), *обхамкать* (экспр.-стил.), *обхаять* (экспр.-стил.), *отругать* (абс.).

Около четверти синонимических рядов включают экспрессивно-стилистические синонимы, которые имеют оттенок интенсивности проявления признака или действия (*здоровенный, здоровучий* ср. здоровый, крепкий; *огреть, двинуть, заузёнить, бахануть, бацкнуть, долбануть, дробалызнуть* ср. ударить), выражают позитивную или негативную оценку обозначаемого (*толстенький, жирненький, полненький* – ласк., ср. толстый, жирный; *изнежить, исповадить* – неодобрительное, ср. испортить; *шпингалет* – неодобрительное, ср. маленький).

В составе сниженной лексики представлены синонимы: пренебрежительные (*приканать, прихлопнуть*, ср. убить; одёвка, тряпка, ср. одежда); презрительные (*забуддыга, пьяница загрешный*); бранные и грубые (*жратва*, ср. еда, пища; *облаять, обхамкать*, ср. наругать).

4. В аспекте мотивированности отмечено три вида синонимических цепочек:

а) ряды, состоящие из мотивированных компонентов: *выгнать, выдворить, выжить, выкинуть, выключить, выпихнуть, вышвырнуть, отжить, отправить, попросить; душистый, пахучий, пашистый; лавочка, скамеечка; наговаривать, колдовать, навораживать, намаливать*;

б) ряды, состоящие из немотивированных компонентов: *дом, изба, хата; позор, срам, стыд; страна, земля*;

в) смешанные: *горе, беда, бедствие/бедствия, катастрофа/катастрофия, напасть, несчастье; дорогой, драгоценный, заветный, ценный*.

Ряды, состоящие из мотивированных компонентов, составляют одну треть всех СР и включают мотивационно связанные группы (две и более группы в одном ряду). Среди них присутствуют следующие виды:

1. Объединённые лексической мотивацией: *дорогой, драгоценный, ценный; коренной, кореновой; издивиться, удивиться; изрезать, нарезать, порезать; втихаря, потихоньку/потихонечку; наговорить, заговорить, поговорить; рукотельник, рукотерник/рукотёрник*.

¹ Вид синонима определяется относительно доминанты, так как синонимические отношения существуют только между компонентами синонимической пары или ряда, а не являются свойством слова, как, например, мотивированность.

2. Объединённые структурной мотивацией: *выгнать, выдворить, выжить, выкинуть, выключить, выпихнуть, вышвырнуть; вертлявый, крутлявый; закат, заход; набрать, нахапать, нахватать; недостатки, недочётки; объедистый, обжористый; переживание/переживанье, страданье; переступить, перешагнуть; подшить, подштопать.*

3. Объединённые и лексической, и структурной мотивацией: *душистый, пахучий, пашистый; пригоношить, сгоношить, сэкономить, сберечь; избить, набить, налупить, нахлестать, отлупить, отхлестать; исколоть, изрубить, поколоть, порубить; маленько, капельку, крошечка/крошечку, крошка/крошку, маленечко, мало, малость, немного, немножко, чуточку; окучивать, гресть, огребать, подбивать, подгребать.*

5. В аспекте образности СР делятся на два вида:

– ряды, включающие образные единицы: *украсть, ограбить, свистнуть (обр.), стащить (обр.), упереть (обр.), утащить (обр.); сломаться, полететь (обр.); сигналить, пикать (обр.);*

– ряды, не включающие образные единицы: *укладывать, паковать; умы-вальник, рукомойка, ручной; устать, замаяться, переутомиться.*

В свою очередь СР, в которых присутствуют образные синонимы, в аспекте лингвокультурологии подразделяются на синонимические цепочки, включающие:

– антропоморфизм: *дружить, вести дружбу, дразнить (антроп.), играть (антроп.), ходить (антроп.)* – встречаться, симпатизировать друг другу; *изорвать (антроп.), залихотить, истянуть (антроп.)* – замучать рвотой, тошнотой; *напиться (антроп.), нажраться (антроп.), напиться в дужинку, натили-скасться, окосеть (антроп.), опьянеть, подпить* – прийти в состояние опьянения, выпивая спиртные напитки;

– зооморфизм: *кричать, выть (зоом.), дурнинушкой реветь, орать, реветь (зоом.), рёвом реветь* – сильно плакать; *поесть/поисть, поглотать, погрызть (зоом.), пожрать, поклевать (зоом.), покушать* – поесть немного чего-л.; *умереть, замереть, издохнуть (зоом.), погибнуть, помереть, про-пасть, скончаться, скончаться (зоом.), убраться* – перестать жить;

– артефактоморфизм: *булка, булочка, буханка, кирпич (артеф.)* – хлеб разной формы; *исход, капут, крышка (артеф.)* – результат, итог чего-л.; *пьянствовать, гудеть (артеф.)* – предаваться пьянству;

– натуроморфизм: *здоровый/здоровой, железный (натур.), здоровенный/здоровянный, здоровущий/здоровучий, крепкий, крупный, матёрый, могунтой, сильный/сильной, ядрёный* – крепкого телосложения, сильный; *неграмотный, тёмный (натур.)* – не умеющий читать и писать;

– фитоморфизм: *здешний/здешный, коренной (фитом.), кореновой (фитом.), местный* – родившийся и выросший, как и его предки, в данном месте; *лист (фитом.), противень* – тонкий железный лист с загнутыми краями для печения, сушки и т.д.; *любимая, медунка (фитом.), милая, подруга* – возлюбленная;

– фономорфизм: *ударить, бахануть (фоном.), бацкнуть (фоном.), двинуть, долбануть, заузёнить, огреть, охоботить, оцечуть, хлестануть* – нанести удар, причинив боль; *сигналить, пикать (фоном.)* – сообщать сигналом чем-л.

6. В аспекте связи синонимии с другими явлениями диалекта выявлены СР:

– включающие формальные варианты слова: *мальчик, мальчишка/мальчишко/мальчишок, мальчонка, парень, пацан; реветь, кричать, бузовать/базовать/бузать, орать, рёвом реветь; станинка, комбинация/конбинация;*

– не включающие формальные варианты слова: *лейка, поливальник; тёрка, шинковка; кантарь, безмен; залёта, дружок, любимый, милый.*

7. По соотносительности с основными формами национального языка выделены СР:

1) однородные:

– состоящие только из общерусских слов: *бояться, страшиться, трястись, ужасаться; голый, нагой; горячий, жаркий; гулять, забавляться, развлекаться; дефицит, недостаток; закрыть, запереть;*

– состоящие только из диалектных слов: *шишковать, шишкарить, шишкобойничать; захрадеть, захудеть; зима-лето/зима-и-лето, лягушка; извянуть, задрыбнуть;*

2) смешанные ряды, включают слова разных форм национального языка:

а) в основном компоненты общерусские и один или два – диалектные (Д) или диалектный вариант общерусского слова (ДО): *бич, бичик, кнут, плеть, плётка, пуга (Д); верёвка, бечева, канат, трос/трост (ДО); ворожить, гадать, навораживать (ДО); выгнать, выдворить, выжить, выкинуть (ДО); говорить, гуторить (Д);*

б) общерусские и просторечные (П) компоненты: *запомнить, заметить (П); затвердеть, задубеть (П); здорово (П), не покладая рук, уладно, усердно; зудить (П), надоедать.*

в) в основном все компоненты общерусские и один или два – диалектные и просторечные: *есть/исть (ДО), жрать (П), кормиться, кушать, мести (ДО), наворачивать (П), питаться; кабак, пивнуха (Д), пивнушка (П); краду-чи (ДО)/крадучись, втихаря (П), потихоньку/потихонечку.*

8. По длине ряда выделены СР:

– двучленные, состоящие из 2 синонимов (синонимическая пара): *запомнить, заметить; запинаться, спотыкаться; зарости, зажить; затвердеть, задубеть; крышка, нахлобучка; ларёк, магазинчик; лист, противень;*

– многочленные, состоящие из 3 и более синонимов: *метель, буря, буран, буранина, вьюга, падера, пурга; любимая, медунка, милая, подруга.*

Самый объемный синонимический ряд со значением ‘человек, страдающий душевным, психическим расстройством’ состоит из 29 компонентов (Е.В. Иванцова выделила 17 компонентов в речи одной носительницы вершининского говора [13]): *сумасшедший, без ума, безрассудный, дикарь, дикий, дикошарый, дикуща, дичь, дурак/дура, дураковатый/дурковатый, дурачок/дурочка, дурной, куды люди, туды и мыслете, не все дома, не совсем умом, недостаток с головой, ненормальный, ненормальненький, папочки с мамочкой нету, повернутый, потерял(а) колечко, слабенький умом, стебильный, тяти с мамой не было, чух-рюх, шарики за ролики заходят.*

Проиллюстрируем его примерами из речи носителей говора:

Сумасшедший – который без ума, тот и сумасшедший. // А у ей это... шарик за ролик стали заходить теперича, она всё равно ненормальна, так... и так всё... ну, не дурочка настояща, но есь... // Поди уж не все дома у него, папочки с мамочкой нету. // Один совсем дурак, а двое-то, ну слабенки умом, ну ничё вроде ба. А брат совсем ненормальный. // А его жена-то идёт. Она тоже дурочка. И он-то ненормальный. // А Филипповна – тоже дочка у ей грамотна, она преподаёт. Только у ей таки – как их называют? Стебильны, ли каки ли? Дураки, в общем.

Среди глаголов самый длинный ряд со значением ‘нанести удар, причинив боль’ включает 17 синонимов: ударить, бахануть, бацкнуть, дарбалызнуть/дробалызнуть, дать, двинуть, долбануть, заузнить, огреть, охоботить, оцечучить, парнуть, стегнуть, тяпнуть, хватить, хлестануть. Также длинные ряды синонимов обозначают: физическое состояние человека (здоровый/здоровой, здоровый как бык, быть в могу́те, быть в силе, железный, здоровенный/здоровянный, здоровущий/здоровучий, крепкий, крупный, лев, матёрый, могутной, прочный, сильный/сильной, ядрёный (19 компонентов); красивый, видный, красивенький, маловидненький, симпатичный/синпатиный, симпатичненький, славненький, смазливенький, хорошенький, хороший (11 компонентов), физическое воздействие (избить, искровенить, набить, навозить, надавать, нажварить, налупить, нахлестать, нащёлкать, отлупить, отхлестать).

Образование многокомпонентных рядов обусловлено взаимодействием различных форм национального языка (диалектного, городского просторечия и литературного) в одном контексте. Исконное для вершининского говора слово вступает в синонимические связи с лексемой литературного языка или просторечия (*А раньше станки называли «кросна». // Поливальник? Лейка така с дырочками, так поливат, как сито*). Многочленные ряды показывают, что каждый член ряда выражает различные смысловые оттенки основного синонимического значения ряда. При этом для говора характерны синонимические ряды с устаревшими и новыми словами (*Двухпёрстка – два пальца в клетку влезет, или перста. Четырёхпёрстка – четыре перста, трёхпёрстка – три перста. // Горница – зал её щас называют, ну, а жилье – кузня была*), что рождает некоторую перенасыщенность диалекта разнотилевыми синонимами. Чем объемнее ряд и чем больше количество таких рядов, тем богаче говор.

На основе анализа классификации синонимических рядов можно сделать выводы о том, что особенности синонимии в речи носителей вершининского говора проявляются: 1) в соотношении грамматических классов слов (большинство синонимических рядов – глагольные); 2) значительное место занимают относительные и экспрессивно-стилистические синонимы и цепочки с ними; 3) высокий процент смешанных рядов, характеризующихся соотносённостью с основными формами национального языка (лексическая система говора подвергается изменениям, которые проецируются на выбор, осуществляемый говорящим, на лексическую синонимию, таким образом, синонимия говора представлена как общерусскими и просторечными, так и диалектными словами в одинаковой мере); 4) в длине ряда (наиболее длинными являются синонимические ряды из глаголов и прилагательных, средняя длина ряда –

4 синонима, максимальная – 29); 5) в тесной связи синонимии с другими свойствами слова, такими как мотивация и образность; 6) в переплетении системных связей слов говора, что отражается в структуре синонимического ряда (включение в них формальных вариантов слова).

В заключение хочется отметить, что благодаря использованию лексикографического метода удалось представить лексическое богатство сибирского старожильческого говора. Лексикографическая параметризация позволяет не только полно показать весь арсенал синонимических средств диалекта в виде классификации рядов, но и описать полиаспектную характеристику компонентов синонимических рядов, их предназначенность (функционирование) в речи, связь синонимии с другими системными отношениями. Лексикографический метод как продуктивный метод лингвистического анализа заключается в «планомерной инвентаризации единиц языка посредством их лексикографирования» [14. С. 150] и характеризуется рядом преимуществ: 1) максимально полный охват языкового материала; 2) систематизация на основе выбранного критерия; 3) многоаспектная интерпретация; 4) взаимосвязь с теорией; 5) высокая степень информативности [15. С. 16]. Таким образом, словарь синонимов выступает не только как результат в описании лексического явления диалекта, но и как средство и метод изучения явления синонимии.

В современной науке активно развивается словарная параметризация различных языковых систем и подсистем, что свидетельствует об актуальности таких трудов, так как они синтезируют теоретическое и прикладное начало в изучении языка, позволяют ярко представить специфику предмета лексикографирования. Новизна исследования определяется объектом изучения – синонимией сибирского говора. На материале отдельного сибирского говора комплексное изучение явления синонимии предпринимается впервые, хотя уже с середины XX в. ведется описание говоров Среднего Приобья и всей Сибири. Подходы к исследованию определялись в зависимости от объекта рассмотрения: среднеобский диалект [16, 17], диалектные группировки [18, 19, 20, 21], отдельный говор [22], речь диалектной личности [13].

Дальнейшее изучение синонимии сибирского говора предполагает выявление специфики функционирования синонимов в речи носителей диалекта; связи явления синонимии с другими явлениями говора; разработку лексикографического аспекта данного исследования. Сам синонимический словарь характеризуется большим спектром информативных возможностей не только является источником для изучения лексикологических и лексикографических вопросов, но может послужить материалом для лингвокультурологических, когнитивных, стилистических исследований.

Список условных сокращений и обозначений

абс. – абсолютный синоним	общерусского слова
ант. – антоним	ДП – диалектный вариант
антроп. – антропоморфизм	просторечного слова
артеф. – артефактоморфизм	зам. – функция замещения
вар. – варианты отношения	зоом. – зооморфизм
Д – диалектное слово	-л. – либо

ДО – диалектный вариант
 мот. – мотивированный
 натур. – натуроморфизм
 О – общерусское слово
 обр. – образный
 одобр. – одобрительное
 отн. – относительный синоним
 П – диалектно-просторечное
 переч. – функция перечисления
 ПО – диалектно-просторечный
 вариант общерусского слова
 поясн. – функция пояснения
 СР – синонимический ряд

ласк. – ласкательное
 ср. – сравни
 стил. – функция
 стилистического разнообразия
 уточ. – функция уточнения
 фитом. – фитоморфизм
 фоном. – фonomорфизм
 экспр.-стиль. – экспрессивно-
 стилистический синоним
 // отдельный контекст
 / вариант
 а гласный под ударением
 а синонимы

Литература

1. Блинова О.И. Комплексное лексикографическое исследование диалекта // Актуальные проблемы диалектной лексикографии: межвуз. сб. науч. тр. Кемерово, 1989. С. 11–19.
2. Полный словарь сибирского говора / сост. О.И. Блинова, В.В. Палагина, Е.В. Иванцова, Л.А. Захарова, Н.Г. Нестерова, С.В. Сыпченко и др.; гл. ред. О.И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1992. Т. 1: А–З. 288 с.; Т. 2: И–О. 302 с.; 1993. Т. 3: П–Р. 223 с.; 1995. Т. 4: С–Я. 276 с.
3. Вершининский словарь / сост. Т.Б. Банкова, О.И. Блинова, Е.В. Иванцова, В.В. Палагина и др.; гл. ред. О.И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 1: А–В. 308 с.; 1999. Т. 2: Г–З. 319 с.; 2000. Т. 3: И–М. 348 с.; 2001. Т. 4: Н–О. 368 с.; Т. 5: П. 504 с.; 2002. Т. 6: Р–С. 454 с.; Т. 7: Т–Я. 526 с.
4. Мотивационный словарь сибирского говора / О.И. Блинова, С.В. Сыпченко; под ред. О.И. Блиновой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. Т. 1: А–О. 372 с.; 2010. Т. 2: П–Я. 310 с.
5. Блинова О.И. Словарь антонимов сибирского говора. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 242 с.
6. Богословская З.М. Словарь вариантной лексики сибирского говора. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. Т. 1. 303 с.
7. Словарь образных единиц сибирского говора / сост. О.И. Блинова, М.А. Толстова, Е.А. Юрина; ред. О.И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013.
8. Блинова О.И. Концепция «Словаря синонимов сибирского говора» // Язык, литература и культура в региональном пространстве: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. памяти проф. И.А. Воробьевой, 4–6 окт. 2007 г. Барнаул, 2007. С. 7–15.
9. Блинова О.И. Структура «Словаря синонимов сибирского говора» // Сибирский филологический журнал. Новосибирск. 2009. №2. С. 119–127.
10. Гавар (Гайсина) М.Э. Интерпретационная зона статьи «Словаря синонимов сибирского говора» // Вопросы лексикографии. Томск. 2013. №1. С. 34–44.
11. Гавар (Гайсина) М.Э. Функциональный спектр диалектной синонимии // Мировая культура и язык: взгляд молодых исследователей / под ред. З.М. Богословской. Томск, 2009. Ч. 1. С. 19–23.
12. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология: учеб. 4-е изд., испр. М.: Высш. шк., 2001. 415 с.
13. Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. 312 с.
14. Блинова О.И. Методы мотивологического исследования // Изв. Том. политехн. ун-та. 2003. Т. 306, №4. С. 148–151.
15. Блинова О.И. Лексикографический аспект сопоставительной мотивологии // Глагол и имя в русской лексикографии: Вопросы теории и практики. Екатеринбург, 1996. С. 14–24.
16. Палагина В.В. Современный говор старожильского населения западной части Томского района Томской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1951. 20 с.

17. Найдён Е.В. Функции мотивационно связанных слов в народно-разговорной речи (на диалектном материале): дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001. 220 с.

18. Раков Г.А. Диалектная лексическая синонимия и проблемы идеографии (семасиологический и ономасиологический анализ системных отношений в лексике) / под ред. О.И. Блиновой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. 272 с.

19. Лукьянова Н.А. Системные отношения в лексике говоров Сузунского и Ордынского говоров Новосибирской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 1966. 19 с.

20. Райская Л.М. Антонимия в лексической системе говора (на материале нарымского говора): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1985. 18 с.

21. Блинова О.И. О явлениях синонимии в терминологической лексике говоров средней части бассейна р. Оби // Тр. 5-й зональной науч.-метод. конф. кафедр русского языка вузов Западной Сибири. Новокузнецк, 1962. С. 144–160.

22. Блинова О.И. Производственно-промысловая лексика старожильческого говора с. Вершинино Томского района Томской области: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1962. 381 с.

Blinova Olga I., Gavar Mariya E., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: Blinova_11@mail.ru / gaysinamariya@mail.ru

SYNONYMY OF THE SIBERIAN DIALECT THROUGH THE PRISM OF COMPLEX LEXICOGRAPHIC PARAMETRISATION. DOI 10.17223/19986645/27/1

Keywords: synonym, synonymy, synonymic rows, Siberian dialect, synonymic dictionary, classification, lexicographic method, lexicographic parametrisation.

This article is devoted to polyaspectsual classification of synonymic rows of the Siberian dialect (the dialect of Verшинино village located in Tomsk Region) – one of the oldest dialects of the Mid-Ob River area. The research is made within the project of complex lexicographic parametrisation of a dialect with attraction of dictionaries of different types (explanatory and thematic). The Dictionary of synonyms of the Siberian dialect is the final step of the project. The urgency of composing the dictionary is caused by the productivity and informativity of the lexicographic method for the study of the Russian language and its dialects.

The conception of the *Dictionary of Siberian Dialect Synonyms* is offered by O. Blinova. The macro-structure of the dictionary is represented by entries ordered alphabetically. The micro-structure of the dictionary is defined by the structure of the entry, which includes three zones: initial, interpretative and illustrative. The interpretative zone is presented by the interpretation of the dominant meaning and by semasiological, culturological, lexicological, grammatical characteristics of synonymic row components.

The inclusion of various characteristics in the structure of the interpretative zone of the dictionary allowed to create the classification of synonymic rows of the dialect.

The synonymic rows unite words of one or different parts of speech by lexico-grammatical correlation. So the synonymic rows are divided into: 1) uniform, consisting of synonyms belonging to one part of speech: nouns, adjectives, verbs, adverbs, pronouns; 2) mixed, including different parts of speech and set phrases.

By the types of synonyms in relation to the dominant synonymic rows can be: 1) uniform, including: a) absolute synonyms or doublets; b) relative or semantic synonyms; c) expressive and stylistic synonyms; 2) mixed, consisting of synonyms of different types.

In the aspect of motivation three types of synonymic rows are classified:

a) rows consisting of motivated components; b) rows consisting of unmotivated components; c) mixed rows consisting of motivated and unmotivated components.

In the aspect of figurativeness synonymic rows are of two types: rows with figurative units and rows without figurative units.

In the aspect of connection of synonymy with other phenomena of the dialect synonymic rows can have or lack the formal version of the word.

By the length of the row there are binominal consisting of two synonyms (pair of synonyms) and polynominal synonymic rows consisting of three and more synonyms.

The use of the lexicographic method allowed to present the lexical richness of the Siberian dialect. The lexicographic method as a productive method of the linguistic analysis consists in the systematic count of units of language by means of lexicography. It is characterised by some advantages: 1) the fullest coverage of the language material; 2) systematization on the basis of the chosen criterion; 3) multidimensional interpretation; 4) interrelation with the theory; 5) a high degree of informational content. So

the dictionary of synonyms is not only a result in the description of the lexical phenomenon of the dialect, but also a tool and a method of studying synonymy.

References

1. *Blinova O.I.* Kompleksnoe leksikograficheskoe issledovanie dialekta // Aktual'nye problemy dialektnoy leksikografii: mezhvuz. sb. nauch. tr. Kemerovo, 1989. S. 11–19.
2. *Polnyy slovar' sibirskogo govora* / sost. O.I. Blinova, V.V. Palagina, E.V. Ivantsova, L.A. Zakharova, N.G. Nesterova, S.V. Sypchenko i dr.; gl. red. O.I. Blinova. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1992. T. 1: A–Z. 288 s.; T. 2: I–O. 302 s.; 1993. T. 3: P–R. 223 s.; 1995. T. 4: S–Ya. 276 s.
3. *Vershininskiy slovar'* / sost. T.B. Bankova, O.I. Blinova, E.V. Ivantsova, V.V. Palagina i dr.; gl. red. O.I. Blinova. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1998. T. 1: A–V. 308 s.; 1999. T. 2: G–Z. 319 s.; 2000. T. 3: I–M. 348 s.; 2001. T. 4: N–O. 368 s.; T. 5: P. 504 s.; 2002. T. 6: R–S. 454 s.; T. 7: T–Ya. 526 s.
4. *Motivatsionnyy slovar' sibirskogo govora* / O.I. Blinova, S.V. Sypchenko; pod red. O.I. Blinovy. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2009. T. 1: A–O. 372 s.; 2010. T. 2: P–Ya. 310 s.
5. *Blinova O.I.* Slovar' antonimov sibirskogo govora. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2003. 242 s.
6. *Bogoslovskaya Z.M.* Slovar' variantnoy leksiki sibirskogo govora. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2000. T. 1. 303 s.
7. *Slovar' obraznykh edinits sibirskogo govora* / sost. O.I. Blinova, M.A. Tolstova, E.A. Yurina; red. O.I. Blinova. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2013.
8. *Blinova O.I.* Kontsepsiya «Slovary sinonimov sibirskogo govora» // Yazyk, literatura i kul'tura v regional'nom prostranstve: Materialy Vseros. nauch. konf., posvyashch. pamyati prof. I.A. Vorob'evoy, 4–6 okt. 2007 g. Barnaul, 2007. S. 7–15.
9. *Blinova O.I.* Struktura «Slovary sinonimov sibirskogo govora» // Sibirskiy filologicheskiy zhurnal. Novosibirsk. 2009. №2. S. 119–127.
10. *Gavar (Gaysina) M.E.* Interpretatsionnaya zona stat'i «Slovary sinonimov sibirskogo govora» // Voprosy leksikografii. Tomsk. 2013. №1. S. 34–44.
11. *Gavar (Gaysina) M.E.* Funktsional'nyy spektr dialektnoy sinonimii // Mirovaya kul'tura i yazyk: vzglyad molodykh issledovateley / pod red. Z.M. Bogoslovskoy. Tomsk, 2009. Ch. 1. S. 19–23.
12. *Fomina M.I.* Sovremennyy russkiy yazyk. Leksikologiya: ucheb. 4-e izd., ispr. M.: Vyssh. shk., 2001. 415 s.
13. *Ivantsova E.V.* Fenomen dialektnoy yazykovoy lichnosti. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2002. 312 s.
14. *Blinova O.I.* Metody motivologicheskogo issledovaniya // Izv. Tom. politekhn. un-ta. 2003. T. 306, №4. S. 148–151.
15. *Blinova O.I.* Leksikograficheskiy aspekt sopostavitel'noy motivologii // Glagol i imya v russkoy leksikografii: Voprosy teorii i praktiki. Ekaterinburg, 1996. S. 14–24.
16. *Palagina V.V.* Sovremennyy govor starozhil'cheskogo naseleniya zapadnoy chasti Tomskogo rayona Tomskoy oblasti: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1951. 20 s.
17. *Nayden E.V.* Funktsii motivatsionno svyazannykh slov v narodno-razgovornoy rechi (na dialektnom materiale): dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 2001. 220 s.
18. *Rakov G.A.* Dialektnaya leksicheskaya sinonimiya i problemy ideografii (semasiologicheskii i onomasiologicheskii analiz sistemnykh otноsheniy v leksike) / pod red. O.I. Blinovy. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1988. 272 s.
19. *Lukyanova N.A.* Sistemnye otноsheniya v leksike govorov Suzunskogo i Ordynskogo govorov Novosibirskoy oblasti: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Novosibirsk, 1966. 19 s.
20. *Rayskaya L.M.* Antonimiya v leksicheskoy sisteme govora (na materiale narymskogo govora): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1985. 18 s.
21. *Blinova O.I.* O yavleniyakh sinonimii v terminologicheskoy leksike govorov sredney chasti basseyna r. Obi // Tr. 5-y zonal'noy nauch.-metod. konf. kafedr russkogo yazyka vuzov Zapadnoy Sibiri. Novokuznetsk, 1962. S. 144–160.
22. *Blinova O.I.* Proizvodstvenno-promyslovaya leksika starozhil'cheskogo govora s. Vershinino Tomskogo rayona Tomskoy oblasti: dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1962. 381 s.

УДК 811.161.1

DOI 10.17223/19986645/27/2

О.Н. Копытов

О ТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ МОДУСА

Статья посвящена исследованию текстостроительных возможностей модуса СМИ (в публицистическом тексте). Модус понимается исходя из учения Шарля Балли, но его идеи распространяются с высказывания на текст. Инструментами описания являются категории модуса в концепции Т.В. Шмелевой. Поскольку в статье ставится задача не просто показать выход модуса за пределы текста на примере публицистического, но и вскрыть механизмы такого выхода, показываются все факторы маркированной экспликации модуса, его яркого и текстостроительного проявления именно в публицистическом типе текста. Так как модус тесно связан с категорией «авторского я», небольшая «статья в статье» в финале посвящена «авторскому я» в публицистическом тексте с точки зрения его модусного устройства. Кроме того, статья содержит взгляды автора вообще на устройство текста современной публицистики, текста СМИ.

Ключевые слова: модус, «авторское я», текст, СМИ, публицистика.

Для нас главным, тотально определяющим специфику публицистического текста признаком является его некая **вторичность** по отношению к некоторому первичному тексту, или прототексту. Точное определение этой вторичности публицистического текста (текста массовой информации/коммуникации в другой терминологии, впрочем, о некотором несовпадении этих неполных синонимов мы скажем позднее) дал Ю.В. Рождественский в известной книге «Введение в общую филологию» (1979): «Тексты массовой коммуникации отличаются от других видов текстов тем, что в них используются, систематизируются и сокращаются, перерабатываются и особым образом оформляются все другие виды текстов, которые считаются “первичными”. В результате возникает новый вид текста со своими законами построения и оформления смысла» [1. С. 163].

Требует разъяснения именно этот «первичный» текст, или то, что мы называли прототекстом. Вначале мы пойдем эмпирическим путем – вспомним всё, что приходилось делать автору этих строк в период работы профессиональным журналистом. Какого бы жанра текст массовой информации мы не продуцировали – монолог на радио, интервью в газете, очерк в журнале, репортаж на телевидении, в каком бы СМИ не работали, мы изучали не один, а несколько первичных текстов. Среди них обязательно был текст специальный: если мы готовили интервью о положении региональной экономики, это был соответствующий экономический текст; если мы готовили текст о региональном театре – это были, например, прототексты – высказывания о текущем положении дел в театре его художественных руководителей и актеров; если мы брали интервью о современном состоянии нравственности в обществе, это были предварительные беседы с интервьюируемыми (философами, священниками и т.д.), а также тексты тех же СМИ, или специальные философские или клерикальные, где содержались бы некие тезисы, противо-

речащие или тождественные прототекстам интервьюируемого. И даже репортаж или спортивный комментарий, на первый взгляд первичные тексты, в действительности в практике СМИ таковыми не являются, поскольку эфирный репортаж обязательно включает в себя прототексты – мини-интервью с участниками событий, а главное, – и репортаж с места событий, и спортивный комментарий, например футбольного матча, обязательно следует за первичным прототекстом журналиста / комментатора / корреспондента, пусть слагающимся только в его сознании, но не как репортера, а как свидетеля / соглядатая событий.

Мы можем пойти и от известного тезиса журналистской педагогики: нет вообще журналистики, есть журналистика политическая, экономическая, спортивная, культурная и т.д., и где – в политике, экономике, спорте, культуре – будущий журналист, еще не будучи таковым, лучше всего ориентируется, там он более всего проявит себя именно как журналист.

Наконец, вышеупомянутый тезис Ю.В. Рождественского находит немало подтверждений и в собственно лингвистических исследованиях других авторов. Например, исследователь газетно-публицистического текста В.И. Коньков писал: «В речевой структуре газетного текста мы находим влияние художественной, научной, официально-деловой и разговорной речи. Подтверждается гипотеза о синтетическом характере текстов массовой коммуникации» [2. С. 159].

И даже расхожее выражение: «журналист – это профессиональный дилетант» (мы бы добавили в «любой области»), на наш взгляд, служит подтверждением данного глобального признака публицистического текста.

При этом ясно, что в понятия первичный и вторичный текст здесь вкладывается иное содержание, нежели в классификациях текстов, оперирующих понятиями, выделяемыми на основе общепринято понимаемой самостоятельности/несамостоятельности (например, собственно сочинения и рефераты, см. [3]). Так, обзоры СМИ – это жанр вторичных текстов в традиционном понимании термина «вторичный текст».

От главного, глобального признака публицистического текста мы выводим его *модусное напряжение*. Зазор между «первичным» и «вторичным» текстами требует ответов на вопросы: кому принадлежит первичный текст, хорош он или плох, насколько достоверен и т.д., т.е. требует имплицитного или эксплицитного проявления всех «классических» модусных категорий – авторизации, персуазивности, оценки и т.д. Причем даже чисто теоретически, не проводя специальных статистико-количественных исследований, мы станем утверждать, что в публицистическом тексте количественно лидирует авторизационный модус, ибо автору публицистического текста слишком часто приходится апеллировать к разнице между его артикуляцией и первичным текстом или прототекстом, а самому СМИ в свою очередь необходимо дистанцироваться от сообщения своего корреспондента или иного источника информации, отсюда такая развитая система авторизационного модуса в текстах СМИ: *по словам N, как утверждают наши источники в российском МИДе; пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство «Рейтер»; ремарки с именами говорящих в газетном тексте, титры под картинкой с го-*

ворящими в телевизионном репортаже, «подписи» в репортажном телевизионном кадре и т.д.

Еще одним важным признаком публицистического текста является его имманентная направленность на существенное изменение сознания адресата и на определенные действия адресата. Другими словами, в самом предназначении публицистического текста скрыта огромная иллюкативная сила, которая проявляется достаточно эффективно (вспомним, какое влияние оказывали пресса и устная публицистическая речь на изменение патриотических настроений в русском обществе в революционные 1916–1917 гг., приведшие к глобальным общественным изменениям в России, или то, как после одной газетной публикации или телевизионной передачи в России 1990-х гг. ломались прежде прочные экономические структуры, например лопались банки).

Авторской интенции убеждения и ее реализации в публицистическом тексте (языке СМИ) только в 2000-е гг. посвящено большое количество работ лингвистов, культурологов и специалистов по журналистике (см., например, библиографию к [4]. А авторской интенции убеждения весьма затруднительно реализоваться императивными приемами («*Вся власть Советам!*»; «*Голосуй, а то проиграешь!*»). Хотя и они – часть именно модуса, в данном случае императивного модуса, в терминах Т.В. Шмелевой. Кроме императивного модуса, в создании воздействующих эффектов могут и принимают участие все виды модуса, одни из самых активных – оценочный и актуализационный.

Убеждению необходимо реализовываться в сложном и полифоничном мире, где одно, допустим «черное», иногда резко, а иногда медленно перетекает в другое – «белое», поэтому оно должно быть весьма насыщенным сложной и тонкой системой модусно-диктумного и жанрового инструментария плана выражения, который необходимо исследовать. Тем более что, по утверждению современной лингвистики, сегодня СМИ существуют в условиях, когда грань между фактами и манипулированием давно размыта. Ср.: «Следует констатировать, что сегодня в публицистическом дискурсе происходит смещение убеждения в сторону манипуляции. Не случайно сегодня все чаще говорят о массовокоммуникативном дискурсе как не просто воздействующем типе дискурса, но как манипулятивном, «сплошном», подавляющем рациональное восприятие информации и навязывающем адресату заданные смыслы сообщения [5. С. 29]». Нами показаны механизмы примера такого смещения в работе «Концепт «терроризм» в свете модуса именованного» [6], где мы описывали ситуацию, как американские СМИ в пору войсковой операции «Буря в пустыне» и до нее смогли облечь симулякры, пустые, без референтов понятия вроде «иракского оружия массового поражения», в убеждающие в наличии референтов формы. Одним из главных инструментов в таком риторическом действии является актуализационный модус. Так, в паре с перерасположением диктума, когда в сетку координат «я-здесь-сейчас» в ряд настоящих пропозиций, в настоящий многочленный диктум, например «Саддам – репрессии – бедность», помещается этот самый диктум-симулякр. Более свежий пример – почти полная манипулятивная природа освещения западноевропейскими, некоторыми восточноевропейскими (польскими, латвийскими) и почти всеми американскими СМИ «войны 08.08.08», т.е. отражения российской армией грузинского вторжения в Южную Осетию. Здесь

также был задействован мощный и разнообразнейший арсенал приемов лжи – от чисто лингвистических, например характеризующих (модусных) прилагательных и существительных (*горящий* Гори, грузинские *беженцы*), до примитивной подмены картинки: фотография или телекартинка сгоревших домов Цхинвала с подписью «Гори». Огромную роль в этих приемах играл модус текста.

Третьим глобальным фактором развития модуса публицистического текста является бурное *развитие жанровой системы* публицистики (речи СМИ) в начале XXI в., которое отмечают практически все исследователи языка СМК и в целом журналистики. К собственно публицистическому стилю (подстилю) традиционно относятся аналитические жанры (аналитическая статья, рецензия, комментарий, обзор, корреспонденция и др.), сатирические жанры (фельетон, памфлет, сатирическая реплика и др.), художественно-публицистические жанры (очерк, зарисовка, эссе и др.). Каждый из этих жанров имеет множество подвидов. В жанровом развитии публицистики авторы исследований видят некую «креолизацию жанров», например типизированные контаминации комментария и памфлета (на наш взгляд, яркий пример – программа «Однако» М. Леонтьева на Первом канале); отмечена эссеизация газетных жанров [7; 8]. Как самостоятельные в 2000-х гг. выделяются жанры исповеди, прогноза, рейтинга, шутки и т.п. [9]. Особо говорят о приобретающих собственные признаки ораторских жанрах (выступление на митинге, публичные выступления политиков, дебаты), коммуникативных жанрах (пресс-конференция, брифинг, саммит, встреча «без галстуков»). Среди сатирических жанров описаны как самостоятельно существующие прикол, стёб и афоризм [10]. В особую группу выделяются активно развивающиеся рекламные жанры.

В каждом из жанров СМИ (публицистики), уже ставших самостоятельными или претендующих на самостоятельность от традиционных, строятся и собственные признаки модусно-диктумного устройства. Сам прорыв через рамки традиционных жанров и строительство новых жанровых пространств в немалой степени идет через метааспект. Один из наиболее распространенных приемов – это как раз само жанровое указание, например: *далее в этом очерке приведем небольшой отрывок из нашего интервью прошлого года; как писали бы в старинном фельетоне; наш жанр не позволяет сказать об этом подробно, но всё-таки приведем детальный пример*. На телевидении это могут быть игровые эпизоды, реконструирующие реальные события, причем в черно-белых тонах в отличие от цветной картинки основного материала, и т.п.

Особый вопрос: считать ли именно прерогативой публицистического текста современнейшую нацеленность современного текста не на любого читателя (провиденциального читателя), а только на своего читателя (на читателя-друга, целевую аудиторию)? Некоторые исследователи считают – да. Именно в публицистическом тексте особые отношения автора и читателя, и понятие целевой аудитории наиболее релевантно именно публицистическим текстам. Ср.: «В настоящий момент ориентированность на адресата с его конкретными социальными характеристиками, иначе говоря, на целевую аудиторию, один из важнейших признаков любого профессионального текста

массовой коммуникации, в частности совокупного текста определенного средства массовой информации» [11. С. 3].

Но нам представляется, что ситуация в современном текстопродуцирующем процессе сложнее: сегодня автор не только публицистического текста, но и художественного, и даже научного целит именно в своего читателя, а не пишет для провиденциального читателя или «вообще-для-истины». Достаточно сказать, что с конца XX в. окончательно разделились художественная литература массового спроса и художественная литература культурного запроса, внутри первой почти самостоятельно живут, в том числе именно при помощи определенного читателя, «женский роман»; «просто детектив»; «детектив сыщика-дилетанта» и «иронический детектив»; «рублевский гламурный роман» и «гламурный роман Лазурного берега» и т.д. Мало того, в 2000-х гг. между «массовой» и «высокой» литературой (от Достоевского до «деревенщиков» типа Распутина, Белова и Астафьева) поместились – именно благодаря разделу сфер влияния на читателя – несколько пограничных слоев: «литература модных имен» (от Алексея Иванова и Дмитрия Быкова до Ольги Славниковой), «романы подонков» (Вадим Чекунов и др.), «крепкая беллетристика» (Людмила Петрушевская, Людмила Улицкая и др.), «новый реализм», провозглашенный в противовес «старому новому реализму» (Роман Сенчин, Захар Прилепин) и т.д.

Есть основания полагать, что сегодня именно эти «пограничные слои» (по сути, получается, маргинальные) сильнее всего и громче всего и развиваются, и так будет именно до тех пор, пока они имеют свою целевую аудиторию. А «широкого признания», т.е. рекомендаций «читать всем», например безоговорочной включенности в вузовские учебники по литературе, пока произведения, рассчитанные именно на «целевую аудиторию», не получили. Некоторые авторитетные филологи вообще отказывают текущему литературному процессу не только в светлом, но и в любом будущем (проф. МГУ А.А. Волков в интервью газете «Татьянин День» от 24 мая 2010 г.: «Я не пророк, но мне кажется, что и писателей сегодняшних помнить не будут. Лично мне никакие не нравятся, я их не читаю, и читать не собираюсь»). Последние, кто безоговорочно вписался в определенные рекомендации читать, т.е. в учебники по современной литературе, – это Людмила Петрушевская, Виктор Пелевин и Владимир Маканин, причем с произведениями только 1990-х и более ранних годов, таких, которые писались для всех, для провиденциального читателя, а не для «целевого», «солидарного», «своего». Публицистика, в отличие от беллетристики, по самой своей природе диалогична, полемична. Здесь можно завоевать на короткий срок «своего» адресата, но практически невозможно его удержать (во всяком случае, ни нам, ни нашему окружению не доводилось встречать живого фаната В. Познера, или Н. Сванидзе, или того же М. Леонтьева).

Таким образом, по нашему убеждению, приоритетной имманентностью, «эксклюзивностью» узко понимаемая адресность ни изящной словесности, ни тем более публицистического текста сегодня не является. Хотя, безусловно, **вообще воздействие вообще на адресата** – одна из фундаментальных функций публицистики, одно из главных в самом существе публицистики, и сама публицистика и понимается многими исследователями как один из ти-

пов коммуникации, предназначенных именно для воздействия. «Публицистика понимается как тип творчества, если точка отсчета – основная функция воздействия» [12. С. 19]. Кстати, за исключением выделения функции воздействия, как и второй важнейшей для общественно значимого текста функции – информирования, многие авторы сегодня даже и не стремятся к полному, окончательному определению самого термина «публицистика», впрочем, как и терминов «журналистика», «тексты СМИ», или «язык СМК». Отчасти согласимся с Л.Г. Кайда, которая говорит так: «В конце концов, что это такое – «публицистический текст»? Вся многоаспектная наука о публицистике не дает на него точного, глубокого и всеобъемлющего ответа. Скорее всего, его и не может быть» [Там же]. И всё-таки в любом конкретном исследовании должны быть хотя бы рабочие определения понятий. В качестве таковых изберем для «публицистического текста»: это такое качество текста, которое информирует о текущих общественно важных событиях и/или оценивает их. Для «журналистики»: род деятельности, направленный на производство публицистических текстов. Для СМИ: все институты и учреждения журналистики. А для «языка СМИ» – особые функциональные качества национального языка, регулярно воспроизводящиеся в публицистических текстах. Понятно, что «публицистические тексты» будут шире, чем «тексты СМИ», поскольку СМИ – это не только сущностное, но и юридическое понятие, и, например, школьная заметка в стенгазету будет публицистическим текстом, но не будет «текстом СМИ», если эта газета не зарегистрирована как средство массовой информации согласно действующему законодательству.

Выше мы затронули еще одну важную категорию модуса публицистических текстов – *оценку* (с главными операторами «хорошо – плохо»). Воздействие, в отличие от «чистого информирования» (если последнее вообще возможно), своим основанием всегда имеет просто, а чаще сложно составленный рисунок положительных и отрицательных оценочных смыслов (направленностей). Недаром большинство исследователей в публицистическом тексте отдельно отмечают как минимум два типа оценки – прямую и скрытую (от [13] до [5], в последнем эксплицитной и имплицитной оценке посвящены отдельные разделы). С древнейших времен в общественно значимом дискурсе о современности мало сообщить о событии, необходимо сказать, хорошо оно или плохо, если плохо – как его избежать в дальнейшем. Это неизбежно требует той или иной экспликации авторской позиции. А всё, что касается роли автора и ее проявления, так или иначе связано с модусно-диктумным устройством высказывания и текста.

Таким образом, пятым элементом, пятым главным фактором, формирующим модусное устройство публицистического текста, является «громкое» или «тихое» проявление *авторской позиции* в публицистическом тексте, которое взаимосвязано и даже определенным образом генерирует в себе и все четыре предыдущие.

Итак, существует пять факторов, формирующих модусное устройство публицистического текста: 1) некая вторичность текста СМИ, которую подметил Ю.В. Рождественский («Ведение в общую филологию»); 2) «громкое» или «тихое» проявление *авторской позиции* (ее слабая или сильная вербальная выраженность); 3) сила воздействия на адресата публицистического тек-

ста; 4) жанровая неустойчивость текста СМИ (публицистического); 5) высокое требование в этом типе текста оценки объекта высказывания.

Нам необходимо показать контуры многоликого и чаще скрытого, чем открытого, авторского «я» в публицистическом тексте с точки зрения его модусного устройства в отдельном подразделе данной статьи (в небольшой «статье в статье»).

Но в качестве предварительного заключения к главной части, рассказывающей о модусе публицистического текста, скажем, что в нем представлены все три блока категорий модуса, как их выделяет Т.В. Шмелева [14], – **мета-категории, актуализационные и квалификативные**, причем в зависимости от жанра и даже от позиции в жанровой композиции одна из модусных категорий выступает в качестве регулярной и основной. Другими словами, в отличие от модуса художественного текста, наиболее сложного и непредсказуемого вида творчества, в тексте СМИ, в публицистике модус чаще жестко предопределен. Например: в оперативных жанрах, обобщенно говоря, в жанре новости (заметка, информация, хроника в газетном тексте; теле- или радиокадр информационного выпуска) одной из ведущих являются актуализационные категории: текст со словом «сегодня», телекадр со словами «как известно на этот час» и под. Например: «Президент Медведев в ходе своей дальневосточной поездки полчаса назад прибыл в Биробиджан и отправился в местный Дом бракосочетаний, один из лучших на Дальнем Востоке». В том же жанре эфирного информационного выпуска в его начале и в конце важнейшей становится социальная категория приветствия-прощания: «Здравствуйте, уважаемые радиослушатели»; «О дальнейших событиях расскажет “Время”» и под. В жанрах, допускающих иронию и юмор, – одна из главных – частнооценочная категория «плохого» с разнообразнейшим реестром ее конкретных реализаций. В «державных» или «отчетных» жанрах, например в репортажах об инаугурации президента или о вступлении в должность губернаторов; о ежегодных посланиях президента и т.п. – частнооценочная категория «хорошего» с ее менее разветвленной, но все же имеющейся инвариантностью. В комментариях, а также новостях, где ньюсмейкерами являются сторонние редакции персоны, одно из главных модусных средств – взаимодействие авторизации и персуазивности. «Источники, близкие ФБР, утверждают, что «шпионский скандал» готовился именно к окончанию встречи Обамы и Медведева».

Можно подойти и с противоположной стороны и сказать, что необходимость регулярной экспликации и/или импликации модусных смыслов в определенной мере формирует и саму жанровую систему публицистических текстов, и их композиционные правила.

Но, повторим, так или иначе, цементирует модус публицистического текста, который, в свою очередь, является одним из главных способов текстостроительства, позиция автора, авторское начало, авторское «я» в публицистическом тексте, речь о котором пойдет ниже.

Авторское «я» в публицистическом тексте с точки зрения его модусного устройства. В любой из глобальных школ журналистики, которых по большому счету, всего две, – американско-британская, упрощенно говоря, функциональная, и континентальная европейская (включая и российскую),

упрощенно говоря, авторская [15, 16], – главным способом выражения авторского «я» является не прямой, имплицитный, скрытый. Прямое выражение авторского «я» в публицистике – факультативный способ.

Однако в рамках обеих школ (понятно, что их разграничение довольно условно) мы встретим немало примеров прямой экспликации авторского я, и каждый раз необходимо разобраться, почему центральная формула *издание пишет* («В «Ведомостях» пишут...»; «Таймс» опубликовала...» и под.) меняется именно в этом материале, именно в этом месте данного материала на «Я пишу...». С точки зрения модусного устройства публицистического текста эксплицированное авторское «я» в глобальном, в общем плане всегда подчеркивает вторичность текста по отношению к событию, а в частности, выражает один из модусных смыслов или сразу несколько модусных смыслов.

Лидирует здесь смысл персуазивности в виде высокой достоверности сообщаемого, взаимодействующий до сращения с я-авторизацией. Мало того, в публицистике есть целый жанр с веточками тонких своих разновидностей, когда корреспондент СМИ собственным примером исследует какую-то проблему, является не наблюдателем событий, а их участником. На телевидении это так называемый жанр «прямых включений с места событий», в газетно-журнальной области таким материалам в самом блоке заголовков-подзаголовков (заголовках-врезках), как правило, дается специальное жанровое определение. Например: «*Догнать и перегнать. 2010 год прошел под знаком «Фейсбука». О своем опыте пользователя самой популярной социальной сети размышляет Лидия Маслова*» (Коммерсантъ. 2010. 27 дек.).

Ниже мы покажем еще несколько случаев экспликации авторского «я» в разрезе модусной организации публицистического текста. Но сразу приведем общий взгляд на существо такого явления. Экспликация авторского «я» в публицистическом тексте фиксирует третий слой субъективации текста. Первый слой: вслед за событием следует его «объективная» вторичность – освещение самим изданием: «В «Ведомостях» пишут...»; «Таймс» опубликовала...» и под. Второй слой – жанр. От наиболее «объективированных», например, передовицы, называемой сегодня чаще «редакционная статья», «от редакции», «главное» и т.п., до «фельетона», «очерка» и «блога». И наконец, третий слой – любая экспликация формы «я» в материале СМИ, публичной лекции или выступлении на митинге. Но существенная черта именно публицистической сферы в том, что экспликация «я» здесь почти всегда – это очередной слой субъективности, но часть не «субъективирующей», а именно «объективирующей» риторики. Другими словами, отмеченный нами третий «субъективирующий слой», куда мы поместили прямую экспликацию «я» в газетно-журнальном, телевизионном, интернет- и любом другом публицистическом тексте, существен не сам по себе, а как парадоксальный метод «агитации фактами» (я – это факт), а не «внутренним миром говорящего».

Возьмем любой другой случай применения «я и его модусного осмысления» в публицистическом тексте и увидим разнообразие форм, но жесткость именно такой трехслойной организации, с одной стороны, и знакомые смыслы модуса – с другой.

В последнее время руководители – от высших, президента и премьер-министра, до руководителей самоуправления – на наш взгляд, в качестве од-

ного из основных риторических приемов своих публицистических выступлений, которых очень много на телевидении («Разговор с Путиным» 2000-х гг.; жанры «беседа с губернатором», «диалоги с мэром» и под.), используют прием экспликации императивного модуса в качестве модального. В риторическом плане это более «политкорректный» и «демократический» прием, нежели экспликация прямого, категорического императива. Суть этого приема: вместо того, чтобы говорить: «Я так решу проблему; сделаю, расскажу, распоряджусь, покажу, накажу и под.», чиновник говорит: «Я это (проблему) знаю, для решения надо...». То есть совместно с экспликацией «я» эксплицируется по форме модальность, но по сути императив. При этом адресата императива нет, и в такой синтаксической форме быть не может, поэтому дешифровка таких императивов из их модальных форм (возможности, необходимости и т.д.; актуальной здесь и сейчас или менее актуальной) – дело ответственности чиновников, законодателей и прочих людей, которые способны эту ответственность за собой лично усмотреть. Пример из «Разговора с Путиным-2002». «ВОПРОС: Михаил Васильевич Балабанов, город Омск. Владимир Владимирович, здравствуйте! Говорят, что в Российской армии генералов в два раза больше, чем в Советской... Нельзя ли сократить в два раза?.. Я, кстати, знаю, что Вы активно занимаетесь спортом. Может быть, надо ввести специальный «путинский стандарт»? Не думаю, что половина наших генералов сможет подтянуться хотя бы 10 раз... Не сдал норматив по физподготовке – тогда в отставку. В.В. ПУТИН: Михаил Васильевич, что касается генералов... Ваше предложение уже исполнено: количество генералов сокращено вдвое. Я думаю, что, конечно же, можно вводить определенные стандарты и нужно это делать. Важно, мне кажется, не только количество генералов, а важно и то, где и как они исполняют свои служебные обязанности...» (<http://www.linia2002.ru/>).

Надо, нужно, необходимо, целесообразно, важно и под. операторы **модальных** модусных смыслов в публицистическом тексте, наряду с операторами **авторизации** и **персуазивности** – также в лидерах модуса публицистического текста – и сами по себе, с собственными смыслами, и как лукавые формы иных смыслов, чаще – императивного и оценочного.

И наконец, третий из лидеров публицистического модуса – **оценочный**, который часто тоже впаив в агрегат с модусами персуазивности, авторизации и модальными. Например: «Это был преступный режим, который и избирался-то в свое время под дулами бандитов и международных террористов. Что за этим последовало, мы хорошо знаем; У нас в Осетии межнациональная политика ведется очень хорошо. Я думаю, что и везде должно быть так; Сергей Николаевич, это не соответствует действительности, у нас нет никакой возможности, но и главное, нет желания укрупнять регионы и ставить во главе регионов, у меня, во всяком случае, нет такого желания, назначаемых лиц. Мы эту проблему в истории нашей страны проехали. Хорошо это или плохо, у нас сложилось так, что руководителей регионов избирает население прямым тайным голосованием. Так прописано в Конституции, и так должно остаться» (примеры оттуда же).

Конечно, кроме аспекта модуса, эксплицированное **авторское «я»** в публицистическом тексте исследовано и исследуется в аспектах риторики, ком-

позиции и жанра, в целом стилистики, – и самими представителями цеха, так, немало интересного написано об этом М.М. Пришвиным, и сегодняшними публицистами, и филологами. Наблюдения «изнутри» своего «я» вообще на «я» в публицистике М.М. Пришвина согласуется с нашими результатами об объективирующем эксплицированном «я», ср.: «В тот момент, когда на фоне давно знакомого мне нарисовывается какая-то форма, которую могу записать, и я беру бумагу – это «я», от которого я обыкновенно пишу, по правде говоря, уже «я» сотворенное, это – «мы». Мне не совестно этого «я»: его пороки не лично мои, а всех нас, его добродетели возможны для всех» [17. С. 348].

Нельзя не согласиться с авторами, которые выдвигают в центр проблемы эксплицированного «я» в публицистике, в газетно-журнальном тексте явление *позиции автора* (А.А. Волков, Г.В. Колосов, Л.Г. Кайда и др.) с такими главными чертами *личности автора* публицистического текста, как компетентность, ответственность, неравнодушие.

Литература

1. *Рожественский Ю.В.* Введение в общую филологию. М.: Высш. шк., 1979. 224 с.
2. *Копьков В.И.* Речевая структура газетного текста. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 160 с.
3. *Мещеряков В.Н.* Текст // Педагогическое речеведение: словарь-справочник: 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Т.А. Ладыженской, А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков. М.: Флинта: Наука, 1998. С. 239–240.
4. *Клушина Н.И.* Интенциональные категории публицистического текста (на материале периодических изданий 2000–2008 гг.): дис. ... д-ра филол. наук. М., 2008. 468 с.
5. *Клушина Н.И.* Интенциональные категории публицистического текста (на материале периодических изданий 2000–2008 гг.): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2008. 57 с.
6. *Копытов О.Н.* Концепт «терроризм» в свете модуса именования // Международный терроризм: внутренняя структура понятия и его роль в политическом дискурсе: сб. науч. тр. / под ред. Л.Е. Бляхера. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2005. С. 31–42.
7. *Дмитровский А.Л.* Эссе как жанр публицистики: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2003. 202 с.
8. *Кайда Л.Г.* Эссе. Стилистический портрет. М.: Флинта: Наука, 2008. 184 с.
9. *Тертычный А.А.* Жанры периодической печати: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2000. 232 с.
10. *Беглова Е.И.* Семантико-прагматический потенциал некодифицированного слова в публицистике постсоветской эпохи. М.: Изд-во Моск. гос. открытого ун-та, 2007. 373 с.
11. *Каминская Т.Л.* Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое исследование: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2009. 46 с.
12. *Кайда Л.Г.* Композиционная поэтика публицистики: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2006. 144 с.
13. *Кайда Л.Г.* Выражение авторской оценки в современном фельетоне: (Опыт функционально-стилистического исследования подтекста на материале синтаксиса): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1977. 24 с.
14. *Шмелева Т.В.* Семантический синтаксис: Текст лекций из курса «Современный русский язык». Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1988. 54 с.
15. *Таловов В.П.* Журналистское образование в СССР: учеб. пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 58 с.
16. *Кучерова Г.Э.* Очерки теории зарубежной журналистики (XIX – первая половина XX вв.). Ростов н/Д: ИД «Комплекс», 2000. 222 с.
17. *Пришвин М.М.* Записи о творчестве // Контекст-1974: Литературно-теоретические исследования. М., 1975. С. 329–358.

Kopytov Oleg N., Khabarovsk Kray Institute for Retraining and Qualification Upgrading in the Field of Professional Education (Khabarovsk, Russian Federation). E-mail: oleg_kopytov@mail.ru

ON THE TEXT OF MODERN MEDIA: THE MODUS ASPECT. DOI 10.17223/19986645/27/2

Keywords: modus, author's ego, text, media, journalism.

The article is devoted to the research of the text building modus possibilities in the media text (journalistic text). Modus is understood on the basis of the teachings of Charles Bally, but his ideas are applied to the text. The tools of description are modus categories in the concept of modus by T.V. Shmeleva. The article shows that modus can exceed the text by example of the journalistic text and reveals the mechanisms of this process. It demonstrates all factors of modus explication in the journalistic style of the text. Since modus is closely related to the category of the author's ego there is a small "article in the article" in the final devoted to the author's ego in the journalistic text in terms of its modus structure. In addition, the article contains the author's views on the structure of the modern journalistic text, media text.

The author comes to the following main conclusions.

There are five factors that shape the modus structure of the journalistic text: 1) a kind of secondary nature of the media text, which Yu. Rozhdestvenskiy noted (*Introduction to General Philology*); 2) "loud" or "quiet" manifestation of the author's position (its weak or strong verbal expression); 3) the impact on the recipient of the journalistic text; and 4) the genre instability of the media (journalistic) text; 5) high demand of evaluation by the object of the statement in this type of the text.

In the journalistic text all three categories of modus as allocated by T.V. Shmeleva are represented – metacategories, actualisation and qualification categories. Depending on the genre and even on the position in the genre, one of the modus categories becomes regular and basic. In contrast to the modus of the literary text, the most complex and unpredictable type of creativity, in the media text modus is more rigidly predetermined.

The leading is the meaning of persuasiveness as a high reliability of the reported, with a reference to an authoritative source (which may be the edition itself) – an expert, a newsmaker, a respected figure in the community, etc. The feature here is that in journalism there is a genre with its numerous varieties when media correspondents explore one of the problems themselves, not as observers of events, but their participants. On television, it is the so-called genre of down-the-line live broadcast, in newspapers and magazines such materials in the block of headers and sub-headers generally give a special genre definition indicating that the correspondent is the participant of the event.

Operators of the modal modus meanings in the journalistic text, along with operators of authorization and persuasiveness are also leaders of the journalistic text modus themselves, with their own meanings, and as forms of other meanings, imperative and evaluative.

The third leader of the journalistic text modus is evaluation, which is often combined with the modus of persuasiveness, authorization, and modality.

The author of this article agrees with the researchers (A.A. Volkov, G.V. Kolosov, L.G. Kayda, and others) who recognise the phenomenon of the author's position as the center of the problem of the explicated author's ego in journalism. The main features of the author's personality of the media text are competence, responsibility and personal involvement.

References

1. *Rozhdestvenskiy Yu.V.* Vvedenie v obshchuyu filologiyu. M.: Vyssh. shk., 1979. 224 s.
2. *Kon'kov V.I.* Rechevaya struktura gazetnogo teksta. SPb.: Izd-vo SPbGU, 1995. 160 s.
3. *Meshcheryakov V.N.* Tekst // Pedagogicheskoe rechevedenie: slovar'-spravochnik: 2-e izd., ispr. i dop. / pod red. T.A. Ladyzhenskoy, A.K. Mikhail'skoy; sost. A.A. Knyaz'kov. M.: Flinta: Nauka, 1998. S. 239–240.
4. *Klushina N.I.* Intentsional'nye kategorii publitsisticheskogo teksta (na materiale periodicheskikh izdaniy 2000–2008 gg.): dis. ... d-ra filol. nauk. M., 2008. 468 s.
5. *Klushina N.I.* Intentsional'nye kategorii publitsisticheskogo teksta (na materiale periodicheskikh izdaniy 2000–2008 gg.): avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. M., 2008. 57 s.
6. *Kopytov O.N.* Kontsept «terrorizm» v svete modusa imenovaniya // Mezhdunarodnyy terrorizm: vnutrennyaya struktura ponyatiya i ego rol' v politicheskom diskurse: sb. nauch. tr. / pod red. L.E. Blyakhera. Khabarovsk: Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta, 2005. S. 31–42.
7. *Dmitrovskiy A.L.* Esse kak zhanr publitsistiki: dis. ... kand. filol. nauk. SPb., 2003. 202 s.
8. *Kayda L.G.* Esse. Stilisticheskii portret. M.: Flinta: Nauka, 2008. 184 s.

9. *Tertychnyy A.A.* Zhanry periodicheskoy pechati: ucheb. posobie. M.: Aspekt Press, 2000. 232 s.
10. *Beglova E.I.* Semantiko-pragmaticheskiy potentsial nekodifitsirovannogo slova v publitsistike postsovetskoy epokhi. M.: Izd-vo Mosk. gos. otkrytogo un-ta, 2007. 373 s.
11. *Kaminskaya T.L.* Obraz adresata v tekstakh massovoy kommunikatsii: semantiko-pragmaticheskoe issledovanie: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. SPb., 2009. 46 s.
12. *Kayda L.G.* Kompozitsionnaya poetika publitsistiki: ucheb. posobie. M.: Flinta: Nauka, 2006. 144 s.
13. *Kayda L.G.* Vyrazhenie avtorskoy otsenki v sovremennom fel'etone: (Opyt funktsional'no-stilisticheskogo issledovaniya podteksta na materiale sintaksisa): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 1977. 24 s.
14. *Shmeleva T.V.* Semanticheskyy sintaksis: Tekst lektsiy iz kursa «Sovremennyy russkiy yazyk». Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyar. gos. un-ta, 1988. 54 s.
15. *Talovov V.P.* Zhurnalistiskoe obrazovanie v SSSR: ucheb. posobie. L.: Izd-vo LGU, 1990. 58 s.
16. *Kucherova G.E.* Ocherki teorii zarubezhnoy zhurnalistiki (XIX – pervaya polovina XX vv.). Rostov n/D: ID «Kompleks», 2000. 222 s.
17. *Prishvin M.M.* Zapisi o tvorchestve // Kontekst-1974: Literaturno-teoreticheskie issledovaniya. M., 1975. S. 329–358.

УДК 81'28+811.112.2
DOI 10.17223/19986645/27/3

Л.И. Москалюк

НЕМЕЦКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСТРОВА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Языковые особенности, прослеживаемые в островных российско-немецких говорах, проявляются в консервации старых форм и сохранении реликтовых явлений на всех языковых уровнях как следствие оторванности от исходного языкового коллектива, в параллельности развития многих языковых процессов, которые объясняются интенсивными междиалектными контактами, в значительном упрощении грамматической системы и большом числе заимствований из русского языка в результате его длительного воздействия на островные говоры.

Ключевые слова: островные немецкие диалекты; смешанные образования; фонетические, грамматические и лексические особенности.

В Западной Сибири сохранились относительно "старые" поселения, так называемые "дочерние колонии", основанные на рубеже XIX–XX вв. немецкими переселенцами из Причерноморья и Поволжья. В этих селах до сих пор, несмотря на массовую эмиграцию, значительную часть составляет немецкоязычное население.

На территории Немецкого национального и Табунского районов, а также прилегающих к ним Славгородского, Благовещенского, Кулундинского и Бурлинского районов Алтайского края насчитывается 38 исторически немецких сел.

Говоры немецких деревень относятся к двум различным группам немецких диалектов, сильно отличающимся друг от друга: нижненемецким и верхненемецким.

Общим для верхненемецких говоров является наличие в их системе консонантизма второго передвижения согласных. Это явление распространено в различных группах верхненемецких говоров неравномерно: одни группы говоров передвижение охватило более полно, другие – лишь частично.

Среди островных верхненемецких говоров, представленных на Алтае, можно выделить говоры, ориентированные как на южнонемецкий, так и на средненемецкий, западносредненемецкий и восточносредненемецкий диалектный ареал.

К говорам, ориентированным на южнонемецкий, относятся смешанные говоры сел Тельман (Т), Забавное (Sb), села Елизаветград (Е) и переселившихся в него жителей бывших сел Мариуполь (М), Узорное (U), Кронштадт (Кг), части жителей села Шумановка, переселившихся из бывшего села Константиновка (К), части жителей села Редкая Дубрава, переселившихся из бывшего села Отрадное (О), части жителей села Дегтярка, переселившихся из бывших сел Кругленькое (Кг) и Малинское (Мl). Это диалект бывших католических поселений на Украине (Гейдельберг, Гохгейм), имеющий признаки как южнонемецкой, так и средненемецкой диалектной группы. В.М. Жирмунский характеризует этот диалект как близкий южнофранкскому,

но сохранивший некоторые признаки южной части восточнофальцского [1. С. 495; 2. С. 927; 3. С. 340].

Говоры рассматриваемой группы принадлежат к так называемым Apfel-диалектам [2. С. 846–847]. В этих говорах на месте удвоенного германского *p*, в середине слова между гласными и в конце слова после гласных встречается аффриката **pf**, например:

apfel, epfel "Apfel", shtampfa "Stämpfer", propfe "pfropfen", tropfe "Tropfen",

schtrimpf "Strümpfe", knopf "Knopf", topf "Topf", schepflefel "Schöpflöffel".

Но следует отметить, что герм. **p** в начале слова в "католических" говорах сохранился как непредвинутый **p** – признак, свойственный южнорейнско-франкским говорам [4. С. 275], например:

pefa "Pfeffer", pan "Pfanne", peif "Pfeife", punt "Pfund", pingschta "Pfingshten".

Только в сочетании согласных герм. **p + l** и в этой группе говоров появляется передвинутый звук **pf**:

pflantsa "Pflanzen, pfluk Pflug", pflije "pflügen",

но flije "pflegen", fui "pfui".

В островных немецких говорах на Алтае широко распространена палатализация **l**. В "католических" говорах палатализованное **l'** встречается во всех позициях, даже в позиции перед гласными заднего ряда:

kel' "gelb", kl'aap "glaube", l'ooch "Loch", kl'ua "klein".

Общим признаком в области фонетики для говоров, ориентированных на южнонемецкий диалектный ареал, отличающим их от группы говоров средненемецкого ареала, представленных на Алтае, служит переход **s** в **sch** в позиции перед **p** не только в начале, но и в конце, и в середине слова, например: raschpel "Raspel", haschpel "Haspel", kaschpa "Kaspar", apruschple "abraspeln".

В "католических" говорах происходит переход **st > scht** в начале, в конце и в середине слова, включая сочетание соединительного **s** с последующим **t** в сложных словах, а также в суффиксе превосходной степени прилагательного, например:

pruscht "Brust", kischt "Kiste", wescht "Weste", fescht "fest", schweschta (K) "Schwester", tiinschoach "Dienstag", tunaschoach "Donnerstag";

s klenschte "das kleinste", s menschte "das meiste", s peschte "das beste".

Переход **s > sch** перед **t** осуществляется даже в синтаксических сочетаниях:

taschtu... "dass du...".

Степень распространения **-scht** во флексии глагола служит одним из различительных признаков отдельных групп южнонемецких диалектов, представленных на Алтае. Имеют место отклонения в различных словах и формах слов. В "католических" и "евангелических" причерноморских говорах личное окончание 2 л. ед. ч. **-scht**, но только в "католических" говорах **-s-**, на который оканчивается основа глагола переходит в **-sch + t** в 3. л. ед. ч., например:

hascht "hast", pischт "bist" (E, Kr)

isch "ist" (E, K, O, Ml, Kg)

leescht "(du) liest", lascht "(du) lässt", kischt "(du) küsst",
но lest "(er) liest", last "(er) lässt, kist "(er) küsst" (E, K, O, Kr, U) (ср.: [3. С. 102]).

Таким образом, сочетание **-scht** в наибольшей степени распространено в "католических" говорах, в меньшей степени в "евангелических" говорах.

Объединяющим признаком, характерным для рассматриваемых южнонемецких говоров, является отсутствие озвончения глухих согласных в середине слова между гласными или в сочетании сонорный + глухой согласный перед гласным или после гласного, например:

pleta (Kr, U, E, K, B, O, Sb, T) "Blätter", winta "Winter", kalte "kalte", tresche (Kr, U), trescha (K, E, Sb, O, T) "dreschen", ofa (E, K, Sb), ofe (Kr, U, B, O) "Ofen", weta "Wetter", pesa "besser".

Во всех островных говорах, ориентированных на южнонемецкий диалектный ареал, **r** в положении после гласного, в конце слога, перед другим согласным или в конце слова подвергается частичной или полной редукции, вокализуется, сливаясь с предшествующим гласным или образуя с ним дифтонг, например:

tochta "Tochter", ima "immer", voa "vor", schwats "schwarz", waate (Kr), woota (E, Kn, O) "warten", waa (Kr, U), woa (E, Kn, O) "war".

Подвергаясь редукции, **r** в позиции после свн. **i, e, u, ü, ö** вызывает изменение качества предыдущего гласного. В "католических" говорах вокализация **r** сопровождается расширением предшествующего гласного, например:

fatic'h "fertig", h'ats "Herz", schets "Schürze", kots "kurz", scht'an "Stern", k'an "Korn".

В сочетаниях согласных **rk, rg, rp, rb, rf** звук **r** сохраняется, вокализации препятствует образующийся между **r** и лабиальным или заднеязычным промежуточный гласный **i, e**, например:

ariç, oriç, arik "arg", schtarik "stark", p'arik (Kr, M, Kl), perik, perek (K) "Berg", turich "durch", taref (K, Ml, Kg), "Dorf", k'arep (E, K), korep (Kr), "Korb".

В позиции между двумя гласными сочетание **rb** переходит в **rv** с появлением промежуточного гласного, сочетание **rg > rj**, например:

schterewe (K, Kr, Sb) "sterben", arewet (K, Kg, Ml), perje (E, O) "Berge".

Во всех группах говоров, ориентированных на южнонемецкие, согласный **g** сохраняет смычный характер в сочетании **gl**.

В "католических" говорах в этой позиции происходит назализация предшествующего гласного и вставка **n** перед **gl**:

fongl "Vogel", nangl "Nagel".

Характерной особенностью этой группы говоров является краткий свн. **a**, который при удлинении подвергается лабиализации и дифтонгизации и отражается как дифтонг **oa**:

roada "baden", loada "laden", schpoada "Spaten", soagha "sagen", joagha "jagen", kroawa "Graben", foara "fahren", kloas "Glas",

но naagl, naangl "Nagel", свн. nagel, schnaawl "Schnabel", свн. schnabel, kaawl "Gabel", faata "Grossvater", свн. vater. Свн. **a**: перешел в **o**., но в односложных словах перед переднеязычными взрывными и плавными встречается дифтонг **oa**:

schtroal "Strahl", soat "Saat".

Свн. **u**: также реализуется как дифтонг **oa**, отличающий эту группу говоров от других, представленных на Алтае:

soawa "sauber", hoat "Haut", kroat "Kraut", foal "faul", proan "braun", loat "laut", moal "Maul", roach "Bauch", proat "Braut".

Перед **m** свн. **u** не дифтонгируется, происходит его расширение **u**: => **o**:
schoom "Schaum", свн. schum, schoum, doom "Daumen", свн. dume, doume.

Свн. **i**: подвергся дифтонгизации во всех верхненемецких говорах, представленных на Алтае. В "католических" говорах свн. **i** соответствует дифтонг **ei**:

seit "Seite", свн. site, tseit "Zeit", свн. zide, peif "Pfeife", свн. pfife, eis "Eis", свн. is, pleiwe "bleiben", свн. bliben, reiwe "reiben", свн. riben, schreiwe "schreiben", свн. schriben.

Характерно для "католических" говоров то, что свн. **ei** представлен здесь как дифтонг **oa** или **oi**, которые распространены в баварско-австрийских (**oa**) и швабском (**oi**) говорах [5. С. 117]:

floasch "Fleisch", kloat – kloada "Kleid - Kleider", toal "Teil", hoas "heiß", в конце слова, перед **n, m**, перед **f, v** свн. **ei** => **oi**:

soif "Seife", ftoi "Stein", oi "Ei", kloï "klein", oima "Eimer".

Свн. **ou** сохранился как дифтонг в ряде верхненемецких говоров Алтайского края. В "католических" говорах он перешел в дифтонг **oa**:

koafe "kaufen", свн. koufen, loafe "laufen", свн. loufen, oak "Auge", свн. ouk, loap "Laub", свн. loup, toap "taub", свн. toup, froa "Frau", свн. vrouwe, oa "auch", свн. ouch.

Перед **n** происходит стяжение дифтонга:

tsoo n "Zaun", свн. zoun.

"Католические" говоры обнаруживают при сопоставлении сходство с южнорейнско-пфальцским и швабским диалектным ареалом [3].

Выделенные на основании фонетических признаков группы островных говоров имеют свои морфологические особенности. Система имени существительного в островных немецких говорах развивается в том же направлении, что и система имени в стандартном немецком языке. В народных говорах, не связанных рамками письменной традиции, способствующей консервации грамматической структуры языка, изменения происходят более интенсивно. Еще в большей степени это касается островных говоров, развивающихся в отрыве от основного языкового коллектива. Анализ обширного диалектного материала показывает, что падежные окончания не сохранились ни в одной из шести исследованных групп немецких говоров, представленных на Алтае.

Переход к единообразному типу склонения без падежных окончаний, который происходит во всех исследуемых диалектах, вызван не в последнюю очередь фонетико-фонологическим развитием диалектов. В настоящее время именная система островных немецких диалектов смешанного типа подвержена сильной редукции. Таким образом, категория падежа имени существительного может выражаться только аналитически. Система падежей редуцирована до трех падежей максимально.

Падежные различия, которые передаются формами артикля, выражаются непоследовательно, во многих случаях разные падежные формы совпадают. Склонение существительных мужского, среднего и женского рода показывает различную степень синкретизма падежных окончаний артикля. В разных группах говоров падежная система сохранилась в разной степени.

Для говоров, ориентированных на западно-южнонемецкий диалектный ареал, типично сохранение трехчленной именной парадигмы при противопоставлении номинатива, датива и аккузатива в системе рассматриваемых диалектов, которое оказалось возможным только для существительных. Формы существительных среднего и женского рода в номинативе и аккузативе единственного числа совпадают:

		M	N	F
Sg	N.	ta man	tes (s) kint	ti (t) nas
	D.	tem (m) man	tem (m) kint	tere (te, t) nas
	Akk.	ten (te) man	tes (s) kint	ti (t) nas
		M	N	F
Pl.	N.	ti (t) mensche	ti (t) kina	ti (t) nechte
	D.	te (tene) mensche	te (tene) kina	te (tene) nechte
	Akk.	ti (t) mensche	ti (t) kina	ti (t) nechte

Подобное противопоставление наблюдается в швабском, как в диалектах исходной языковой области, так и в островных швабских говорах Казахстана [6. С. 99].

Склонение существительных с неопределенным артиклем в "католической" группе говоров представляет собой двучленную парадигму, где номинатив и аккузатив при различении трех родов совпадают. Различия в формах неопределенного артикля у существительных мужского рода в номинативе и аккузативе не сохранились:

		M	N	F
Sg	N.–Akk.	on man	o kint	o froa
	D.	om man	om kint	onre froa

Совпадение форм в номинативе и аккузативе для всех трех родов приводит к тому, что формальное различие по родам оказывается в этом случае возможным только при противопоставлении номинатива-аккузатива мужского рода – среднему и женскому и датива женского рода – мужскому и среднему.

Разграничение сильного и слабого типов склонения имен прилагательных прослеживаются в говорах лишь частично. Эти различия зафиксированы нами в единственном числе среднего рода, частично мужского рода во всех верхне- и нижнемецких говорах. У прилагательных женского рода и в формах множественного числа во всех группах говоров эта дифференциация не наблюдается.

Окончания прилагательных сильного склонения

	M	N	F	Pl.
N.	-a, -e	-es	-i	-a
D.	-em, -a	-em, -a	-a, -i	-a
Akk.	-en, -a	-es	-i	-a

Модификация именной флексии прилагательного **-en** => **-e** и **-er** => **-a**, наличествующая как в верхне- так и в нижненемецких говорах, привела к смешению слабого и сильного типов склонения прилагательных. Смешение слабых и сильных окончаний можно продемонстрировать, сопоставив приведенные примеры, где слабые и сильные формы совпадают. Приведенные таблицы показывают, что сильные окончания прилагательных мужского рода номинатива конкурируют с нейтральным или полностью совпадают с ним. Формы датива у прилагательных среднего рода все чаще вытесняются общим падежом, совпадающим по форме с номинативом. В формах женского и среднего рода сильные окончания конкурируют с краткой формой прилагательного во всех верхненемецких говорах. Окончание **-i** флективной формы номинатива женского рода, которое восходит к свн. **iu**, проникло в большинстве верхненемецких говоров в аккузатив и даже датив. Во множественном числе сильные окончания нейтрализованы в редуцированное **-e**. При наличии детерминатива падежные флексии атрибутивного прилагательного становятся избыточными и редуцируются или полностью устраняются. Парадигма слабого склонения прилагательных рассматриваемой группы говоров может быть представлена в следующем виде:

Окончания прилагательных слабого склонения

	M	N	F	Pl.
N.-D.-Akk.	-a	-a	-i	-a

К особенностям морфематики склонения прилагательных в немецких говорах на Алтае относятся окончание **-i** в сильных формах женского рода для большинства верхненемецких диалектов, сохранение старой краткой формы, которая чередуется с флективными формами (Ср.: [4. С. 428–432; 7. С. 55]), полная унификация окончаний слабого склонения, сближение системы сильного склонения прилагательных со слабым склонением.

Если категории лица, числа и рода личных местоимений представлены в значительной степени однородными формами, различающимися в разных диалектных группах только в результате особенностей развития фонетической системы, то склонение местоимений отличается большим разнообразием. В каждой диалектной группе наблюдаются свои особенности.

Склонение личных местоимений в "католических" говорах

Sg.	N.	D.	Akk.	Pl.	N.	D.	Akk.
1.	ich	mia	mich		mia	uns	uns
2.	tu	tia	tich		ia/ea	eich	eich
3.	tea/ea	tem/ehm	ten/ehn		ti/si	tena/ehna	ti/si
	tes/s	tem/ehm	tes/s				
	ti/si	t'are/ehra/e	ti/si				

Анализ материала показывает, что в единственном числе местоимения 1-го и 2-го лица исследуемых говоров различают три падежные формы. Эта особенность характеризует и швабские диалекты, представляющие исходные языковые области западно-южнонемецкого диалектного ареала [6. С. 120].

К особенностям спряжения относится устранение умлаута и преломления в формах сильных глаголов в презенсе индикатива. Во всех группах диалектов на Алтае сильные глаголы с корневым гласным **-a-** устранили чередование на основе умлаута и выровняли парадигму единственного числа по первому лицу.

В верхненемецких говорах сильные глаголы с корневым гласным **-e-** устранили чередование на основе преломления и выровняли личные формы единственного числа по корневому гласному **-e-**:

1.P.	helf	nehm	kep	es
2.P.	helfscht	nehmscht	kepscht	escht
3.P.	helft	nehmt	kept	escht

Для выражения действия в настоящем в исследуемых говорах, как и во многих немецких диалектах, но в отличие от литературного немецкого языка, употребляется настоящее перифрастическое, которое является аналитической конструкцией, состоящей из вспомогательного глагола *tun* в презенсе и инфинитива полнозначного глагола. Например: *Was tuschtu motle?* „Was tust du malen?“

Потеря претерита в разной степени характерна для всех групп рассматриваемых островных верхненемецких диалектов. В простом прошедшем в верхненемецких говорах употребляются лишь немногие глаголы. В „католической“ группе говоров представлена только форма претерита индикатива глагола *sein*. Например: *tes woa recht vun ehm* „Das war recht von ihm“.

Основной формой для выражения прошедшего времени служит перфект. Перфект образуется при помощи вспомогательных глаголов *haben* или *sein* и причастия II. Употребление вспомогательных глаголов в основном совпадает с употреблением их в литературном немецком языке. Исключение составляют глаголы *hocken*, *liegen*, *stehen*, *wohnen*, которые образуют перфект со вспомогательным глаголом *sein* в говорах, ориентированных на южнонемецкую группу диалектов:

sin kleja (K,Kr) "haben gelegen"

sin kschtana (K,Kr) "haben gestanden"

isch/is/hat kwohnt (K,Kr) "hat gewohnt"

hen kschlofe (K,Kr), но *sin kschlowe* (Sb) "haben geschlafen"

В „католической“ группе говоров, в которых представлен претерит глагола *sein*, зафиксированы формы плюсквамперфекта глаголов со вспомогательным глаголом *sein*.

Глаголы со вспомогательным глаголом *haben* образуют в этих группах только двойной перфект при помощи перфекта вспомогательного глагола и причастия II полнозначного глагола. Например:

ti hen schon kschlofa khat un sen schon ufkschtana (Kg) "Die haben schon geschlafen gehabt und sind schon aufgestanden"

ich hap schun kese khat, wi tea man kume is (Kr) "Ich habe schon gegessen gehabt, als der Mann gekommen war"

ti hen ehm pensie kewa khat un tea isch toch f'atkfora (K) "Sie haben ihm Rente gegeben gehabt und er ist doch fortgefahren".

Плюсквамперфект или заменяющий его в южнонемецких говорах двойной перфект (в южнонемецких говорах плюсквамперфект утрачен полностью или частично) выражает, как и в литературном немецком языке, предпрошедшее или употребляется как форма, синонимичная перфекту.

В «католической» группе говоров встречается форма ультратплюсквамперфекта со вспомогательным глаголом sein в плюсквамперфекте:

ich wa schun aikschofle kwest "Ich war schon eingeschlafen gewesen"

ti wore kfore kome kwest un sin schun wida f'at "Sie waren gekommen gewesen und sind schon wieder fort"

ich wo keschta pa eich, awa ea woat al uf t'erwet f'atkonga kwest "Ich war gestern bei euch, aber ihr wart alle zur Arbeit fortgegangen gewesen".

Подобное развитие временных форм наблюдается в островных южно-франкских говорах Румынии, в которых также употребляется плюсквамперфект индикатива глаголов со вспомогательным глаголом sein и двойной перфект полнозначных глаголов со вспомогательным глаголом haben [8. С. 148].

Категория наклонения глагола немецких диалектов на Алтае включает индикатив, императив и конъюнктив. Из форм конъюнктива во всех рассматриваемых диалектах распространены только претеритальные формы [4. С. 469–470; 5. С. 165; 9. С. 142–146]. В качестве форм конъюнктива выступают плюсквамперфект и претерит. Широкое распространение получили аналитические сочетания инфинитива со служебным глаголом tun в претерите конъюнктива, которые, как и синтетическая форма претерита конъюнктива, служат для обозначения ирреального действия в настоящем и будущем в отличие от плюсквамперфекта, который обозначает ирреальное действие в прошлом. В рассматриваемых верхненемецких говорах флективные формы претерита конъюнктива сохранили только вспомогательные и претеритопрезентные глаголы, а также глагол brauchen.

Для обозначения ирреального действия в настоящем и будущем всех остальных глаголов в говорах употребляется аналитическая конструкция с глаголом tun в претерите конъюнктива. Аналитическая конструкция заняла место синтетических форм конъюнктива, утраченных в верхненемецких говорах, и приобрела все основные признаки данной категории, поэтому, являясь одной из основных форм конъюнктива, она входит в собственно парадигму в отличие, например, от аналитической конструкции tun и инфинитив полнозначного глагола, перифрастического настоящего. Например:

dea tet marjaem goda schafa (K) "Er würde morgen im Garten arbeiten";

wan ich jung wea, to tedich tantse (E) "Wenn ich jung wäre, da täte ich tanzen".

Во всех рассматриваемых верхненемецких говорах употребляется плюсквамперфект конъюнктива:

ich het aach k'an weite kleant (E) "ich hätte auch weiter gelernt"

des wea kaput kange (Sb) "das wäre kaputt gegangen"

tu hescht ham kehe mise (T) "du hättest nach Hause gehen sollen".

Если плюсквамперфект почти полностью вышел из употребления как

временная форма индикатива, то он остается активно употребляемой формой конъюнктива. Таким образом, в немецких говорах произошло перераспределение форм категории наклонения.

Во всех исследуемых диалектах зафиксированы формы повелительного наклонения 2-го лица единственного и множественного числа. Форма 2-го лица единственного числа образуются от основы глагола в инфинитиве без окончания, а 2-го лица множественного числа с помощью окончания **-t** в верхненемецких и окончания **-e** (<=**-en**) в нижненемецких говорах.

В верхненемецких говорах форма 2-го лица множественного числа употребляется и как форма вежливого обращения.

Широкое распространение имеет в рассматриваемых говорах инклюзивная форма императива, которая совпадает с формой 1-го лица множественного числа и грамматическим средством выражения которой служит конверсивный порядок слов:

gehe mea "Gehen wir!"

В „католических“ говорах представлена аналитическая форма императива, изменяемая форма глагола *tun* в презенсе и инфинитив полнзначного глагола:

tu mol em peta was fatsela (E) "Tue mal dem Peter etwas erzählen!"

Несмотря на длительное развитие в условиях изоляции от исходного языкового коллектива, рассматриваемые говоры сохраняют, хотя и в разной степени, изоморфные черты, свойственные диалектам исходных языковых областей. В островных диалектах в зонах наиболее интенсивных междиалектных и межъязыковых контактов в большой степени проявляется действие аналогии, стремление к унификации. При этом интенсивность преобразований в этом направлении затрагивает в большей степени морфологический уровень языка. Параллельность развития многих процессов в говорах можно рассматривать как результат ареальной конвергенции.

Каждый из немецких говоров, представленных на территории Алтайского края, отличается не только фонетическими и морфологическими особенностями, но и особенностями лексики. Распространение локально отмеченных лексических единиц в "католических" говорах можно проиллюстрировать следующими примерами: *not* „dann“, *jupkala* „Jüppchen, Hemdlein“, *hemeldje* „Kälbchen“, *tade* „Papa“, *poas* „Base, Tante“, *kiml* „Dill“, *foomlefel* „Schaumlöffel“, *kedl* „Patin“, *petrich* „Pate“, *koal* „Pferd“, *pluut* „kahl“, *heila* „weinen“. Эти говоры обнаруживают признаки пфальцских и швабских диалектов, что находит отражение и в словарном составе говоров.

Лексико-семантический уровень языковой структуры островных говоров складывался не только под влиянием общих внутриязыковых закономерностей, но и в результате взаимодействия и смешения различных немецких говоров, носители которых находятся в непосредственной близости друг к другу, а также под влиянием русского языка в условиях длительной изоляции от исходного языкового коллектива. Компактное проживание их носителей в обособленных населенных пунктах способствовало сохранению отдельных черт материнских диалектов, принесенных из родных мест. В словарном составе островных говоров до сих пор имеется целый ряд слов и выражений, свойственных лишь определенным областям Германии.

Литература

1. Жирмунский В.М. Проблемы переселенческой диалектологии // Общее и германское языкознание. Л., 1976. С. 491–516.
2. Wiesinger P. Deutsche Dialektgebiete außerhalb des deutschen Sprachgebiets: Mittel-, Süd- und Osteuropa //Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Hb. 2. Berlin; New York: de Gruyter, 1983. S. 900–929.
3. Post R. Pfälzisch. Einführung in eine Sprachlandschaft. 2. Aufl. Landau: Pfälzische Verl.-Anst., 1992.
4. Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
5. Филичева Н.И. Диалектология современного немецкого языка. М.: Высш. шк., 1983.
6. Hufnagl A. Laut- und Formenlehre der Mundart von Memmingen und Umgebung. München, 1967.
7. Канакин И.А. Краткий очерк морфологии немецких диалектов. Новосибирск: Наука, 1983.
8. Barba K. Deutsche Dialekte in Rumänien. Die südfränkische Mundart der Banater deutscher Sprachinsel. Wiesbaden: Steiner, 1982.
9. Frey E. Stuttgarter Schwäbisch. Laut- und Formenlehre eines Idiolekts. Marburg: Elwert, 1975.

Moskalyuk Larisa I., Altai State Pedagogical Academy (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: l.moskalyuk@yandex.ru

GERMAN ISLAND DIALECTS IN WESTERN SIBERIA. DOI 10.17223/19986645/27/3

Keywords: Island German dialects, mixed formations, phonetic, grammatical and lexical features of Russian-German dialects.

German island dialects in Western Siberia are specific mixed formations developing over a long period of time in the foreign-language environment in the process of intensive contact with the Russian language. A comprehensive study of the sound structure, vocabulary and grammar of the German dialects is carried out here followed by the allocation of the distribution of individual lexical units, phonetic and grammatical phenomena in some places densely populated by Russian Germans in the Altai. Among the studied material there are no dialects that fully coincide with those currently existing in Germany, there are also no dialects that would exactly repeat any dialects of the parent colonies in the Ukraine and the Volga region. Language features of the researched island German dialects are manifested in the *conservation* of the old forms and preservation of primordial phenomena as a consequence of isolation from the source language community, *in parallelism* of the development of many processes in the Russian-German dialects, which are explained by intense interdialectic contacts, *in a significant simplification* of the grammatical system and *a large number of borrowings* from the Russian language as a result of its prolonged and strong impact on the island dialects. Mixed dialects of immigrants from the former Black Sea Catholic colonies show phonetic features of the western South German, partly southwestern Middle German dialect area.

For dialects with the features of the western South German dialect area, it is characteristic to preserve the three-member paradigm opposing the nominative, dative and accusative cases of nouns. The special features of morphemics of adjective declension in the German dialects of the Altai are the ending *-i* in the strong forms of the feminine, the preservation of the old short form of the adjective, along with inflectional forms, a complete unification of the weak declension endings, and the convergence of the strong declension of adjectives with the weak declension.

Loss of the preterite in varying degrees is common to all groups of island Upper German dialects under consideration. In the "Catholic" group of dialects only the preterite indicative form of the verb *sein* is represented.

The studied dialects preserved the old forms of double perfect and pluperfect. The conjunctive forms represent preterite forms and pluperfect. Widespread are combinations of the infinitive with the auxiliary verb *tun* in the conjunctive preterite. Only auxiliary and modal verbs preserved the inflected forms of the conjunctive preterite.

In the vocabulary of the island dialects there still are some words and expressions peculiar only to certain areas of Germany. Under the influence of the Russian language in the conditions of long-term isolation from the source language community a considerable number of borrowings penetrated in the island dialects from the language of the environment.

References

1. *Zhirmunskiy V.M.* Problemy pereselencheskoy dialektologii // Obshchee i germanskoe yazykoznanie. L., 1976. S. 491–516.
2. *Wiesinger P.* Deutsche Dialektgebiete außerhalb des deutschen Sprachgebiets: Mittel-, Süd- und Osteuropa // Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Hb. 2. Berlin; New York: de Gruyter, 1983. S. 900–929.
3. *Post R.* Pfälzisch. Einführung in eine Sprachlandschaft. 2. Aufl. Landau: Pfälzische Verl.-Anst., 1992.
4. *Zhirmunskiy V.M.* Nemetskaya dialektologiya. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1956.
5. *Filicheva N.I.* Dialektologiya sovremenogo nemetskogo yazyka. M.: Vyssh. shk., 1983.
6. *Hufnagl A.* Laut- und Formenlehre der Mundart von Memmingen und Umgebung. München, 1967.
7. *Kanakin I.A.* Kratkiy ocherk morfologii nemetskikh dialektov. Novosibirsk: Nauka, 1983.
8. *Barba K.* Deutsche Dialekte in Rumänien. Die südfränkische Mundart der Banater deutscher Sprachinsel. Wiesbaden: Steiner, 1982.
9. *Frey E.* Stuttgarter Schwäbisch. Laut- und Formenlehre eines Idiolekts. Marburg: Elwert, 1975.

УДК 81'42

DOI 10.17223/19986645/27/4

М.О. Кочеткова, И.В. Тубалова

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БЛОГА КАК ЖАНРА ДИСКУРСА БЛОГОСФЕРЫ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье исследуется речевой жанр блога как особого типа текста, сформированного, с одной стороны, интенцией индивидуально-личностной сублимации, а с другой – техническими возможностями интернет-пространства. Анализируется специфика развития речевого жанра блога за период его существования в отечественном интернет-контенте под влиянием социокультурных факторов. Исследование выполнено на материале блогов, расположенных на самой популярной платформе – Livejournal («Живой журнал»). Материал определяется временными рамками с 2000 по 2013 г. и составляет более 1000 наиболее популярных (согласно рейтингу «Яндекс. Блоги») блогов.

Ключевые слова: речевой жанр, дискурс блогосферы, социокультурные факторы, гипержанр, медийный жанр.

Идея социальной обусловленности текстопорождения, выраженная в различных теориях дискурса, активно обсуждается в современной лингвистике. Одним из аспектов представления данной идеи является анализ проблемы формирования и развития речевых жанров – относительно устойчивых типов высказывания, выработанных определенной сферой общения [1. С. 237].

В данной статье мы обращаемся к речевому жанру блога – особому типу высказывания, сформированному, с одной стороны, интенцией индивидуально-личностной сублимации, а с другой – техническими возможностями интернет-пространства как специфической сферы общения.

Жанровое пространство интернет-коммуникации в настоящее время регулярно становится объектом исследовательского внимания ([2, 3, 4] и др.). При его анализе учитывается специфика Интернета – особой технической среды, где параметры средства и канала коммуникации (гипертекстуальность, мультимедийность, синхронность и др.) непосредственно влияют на используемые в интернет-пространстве жанровые формы, определяя специфику функционирования языковых средств и организации конкретного жанра [5].

Обращение исследователей к жанровой специфике блога в последние несколько лет осуществляется достаточно активно ([6, 7, 8, 9] и др.). Блог занимает особое место в ряду жанров интернет-коммуникации, которая демонстрирует в дискурсивном аспекте качественную неоднородность. Дискурс блогосферы – особый дискурс в структуре интернет-коммуникации, объединяющий множество отдельных блогов в единое сообщество. Блогеры читают и комментируют друг друга, ссылаются друг на друга и таким образом создают свою субкультуру. Понятие блогосферы демонстрирует одно из основных отличий блогов от обычных веб-страниц и интернет-форумов: связанные между собой блоги могут составлять динамичную всемирную информационную оболочку.

О.В. Лутовинова, выделяя в структуре интернет-коммуникации дискурсообразующие жанры – на основе специфики структуры и композиции текста – и дискурсоприобретенные жанры – на основе интенционального разнообразия высказываний, определяет блог как один из дискурсообразующих жанров [4. С. 233].

Дискурс блогосферы активно реагирует на социальные изменения. В результате изменяются интенциональные характеристики функционирующих в нем высказываний, трансформации подвергается сама жанровая форма блога.

Цель данной статьи – представить результаты анализа развития речевого жанра блога за период его существования в отечественном интернет-контенте под влиянием социокультурных факторов.

Исследование выполнено на материале блогов, расположенных на самой популярной платформе – Livejournal («Живой журнал»). Материал определяется временными рамками с 2000 по 2013 г. и составляет более 1000 наиболее популярных (согласно рейтингу «Яндекс. Блоги») блогов.

Анализируя блог в жанровом аспекте, исследователи указывают на его дневниковую природу, согласно которой «классический» дневник является жанровой моделью, легшей в основу его формирования [7, 8, 10, 11].

В настоящем исследовании мы рассматриваем блог как жанр интернет-коммуникации, который возник на основании трансформации жанровой модели «классического» дневника, определяемого как «систематическая, последовательная запись происходящих событий с центральной фигурой самого автора текста, осуществляемая для понимания и запечатления личности в системе переживаемых ею событий, с точным указанием даты происходящего и заведомо двойственной адресацией» [12. С. 49], и оформился в процессе развития блогосферы в гипержанр (сверхсложное жанровое макрообразование, объединяющее в своем составе несколько жанров [13]), распределяющий конкретные жанровые формы в его рамках в соответствии с дифференцирующимися функциями блогосферы как социокультурной среды.

Блог как жанр интернет-коммуникации появился в отечественном интернет-контенте более десяти лет назад. Изначально он практически полностью представлял собой гипертекст и функционировал в виде выборки ссылок с призывом блогера обратить на них внимание (сейчас такой формат сохранен в микроблогах).

В настоящее время формат блога изменился: значительно увеличилось количество пользователей; блоги диверсифицировались (под влиянием социолингвистических факторов появлялись новые функции, некоторые функции отошли к другим социальным сетям, что и привело к динамике рассматриваемого жанра). Записи в формате блога составляют содержание таких посещаемых сайтов, как Live Journal, Facebook, ВКонтакте (более 500 миллионов пользователей). Прогнозируется дальнейшее развитие, популяризация и преобразование данного вида виртуального дискурса. Личностно-ориентированное интернет-пространство трансформируется, все больше места в блогосфере занимают тексты, формирование которых отвечает институциональным интересам различного характера. Так, блогами называются и полупрофессиональные тематические колонки, являющиеся для своих авторов главным источником дохода, и конкретные компоненты интернет-СМИ

(например, TechCrunch, «Интернетные Штучки», CNN, NYTimes или snob.ru, у которых есть блогговые разделы).

Кроме того, функции предоставления платформы для индивидуально-личностного самовыражения постепенно перемещаются на сайты, предполагающие записи другого формата (где интерфейс требует формирования значительно меньшего по объему текста). Например, в качестве такого типа среды активно используются социальные сети.

В качестве еще одной тенденции развития блогосферы отметим ее тематическую специализацию. Эта тенденция, уже активно реализованная на Западе, постепенно внедряется и в отечественную блогосферу.

Указанные факторы определяют динамику формирования и развития жанра блога, которую мы представляем в виде следующих этапов.

1. Этап, предшествующий непосредственному формированию жанра блога: период существования и активного функционирования личного дневника как лично-ориентированного письменного жанра офлайн-коммуникации. В рамках данной работы внимание к этому этапу связано с теми базовыми жанровыми признаками, которые оказываются субстратными для жанра блога.

2. Этап начального формирования интернет-дневника и, соответственно, блогосферы, в рамках которой он функционирует. Граница между первым и вторым этапом по времени соответствует примерно 2001 г. (именно с этого времени начинается активное использование блог-платформ). Зарождается и активно развивается гипержанр блога, который на данном этапе оказывается представленным единственной жанровой формой, определяемой нами как блог-дневник.

3. Этап активной трансформации блогосферы, формирования новых жанров в рамках гипержанра блога, определяемого влиянием жанров СМИ – проникновением в блогосферу их жанровых интенций. Граница между вторым и третьим этапом – приблизительно 2006–2007 гг. Гипержанр блога на данном этапе существует в следующих жанровых формах: блог-дневник (сохраняется), новостной блог, блог-статья, блог-рецензия, блог-комментарий, блог-очерк, блог-заметка, блог-репортаж, блог-рейтинг и др.

Рассмотрим обозначенную динамику, ориентируясь на анкету речевых жанров Т.В. Шмелёвой (в основе – жанровая интенция) [14]. При этом наиболее подробно остановимся на жанровых трансформациях, связанных с переходом к третьему этапу (жанровая динамика перехода от дневника «классического» к собственно блогу с разной степенью подробности описана в [7, 8, 10, 11]).

Блог-дневник сохраняет многие свойства дневника «классического».

К ним относится особая форма реализации информативно-оценочной интенции, проявленной в виде интимно представляемого описания лично значимых событий, проникнутой ощущением ценности отдельной личности; установка на личностную сублимацию. Исследователи отмечают, что как «классический», так и on-line-дневник служат прекрасным материалом для наблюдений над тем, как языковая личность создает свой мир, конструирует свой образ и корректирует свое речевое поведение как единственный инструмент своего существования [11. С. 5].

Исследуемый текст – это текст о текущем моменте (о сегодняшнем дне или нескольких прошедших днях, но не более). Даже если содержанием записи являются воспоминания, планы на будущее или общие рассуждения, автор связывает с описываемым днем и текущими обстоятельствами представляемые мысли и чувства. Метатекстовая дата записи соответствует именно моменту записи, а не моменту описываемых событий.

Диктумное содержание обращено к внеречевой действительности – событийному содержанию, согласно которому дневник – это текст, ориентированный на реально бывшее, а не на творческий вымысел [11]. Но описываемые события действительности служат лишь фоном, основой для размышлений о жизни. Главным для автора является его эмоциональное состояние [Там же], и факт является значимым лишь постольку, поскольку влияет на самочувствие и самовосприятие личности. При этом представление событий реализуется в их дробности, конкретности, детальной четкости, причем их структурирование также обусловлено личностно-ориентированными установками.

Перенос дневниковой жанровой формы в интернет-среду определяет специфику жанра блога по сравнению с дневником «классическим».

Основное отличие блога-дневника связано с формированием в его интенциональной структуре установки на публичность. А. Зализняк, используя выражение М.А. Кронгауза, определяет доминантное свойство сетевого дневника – «наследника» дневника классического – как «публичную интимность» [10]. Если «классический дневник» обладает свойством автоадресности, то блог-дневник – текст полиадресный, принципиально ориентированный на множество читателей. При этом данное отличие оказывается не настолько существенным в плане изменения жанровой сущности дневника при его «миграции» в блогосферу, насколько существенным оказываются изменения, приведшие в дальнейшем (на 3-м этапе) к внутренней трансформации гипержанра блога. На наличие потенциальной публичной ориентации уже «классического» дневника указывает А.А. Зализняк, отмечая, что «классический» дневник «пишется *как будто* исключительно для себя и поэтому *без рисовки*, но одновременно именно это и оказывается *интересно* другим – тем, кем он, возможно, будет прочитан» [10], и «возникновение феномена «публичной интимности» связано не только с тем, что новые технологии дают возможность легко и быстро поделиться своими мыслями и чувствами с неограниченным числом людей, но также и с тем, что эти технологии позволяют предъявить этому множеству людей **свой текст как свидетельство своего индивидуального бытия**. Коммуникативная революция, которую произвел Интернет, состоит прежде всего в том, что он дал человечеству принципиально новые возможности удовлетворения этой потребности» [10].

На ранних этапах существования блогосферы текст блога как жанровая форма реализуется в основном в виде блога-дневника. Но необходимо отметить, что уже на этом этапе главным отличием от дневника «классического» становится осознанная, эксплицированная ориентация на читателя, и в дальнейшем этот фактор будет всё больше усиливаться. С открытием регистрации в ЖЖ для всех желающих его аудитория резко возросла, а следовательно, возросло и количество потенциальных читателей. Важным становится фактор блоговой популярности, количество «френдов» и комментариев. Ориентация

на блогговую популярность приводит к тому, что, оставаясь в рамках обозначенного жанра, некоторые отдельные блогговые тексты начинают все ярче проявлять признаки медийности, в чем выражается трансформация жанровой интенции. При этом сама дневниковая форма (за счет доверительного к ней отношения) используется как средство достижения популярности и становится средством манипуляции. Установка на «интимность» дневниковой жанровой формы эксплуатируется как фактор, определяющий доверие читателей и способствующий продвижению определенной идеологической позиции. В пример можно привести блог, принадлежащий Алексею Навальному (<http://navalny.livejournal.com/>), который, первоначально не будучи известным вне блогосферы, сумел приобрести небывалую популярность при помощи блогов (№ 3 в рейтинге блогов LiveJournal на 25.04.2013).

За последнее время блоги и их позиционирование в интернет-пространстве существенно изменились. Среди электронных медиа блоги рассматриваются как мощные альтернативные и независимые источники информации, новостей и средство выражения общественного мнения. Именно в этом проявляется специфика социокультурного статуса блога на 3-м этапе его развития, определившая особенности жанровой формы.

Сегодня в структуру интенциональных установок блога входит не только индивидуально-личностная сублимация, представленная публично и направленная на множественную ответную реакцию, но и оперативное распространение информации, организация массовых событий (митингов, кампаний по сбору средств и под.), а также привлечение внимания к социально значимым проблемам. Все это делает блогосферу источником и инструментом общественного воздействия. За счет особой технически обеспеченной мобильности (технический фактор), с одной стороны, и личностной окрашенности информации (психологический фактор), отсутствия институциональной цензуры (социальный фактор) – с другой, блогосфера в значительной степени отнимает у СМИ функцию контроля информационной повестки дня, формируя феномен «гражданской журналистики» (*participatory journalism, citizen journalism*).

Уже сегодня на её счету проведение нескольких успешных социальных кампаний. Например, история с домом престарелых в Ямме, которой заинтересовался Дмитрий Медведев; отвод нефтяной трубы от Байкала, инициированный популярным блогером Алексеем Навальным, история с аэропортом Шереметьево-2 и др.

Сам жанр блога изначально не обладал потенциалом тематического единства (общий жанрообразующий признак – индивидуально-личностная ориентация любой тематики, подчинение любой темы установке на раскрытие внутреннего мира автора), но политическая тематика в нем становится ведущей в связи с проникновением в его интенциональную структуру медийных установок. Исследование российской блогосферы группой аналитиков Центра Беркмана по изучению Интернета и общества (октябрь 2010) выделяет в рамках общей структуры дискуссионного ядра российской блогосферы «политические и общественные отношения» (обсуждения новостей, бизнеса и финансов, социального и политического активизма и т.п.) ([http:// cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Ru](http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Ru)

ssian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf). Блогосфера (а конкретно – наиболее популярный сервис «Живой Журнал», Livejournal.com) используется для генерирования и обсуждения идей, зафиксированных в масштабных политически-ориентированных текстах, выступая в роли своеобразной «фабрики смыслов». Нельзя обойти вниманием и тот факт, что вслед за Д. Медведевым блоги в Интернете стали вести многие высокопоставленные чиновники, представители государственной власти разных уровней. Увеличилось число политических деятелей, обозначивших свое присутствие в блогосфере, что привело к появлению специальных сервисов в Интернете, призванных оценивать активность и рейтинги популярности блогов чиновников, политиков и общественных деятелей. В качестве примера можно отметить проект сайта «Полит.ру» «Гослюди» и проект «Госблоги». Это свидетельствует о том, что влияние блогосферы на политику признается экспертами. Вместе с тем освещение политической тематики становится для блогеров одним из наиболее доступных средств повышения популярности.

Таким образом, с одной стороны, блог-платформа начинает осознаваться как удобная площадка для реализации медийных установок, с другой – блогосфера начинает активно использовать социально значимую информацию в качестве средства повышения блоговой популярности.

В результате обозначенных изменений жанр блога трансформируется. Рассматривая гипержанр блога, следует отметить, что если на ранних этапах существования блогосферы он в основном функционировал в жанровой форме блога-дневника, отличавшегося от дневника «классического» в первую очередь уровнем эксплицированности установки на публичность, поддерживаемой соответствующей технической средой через интерфейс, то на современном этапе гипержанр блога существует в ряде достаточно отчетливо дифференцированных форм. Наряду с блогом-дневником, занимающим в современной блогосфере уже не ведущие позиции, в рамках гипержанра блога можно выделить жанры, возникшие в результате влияния медийных интенций, отработанной формой представления которых являются различные жанры СМИ. Адаптация жанровых моделей СМИ под блоговой формат приводит к возникновению в структуре гипержанра блога жанров блога-статьи, блога-рецензии, блога-комментария и др. Дневниковая основа при этом сохраняется и активно используется в медийных целях.

Рассмотрим специфику подобной адаптации на примере блога-статьи и блога-комментария. Отметим, что объектом нашего внимания являются только те блоги, которые не оформлены в качестве официальных СМИ (т.е. личные электронные дневники).

Классификация жанров журналистики предусматривает их деление на информационные, аналитические и художественно-публицистические (см. [15, 16] и др.). Такие жанры СМИ, как статья и комментарий, относятся, наряду с корреспонденцией, колонкой, рецензией и др., к жанрам аналитическим [Там же], интенционально ориентированным не на констатацию факта, а на освещение какой-либо проблемы, представленной в ее авторском осмыслении. Важную роль при этом играет функция прямого воздействия на читателя, который должен принять авторскую позицию как верную [15. С. 169].

Аналитические жанры СМИ интегрируются в структуру гипержанра блога наиболее органично, так как в своей исходной форме они демонстрируют оформленную в тексте четкость авторской позиции и ярко выраженный субъективно-ориентированный характер. Но информация, представленная в СМИ, а также ее оценка отвечают институциональным запросам, связанным с ангажированностью публикующего ее издания социальными структурами, поэтому субъективная ориентация авторской позиции для аналитических жанров СМИ, скорее, манипулятивно значимый элемент внешней формы реализации жанровой интенции. Жанр дневника, напротив, предполагает выбор и конфигурирование информации с позиций конкретного автора как личности. Личность автора блога реализуется в системе текстов электронного дневника в виде целостной технически выделенной структуры и оказывается значимой для его читателей, определяя восприятие авторской позиции как индивидуальной. При этом в блоговом тексте активно используются отработанные в аналитических жанрах СМИ принципы текстопорождения, образуя гибридные жанры, объединенные интенцией гипержанра блога.

Статья – один из основных аналитических жанров СМИ, характеризующийся постановкой и разработкой проблемы на основе анализа явлений, сопоставления фактов и теоретических обобщений [15]. Статья занимает среди аналитических жанров журналистики ведущее место. Она объясняет читателю социально актуальные процессы, явления и факты [15, 16].

Интенционально статья как медийный жанр предполагает представление информации и ее оценку с позиции социальной группы, «рупором» мнения которой выступает автор-журналист в силу особого институционального статуса. Теория медийных жанров обращает внимание на близость авторского «я» статьи к авторскому «мы» [15. С. 175]. Объектом такой оценки в статье становятся социально значимые события, факты и явления, интерпретируемые в широком социальном контексте, что способствует реализации объяснительной интенции [16. С. 160]. Современный личный электронный дневник все чаще формирует текст, выстраиваемый на основании подобных интенций. Во-первых, объектом описания становятся события, представленные как социально значимые. Иногда автор блога даже не является их участником, анализируя ситуацию на основании внешней информации различного характера, но чаще всего автор представляет результаты личного участия в подобных событиях (что соответствует дневниковой природе жанра), но способ их интерпретации указывает на трансформацию образа автора. Это проявляется в том, что исследуемые события трактуются с позиции не конкретной личности, а некоторой социальной группы, хотя на принадлежность к данной группе автор (как конкретный блогер) указывает однозначно (...*в среде реальной оппозиции почему-то стесняются иногда говорить о своих достижениях. Я не из стеснительных. А потому попробую объективно посмотреть на то, что произошло за этот более чем год. В свой обзор не включаю те события и явления, что были до митингов на Болотной и Сахарова*).

Рассмотрим специфику блога-статьи как жанровой формы гипержанра блога на конкретном примере¹.

¹ Орфография и пунктуация авторов в представляемых примерах сохранены.

Юбилей ЧФ: парад, которого не было**13 Мая, 09:14****Panzir56**

История флота дает много поводов для гордости. Зато его нынешний день – смесь горького разочарования и робкой надежды. Морской парад, анонсированный на 230-летний юбилей ЧФ, на самом деле не состоялся. Корабли простояли посреди бухты неподвижно, у швартовых бочек. В общем строю – две подводные лодки: русская «Алросса» и единственная украинская «Запорожье». Последняя после двух десятилетий ремонта наконец-то смогла оторваться от причальной стенки, но так и не рискует пока покорять глубины. Вместо прохождения боевых кораблей зрителям устроили театрализованное представление. На задекорированных катерах – екатерининские времена, подвиг брига «Меркурий», реконструкция боя на Малаховом кургане. Получилась бледная копия ежегодно пышно отмечаемого в городе в последнее воскресенье июля Дня ВМФ России. Впрочем, самих зрителей оказалось немного – гостевые трибуны оставались полупустыми, а простой народ тусовался на Приморском бульваре и на набережной.

Власти оправдываются – мол, празднование испортил густой туман, буквально накрывший бухту сразу после обхода кораблей командующими ЧФ России и ВМСУ. Белая пелена сначала заволокла корабли парадного строя. Потом «замаскировала» торжественную встречу ракетноносца на воздушной подушке «Бора», который именно во время праздника возвратился домой из Стамбула. «Бора» прошел по фарватеру в паре кабельтовых от берега, но его вообще никто не увидел. На VIP-балконе Севастопольской бухты сидела что-то разглядеть пара почетных гостей – спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. К флоту и армии оба не имеют никакого отношения.

/.../

Блоговая дневниковая форма текста реализуется в сопровождающем его указании на авторство (**Panzir56**) и дату (**13 Мая, 09:14**), оформляющие его личностную и оценочно-событийную конкретность. Значимым для понимания специфики данного текста как фрагмента дневника конкретного автора оказывается обращение к специфике данного дневника в целом: данный дневник представляет тексты, направленные на анализ социально актуальных проблем (примеры их заголовков: *Минфин заморозит зарплаты чиновников и военнослужащих; ПИЛОТАЖНЫЕ ГРУППЫ... ТАНКОВЫЕ... еще одна ШОЙГУ – ДУРЬ...*; *ПВО Сирии: спасение или иллюзия?* и др.). Таким образом, социально-оценочный пафос следует рассматривать как избранную автором блога смысловую доминанту дневника (ср. названия некоторых других журналов: *Кулинарный дневник; Журнал путешественника* и под.), реализующую личностно-ориентированную интенцию, определяемую кругом индивидуальных интересов (в отличие от институционально оформленной интенции автора статьи, являющейся жанром СМИ).

Автор блога представляет события как их участник (о чем свидетельствуют описания, являющиеся результатом конкретного наблюдения: *В общем строю – две подводные лодки: русская «Алросса» и единственная украинская «Запооэжье»; гостевые трибуны оставались полупустыми, а простой народ*

тусовался на Приморском бульваре и на набережной и др.), что также соответствует дневниковому характеру текстовой формы.

При этом целый ряд специфических признаков данного текста позволяют обнаружить в нем жанровые признаки статьи.

Представляемое событие проинтерпретировано в виде социально значимого. Личная позиция автора оформляется через присоединение к позиции некоторой социальной группы, которая оформляется в противопоставлении позиции официальной власти. Это проявляется в указании на несостоявшееся выполнение некоторых обещаний с ее стороны (*Морской парад, анонсированный на 230-летний юбилей ЧФ, на самом деле не состоялся*), иронической характеристике ее реакции (*Власти оправдываются...*) и действий (приглашение гостей, которые *К флоту и армии оба не имеют никакого отношения*).

Еще один аспект авторского позиционирования связан с проявлением особой осведомленности в исследуемой области, способствующей реализации объяснительной интенции, свойственной жанру статьи, и придающей блоговому тексту характер оценки с позиции истины, экспертной оценки (*Последняя после двух десятилетий ремонта наконец-то смогла оторваться от причальной стенки...*).

Неклассической для дневниковой формы оказывается и композиционная организация текста. Если типичный блог-дневник чаще всего начинается с некоторой личностно-ориентированной интродукции (*Ездил к другу в гости вчера, так у него в торце дома ул. Говорова д. 14 Санкт-Петербург установили аппарат по продаже молока от фермеров...; Не получился у меня день улыбок. Несмотря на то, что я помнила о нем весь день...; Зашла я вчера на рынок, хотелось чего-нибудь вкусного*), вводящей читателей в личный мир автора, то исследуемый текст блога-статьи начинается с указания на контекст социальный, в рамках которого наблюдаемое событие предполагается рассматривать. В обобщенном варианте начало текста представляет собой исходный тезис для дальнейшего доказательства – формулируется оценка социальной значимости флота и его современного положения, которая формирует особый контекст для последующего анализа конкретного события (*История флота дает много поводов для гордости. Зато его нынешний день – смесь горького разочарования и робкой надежды*). Дальнейшее представление событий в тексте подчиняется последовательности, определяемой внутренней аналитической логикой автора (аналитик превалирует над наблюдателем, хотя, как отмечалось, это взгляд участника событий). Сам отбор фактов для описания также этому способствует.

Обобщенность аналитической позиции автора проявляется в отсутствии характерных для блога-дневника форм самопозиционирования (*я увидел...; мне показалось, что... и под.*). Проявленные во множестве формы реализации оценочной позиции (*наконец-то смогла оторваться от причальной стенки, но так и не рискует пока покорять глубины; бледная копия ежегодно пышно отмечаемого в городе в последнее воскресенье июля Дня ВМФ России*), а также немногочисленные формы имитации устного непосредственного общения (*мол, празднование испортил густой туман*) вполне соответствуют

стилю статьи, где они могли бы выполнять роль формы реализации воздействия на читателя.

Таким образом, анализ конкретного блоггового текста показывает результаты интеграции в структуру дневникового по природе жанра блогга признаков статьи, являющейся жанром СМИ, что позволяет рассматривать блог-статью как жанр в рамках гипержанра блогга. Блог-статья функционирует в современной блоггосфере достаточно активно. С одной стороны, он сохраняет дневниковую основу, реализуя форму индивидуально-личностной сублимации оценочных эмоций, а с другой – по характеру и способу реализации оценки внешне уподобляясь медийному жанру, - становится удобной формой привлечения читательского внимания.

Другим вариантом подобной интеграции является блог-комментарий.

Главное отличие комментария от статьи и прочих аналитических жанров заключается в том, что в нем обычно анализируется какое-то явление, уже известное аудитории, и в этом анализе превалирует отношение к предмету отображения [16].

Расширение жанрового спектра комментирующей журналистики – одна из примет современных российских СМИ. С начала 1990-х гг. в ответ на экспансию «интенсивной журналистики» начинают развиваться жанры, прочно связанные с оперативным осмыслением факта. Комментарий, как отдельный, самостоятельный медийный жанр, получает широкое распространение.

Комментарий (за исключением кратких форм) представляет собой структуру доказательного рассуждения по поводу какого-то одного основного вопроса. Комментарий содержит ряд типичных структурных элементов: сообщение о комментируемом событии и формулировка задачи комментария; формулирование возникших в связи с этим событием вопросов; изложение комментирующих фактов и мыслей, деталей; формулировка тезисов, отражающих отношение автора к отображаемому событию [16].

В основе жанровой интенции комментария – оценка социально резонансного события. Автор комментария обладает определенным социальным авторитетом, позволяющим ему представить эту оценку с позиции обладателя особого знания, которое он может представить неосведомленному адресату. Образ будущего оформляется в значимом для комментария прогнозе дальнейшего развития событий, спровоцированного объектом комментирования.

Авторы личных электронных дневников, представляющие тексты, ориентированные на интенцию оценки известных социально значимых событий, позиционируют себя как отдельную личность (не связанную с социальной группой), обладающую особым знанием. Часто подобные тексты обнаруживаются в электронных журналах различных общественных деятелей, и это придает оценке, оформленной в личностно-ориентированном ключе, особый социально мотивированный характер.

Рассмотрим специфику блогга-комментария как жанровой формы гипержанра блогга на конкретном примере.

Комментарий в связи с уходом Суркова – заместителя председателя Правительства Российской Федерации, руководителя аппарата Правительства Российской Федерации (2012–2013 гг.) (пост написан через несколько часов после отставки)

8 мая, 17:55

krispoturcĥik (Кристина Потупчик – российский общественный деятель, блогер, пресс-секретарь молодёжного движения «Наши» с 2007 по 2012 г.).

Мне сегодня обрывают трубку журналисты, и все почему-то с одним и тем же вопросом, мол, считаю ли я уход Суркова следствием какой-то политической зачистки. Поскольку "гребаная цепь" не дает журналистам покоя и они склонны интерпретировать счастливые события в жизни известных людей как зачистку, считаю нужным прокомментировать. Я, безусловно, поддерживаю решение Суркова, потому что считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что он может и что ему нравится. Критика Путиным правительства, озвученная перед тем, как Сурков подал заявление об отставке, была достаточно конструктивной, и я рада, что вместо политической работы, к которой у Суркова в последнее время явно не лежит душа, он решил уйти и заняться тем, что действительно любит – искусством, литературой, поэзией. Тем более, что, судя по многочисленным словам поддержки, порой довольно неожиданного авторства, с аудиторией у Владислава Юрьевича проблем не будет. Сейчас, когда многие литераторы, внезапно нашли себя в политике, гармония и равновесие, которые так любит Сурков, должны быть восстановлены. Мы, может, и не получили нового политического языка, зато, возможно, получим новый литературный язык. Как филолог, не могу этому не радоваться.

В приведенном тексте формы авторской индивидуализации оказываются при трансляции оценки комментируемого события ведущими (*Мне сегодня обрывают трубку; считаю нужным прокомментировать; Я, безусловно, поддерживаю; я рада; Как филолог, не могу этому не радоваться* и др.). Признаки дневниковой формы проявляются и в указании на пространственно-временную конкретность описываемого события (*Сурков подал заявление об отставке*), а также повода для формирования текста (*Мне сегодня обрывают трубку журналисты...*). Внешне как осмысленные с личностной позиции выглядят и оценка произошедшего события (*каждый человек должен заниматься тем, что он может и что ему нравится / он решил уйти и заняться тем, что действительно любит*), и прогноз (*с аудиторией у Владислава Юрьевича проблем не будет*).

Жанровая форма личного дневника оказывается максимально комфортной для оформления позиции автора как личностно-ориентированной, при этом его социально-политический статус позволяет обнаружить определенную общественную позицию, представленную как личную. Отношение к событию выражается как в присоединении к его внешней политически значимой оценке (*Критика Путиным правительства, озвученная перед тем, как Сурков подал заявление об отставке, была достаточно конструктивной*), так и в иронии по отношению к личности героя комментируемого события (*должен заниматься тем, что он **может**; по многочисленным словам поддержки, порой **довольно неожиданного авторства***).

Особо отметим последовательное самодистанцирование автора от позиции журналистов, выражающих потребность в получении значимой для любого среднего человека информации (...*обрывают трубку журналисты, и*

все почему-то с одним и тем же вопросом, мол, считаю ли я уход Суркова следствием какой-то политической зачистки. Поскольку "гребаная цепь" не дает журналистам покоя и они склонны интерпретировать счастливые события в жизни известных людей как зачистку, считаю нужным прокомментировать). Подобная установка предполагает наличие в структуре авторского самоосознания особой, закрытой для других информации.

Таким образом, как и в приведенном выше примере текста блога-статьи, в тексте блога-комментария жанровые признаки комментария, являющегося медийным жанром, проникают в структуру дневниковой формы электронного дневника, способствуя представлению оценки социально значимого и требующего медийного комментария события в личностно-ориентированной дневниковой форме. Внешняя форма блога-комментария оказывается даже меньше, чем форма блога-статьи, подверженной медийно заданной трансформации, но функционально данная жанровая разновидность гипержанра блога также демонстрирует результат проникновения в структуру электронного журнала интенций СМИ.

Итак, современная блогосфера демонстрирует изменения жанра блога под влиянием следующих социокультурных факторов. Расширяется круг пользователей блогосферы, повышается роль блогосферы как среды общения, как следствие – происходит ее диверсификация. С одной стороны, гипержанр блога дифференцируется функционально, что связано с расширением функций блоговых высказываний, проникновением в блогосферу медийных интенций, по-особому взаимодействующих с дневниковой основой. С другой – активно развивается техническая среда Интернета, что проявляется в переходе пользователей из блогов в новые социальные сети, которым блогосфера в значительной степени делегирует полномочия удовлетворять потребности в личностно-ориентированном общении (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте). Параллельно на блоговой платформе формируются новые – медийные по своим исходным интенциональным установкам – разделы, продуцирующие медийные жанровые высказывания (например, интернет-СМИ). Блогосфера тематически переструктурируется: ведущую роль начинает играть социально-политическая тематика.

В результате блог как дискурсообразующий гипержанр блогосферы трансформируется, реализуясь в современной блогосфере в целом ряде конкретных жанровых форм. Наряду с блогом-дневником – как исходной жанровой формой, возникшей у истоков формирования Интернет-блог-пространства, – активно функционируют жанры, воспринявшие признаки жанров СМИ.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
2. Горошко Е.И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете: попытка рефлексии // Жанры речи. Саратов, 2009. Вып. 6. С. 111–127.
3. Компанцева Л.Ф. Интернет-лингвистика: когнитивно-прагматический и лингвокультурологический подходы. Луганск: Знание, 2008. 528 с.
4. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса. Волгоград: Перемена, 2009. 477 с.

5. *Щипицина Л.Ю.* Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации. Архангельск: Поморский университет, 2009. 238 с.
6. *Алексеев А.В.* Записи в блоге как речевой жанр Интернет-коммуникации [Электронный ресурс]. URL: <http://iawia.net.ru/diplom.htm> (дата обращения: 12.09.2012).
7. *Бардашевич Я.А.* Особенности жанра интернет-блога // Материалы общероссийской студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум», 15–20 февраля 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rae.ru/forum2011/18/738> (дата обращения: 14.01.2013).
8. *Пожидаева И.В.* Блог как результат развития эпистолярного жанра: лингвопрагматический анализ [Электронный ресурс]. URL: <http://kk.convdocs.org/docs/index-12814.html> (дата обращения: 17.04.2012).
9. *Черкасова Н.В.* Лингвокультурологические характеристики блога как жанра Интернет-коммуникации // Вестн. Челябин. гос. ун-та. 2012. № 5 (259). Филология. Искусствоведение. Вып. 63. С. 164–168.
10. *Зализняк А.А.* Дневник: к определению жанра // Новое литературное обозрение. 2010. № 106 [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html> (дата обращения: 21.06.2013).
11. *Калинина Е.И.* Системно-структурное моделирование внутрижанрового пространства гипержанра «дневник» (на материале британской лингвокультуры): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2013. 24 с.
12. *Харченко В.К.* Дневник как жанр в аспекте лингвоаттрактивности // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2010. № 12(83), вып. 6. С. 49–55.
13. *Седов К.Ф.* Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М., 2007. С. 7–38.
14. *Шмелева Т.В.* Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 88–99.
15. *Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р., Сальникова О.А.* Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты. М.: Флинта: Наука, 2003. 320 с.
16. *Тертычный А.А.* Жанры периодической печати. М.: Аспект Пресс, 2002. 320 с.

Tubalova Inna V., Kochetkova Maria O., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
E-mail: tina09@inbox.ru / dla-ko4et@yandex.ru

DEVELOPMENT OF THE BLOG AS A GENRE OF THE BLOGOSPHERE DISCOURSE: THE SOCIOLINGUISTIC ASPECT. DOI 10.17223/19986645/274

Keywords: speech genre, discourse of blogosphere, socio-cultural factors, hyper-genre, media genre.

The idea of the social conditionality of text generation expressed in various discourse theories is broadly discussed in modern linguistics. An aspect of representation of this idea is the analysis of the problem of speech genre formation and development.

In this paper the speech genre of blog is considered. The blog is a special type of a statement formed, on the one hand, by the intention of the individual-personal sublimation, on the other – by the technical capacity of the Internet as a particular communication sphere. The features of blog development are considered within its existence in Russian Internet content, under the influence of the socio-cultural factors.

The material of the research is over 1000 most popular (by Yandex. Blogs rating) blogs on the most popular platform, Livejournal, dated from 2000 to 2013.

The dynamics of the formation and development of the blog has the following stages.

1. The stage preceding the formation of the blog: the period of keeping a diary as a personalised written genre of off-line communication. This stage shapes the basic genre features that form the blog as a genre.
2. The stage of initial formation of the Internet journal and, accordingly, blogosphere as a particular communicative environment it functions within (since 2001 blog-platforms are actively used). The hyper-genre of blog develops. At this stage it is represented by one genre form we define as the blog-journal.
3. The stage of active transformation of the blogosphere. New genres are formed in the blog hyper-genre under the influence of mass media genres, whose intentions enter the blogosphere (2006–2007). At this stage the blog hyper-genre is represented by the genres of blog-essay, blog-note, blog-report, blog-rating, etc.

The dynamics of the blog development depends on the following socio-cultural factors.

The circle of users of the blogosphere becomes broader, the role of the blogosphere as a medium of communication becomes greater. The consequence is its diversification: functional, related to the expansion of the functions of statements in blogs, penetration into the blogosphere of media intentions, which have a special way of interacting with the diary basis, and technical, manifested in the transition of blog users to the new social networks, to which the blogosphere largely delegates the authority to meet the needs of personalised communication (Facebook, Twitter, Instagram, Vkontakte). In parallel on the blog platform there appear new – media in their original intentional settings – forums producing media genre statements (e.g., Internet -based media). The blogosphere is restructured thematically: the leading role belongs to the socio-political themes.

References

1. *Bakhtin M.M.* Estetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo, 1979. 424 s.
2. *Goroshko E.I.* Internet-zhanr i funktsionirovanie yazyka v Internete: popytka refleksii // Zhanry rechi. Saratov, 2009. Vyp. 6. С. 111–127.
3. *Kompantseva L.F.* Internet-lingvistika: kognitivno-pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy podkhody. Lugansk: Znanie, 2008. 528 s.
4. *Lutovinova O.V.* Lingvokul'turologicheskie kharakteristiki virtual'nogo diskursa. Volgograd: Peremena, 2009. 477 s.
5. *Shchipitsina L.Yu.* Zhanry komp'yuterno-oposredovannoy kommunikatsii. Arkhangel'sk: Pomorskiy universitet, 2009. 238 s.
6. *Alekseev A.V.* Zapisi v bloge kak rechevoy zhanr Internet-kommunikatsii [Elektronnyy resurs]. URL: <http://iawia.net.ru/diplom.htm> (data obrashcheniya: 12.09.2012).
7. *Bardashevich Ya.A.* Osobennosti zhanra internet-bloga // Materialy obshcherossiyskoy studencheskoy elektronnoy nauchnoy konferentsii «Studencheskiy nauchnyy forum», 15–20 fevralya 2011 g. [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.rae.ru/forum2011/18/738> (data obrashcheniya: 14.01.2013).
8. *Pozhidaeva I.V.* Blog kak rezul'tat razvitiya epistolyarnogo zhanra: lingvopragmaticheskiy analiz [Elektronnyy resurs]. URL: <http://kk.convdocs.org/docs/index-12814.html> (data obrashcheniya: 17.04.2012).
9. *Cherkasova N.V.* Lingvokul'turologicheskie kharakteristiki bloga kak zhanra Internet-kommunikatsii // Vestn. Chelyab. gos. un-ta. 2012. № 5 (259). Filologiya. Iskuststvedenie. Vyp. 63. S. 164–168.
10. *Zaliznyak A.A.* Dnevnik: k opredeleniyu zhanra // Novoe literaturnoe obozrenie. 2010. № 106 [Elektronnyy resurs]. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html> (data obrashcheniya: 21.06.2013).
11. *Kalinina E.I.* Sistemno-strukturnoe modelirovanie vnutrizhanrovogo prostranstva giperzhanra «dnevnik» (na materiale britanskoy lingvokul'tury). avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Kemerovo, 2013. 24 s.
12. *Kharchenko V.K.* Dnevnik kak zhanr v aspekte lingvoattraktivistiki // Nauch. vedomosti Belgorod. gos. un-ta. Ser.: Gumanitarnye nauki. 2010. № 12(83), vyp. 6. S. 49–55.
13. *Sedov K.F.* Chelovek v zhanrovom prostranstve povsednevnoy kommunikatsii // Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnaya kommunikatsiya. M., 2007. S. 7–38.
14. *Shmeleva T.V.* Model' rechevogo zhanra // Zhanry rechi. Saratov, 1997. S. 88–99.
15. *Smelkova Z.S., Assuirova L.V., Savova M.R., Sal'nikova O.A.* Ritoricheskie osnovy zhurnalistiki. Rabota nad zhanrami gazety. M.: Flinta: Nauka, 2003. 320 s.
16. *Tertychnyy A.A.* Zhanry periodicheskoy pechati. M.: Aspekt Press, 2002. 320 s.

УДК 001.4

DOI 10.17223/19986645/27/5

Т.В. Шмелева

ПАМЯТЬ ТЕРМИНА: ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИНГВИСТИКА

В статье предлагается понятие «память термина», которое помогает показать, что термины, с помощью которых обозначается наука о языке, не могут быть признаны абсолютными синонимами. Память термина «извлекается» из лингвистических работ разных эпох, приходится по существу рассмотреть в самом кратком виде историю русского языковедения, которое сменяло наименование в исторических обстоятельствах и сменах научных парадигм. К рассмотрению привлекаются труды Ф.И. Буслаева, А.И. Бодуэна де Куртенэ, В.В. Виноградова и других ученых.

Ключевые слова: наука, термин, синонимы, языкознание, языковедение, лингвистика.

Если надо привести пример полных, или абсолютных, синонимов, охотно приводят термины, обозначающие науку о языке: *лингвистика, языкознание, языковедение* [1. С. 54; 2. С. 119; 3. С. 446]. Эта информация есть и в учебнике, по которому «вводились в языковедение» многие поколения филологов: «В синонимической номинации следует различать те случаи, когда синонимы не зависят от контекста, т.е. в любом контексте могут заменять друг друга, без стилистического различия, например: *огромный – громадный, бегемот – гиппопотам, аэроплан – самолет, языковедение (дублет: языкознание) – лингвистика...*» [4. С. 94]. Между тем в предисловии к этому изданию можно прочесть, что впервые книга вышла в 1947 г., затем в 1955 и 1960 гг. публиковалась как «Введение в языкознание»: «изменение названия было вызвано номенклатурой программы для вузов». В 1967 г. «автор предпочел вернуться к старому названию» – «Введение в языковедение» [4. С. 5]. Кстати сказать, в 1970 г. мы учились по этому учебнику, а курс назывался «Введение в языкознание», так что номенклатура оставалась прежней. Что же заставило автора вернуться к предыдущему названию, тем более если они – дублиеты?

Если опираться на названия вузовских курсов и учебные пособия к ним, то к этому синонимическому ряду придется добавить *лингвистические учения* ([5, 6] и др.), *науку о языке* [7], *теорию языка* [8]. Сосредоточимся, однако, на первых трех терминах.

Первое, что необходимо отметить, все они довольно молоды: историю свою ведут с середины XIX в. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра начинается с краткого обзора ее истории, из которого узнаем, что ее составляют три фазы развития: грамматика, филология, сравнительная грамматика и, наконец, «*лингвистика* в точном смысле этого слова», формирование которой начинается в 70-е гг. XIX в. [9. С. 39–42]. Иначе говоря, в течение двух тысячелетий европейская лингвистика медленно, но идет к своему истинному объекту – языку в его системном устройстве, социально-психологических аспектах и исторической перспективе. Русская наука о языке начинает фор-

мироваться в середине XVIII в. и, опираясь на уже достигнутое, проходит в ускоренном темпе все названные Соссюром «фазы развития».

Первые работы о языке именуется грамматиками – В.Е. Адодурова, М.В. Ломоносова, А.А. Барсова, А.Х. Востокова [10, 11, 12, 13, 14]. Позже публикуются «Филологические наблюдения над составом русского языка» Г.П. Павского (1841–1842) [15. С. 195]. Сравнительно-историческое направление, родоначальником которого был А.Х. Востоков, набирает силу в середине столетия и одновременно с европейской наукой русская подходит к формированию теоретических представлений о языке.

Об этом этапе развития науки можно судить по книге Ф.И. Буслаева 1844 г. – одной из первых работ о преподавании русского языка как родного с учетом идей европейской лингвистики. Эта книга выросла из преподавательского опыта автора и его знакомства с теоретическими трудами и дидактическими системами Германии, Франции, Италии. Она была воспринята как новая и революционная [16. С. 11]. Нетрадиционной была и ее терминология. Анализируя труды европейских ученых и «позади чужих мнений ставя собственную критику» [16. С. 25], Ф.И. Буслаев активно использует термин *лингвистика* [16. С. 26, 61, 75, 78, 79], имея в виду лингвистику европейскую. Учитывая, что во французском языке этот термин зафиксирован в 1833 г. [17. С. 482], а Буслаев был в Европе в 1838—1841 гг. [16. С. 10], можно сказать, что он был знаком с терминологией, на тот момент самой современной.

Европейский термин он использует как синоним славянского *языкознание*: «современные блистательные успехи филологии и *лингвистики* заставили педагогов основательнее вникнуть в язык. Кто понял *сравнительное языкознание*, для того уже не существует непроходимого средостения между своим, т.е. русским, и между чужеземным» [16. С. 26]. Из этого можно сделать вывод, что термином *лингвистика* Буслаев именует и науку о языке вообще, и ее конкретные направления: он говорит о *сравнительной лингвистике* на той же странице, где и об уже упомянутом *сравнительном языкознании* – ясно, что это одно и то же.

Пара терминов – *лингвистика* и *языкознание* – используются примерно равное число раз (8/7), и здесь выявляется их различие: производные возможны только от первого: *лингвист* [16. С. 29, 75], *лингвистический* [16. С. 28, 29, 30, 78, 79, 80], *лингвистически* [16. С. 29]. Примечательно, что однажды в книге появляется термин *языковедение* в характерном сочетании *русское языковедение* [16. С. 197]. Кроме того, можно найти и выражения *теория языка* [16. С. 91] и *наука о языке* [16. С. 192].

Итак, книга Буслаева 1844 г. (которую воспринимают скорее как методическую, а не лингвистическую) предъявила читающей публике интересующую нас терминологию во всей полноте. Однако сказать, что от нее и идут традиции использования терминов, невозможно по ряду причин. Во-первых, как уже было сказано, книга прочитана в первую очередь педагогической общественностью. Во-вторых, в дальнейшей деятельности Буслаев занимается не общей теорией языка – он прославился как автор «Исторической грамматики» [18] и основатель русской исторической словесности. Характерно при этом, что в речи памяти Ф.И. Буслаева его называют *лингвистом*, под-

черкивая его роль в формировании *сравнительного языковедения* [19. С. 480–493].

Интересно проследить, как использовал интересующие нас термины лингвист уже другого поколения – И.А. Бодуэн де Куртенэ (он родился через год после выхода обсуждаемой книги – в 1845 г.). В 1870 г. молодой ученый читает в Санкт-Петербургском университете вступительную лекцию «Некоторые общие замечания о *языковедении* и языке» и затем публикует ее изложение в Журнале Министерства народного просвещения [20. С. 386; 21. С. 103]. Стоит напомнить, что докладчик к этому времени уже получил ученые степени магистра в Варшаве и доктора в Германии (у самого Шлейхера!) и, безусловно, был знаком с термином *лингвистика*: он встречается в тексте, как и прилагательное от него – *лингвистический*. Однако в название лекции выносятся *языковедение* (вспомним *русское языковедение* у Буслаева!). А когда через много лет Бодуэн де Куртенэ становится профессором Петербургского университета, он ведет курс «Введение в *языковедение*» (1908), ставший знаменитым [22].

В 1888 г. в Дерпте (так тогда назывался Тарту, где он работал в университете) ученый читает публичную лекцию «О задачах *языкознания*», а затем публикует текст по-польски в варшавском периодическом издании «Prace Filologiczne» (Т. 3, 1891) [21. С. 116]. В 1904 г. для словаря Брокгауза и Эфрона пишет статью «*Языкознание*» [21. С. 116] с упоминанием *языковедения*, *лингвистики*, их дериватов и даже известных скорее в Польше *глоттики* и *глоттологии* (<http://www.vehi.net/brokgauz/index.html>). Лишь упоминаемый ранее термин *лингвистика* в 1900-м фигурирует в названии «*Лингвистические заметки*» [22. С. 121–122]. И вот замечательный для нашего расследования факт: в 1901 г. выходит его статья «*Языкознание, или Лингвистика в XIX веке*» воспринимаемая и сейчас как программная для наступившего тогда века [23, 24] и как бы уравнивающая интересующие нас термины. Таким образом, в текстах ученого обнаруживаем все три термина, при этом выясняется, что исторически *языковедение* предшествует *языкознанию* и *лингвистике*.

Для изучения терминов важно проследить их номенклатурное использование – для именованя учреждений и их отделений, изданий, учебных курсов. Такого рода информация, как правило, не фиксируется в терминологических словарях, но именно она может объяснить бытование термина, предпочтение его теми или иными учеными и другие важные обстоятельства. В этом отношении следует признать первичность термина *языковедение*: И.А. Бодуэн де Куртенэ в 1875 г. защищает в Петербургском университете диссертацию «на степень доктора *сравнительного языковедения*» [20. С. 382]; в Московском университете в 1884 г. кафедра сравнительной грамматики индоевропейских языков переименована в кафедру *сравнительного языковедения* и санскрита [25. С. 304–305]. В университетах читают курсы и выпускают учебные книги с использованием этого термина, например: Н.В. Крушевский (Казань, 1891), Ф.Ф. Фортунатов (М., 1901), В.К. Поржезинский (М., 1907), В.А. Богородицкий (Казань, 1915), В. Томсен (М., 1938), А.А. Реформатский (М., 1947, 1967), В.Н. Кочергина (М., 1979). Казалось бы, вот более чем столетняя (с 1870 г.) традиция, согласующаяся с принципами наименования дру-

гих наук и научных дисциплин, укорененная, так сказать, в язык русской науки, как показано при анализе термина *речеведение* [26].

Однако факты говорят о том, что эта традиция не единственная. В Петербургском университете в 1904 г. выходит «Очерк истории *языкознания* в России» С.К. Булича; в Юрьеве (Тарту) в 1913 г. – «Введение в *языкознание*» Д.Н. Кудрявского; много позже – книга Л. Якубинского «Элементы *языкознания* и истории языка в школе» (Л., 1936). Этот термин, как можно видеть, стал популярным в столице. Предпочитала его и советская власть: если в 1918 г. в составе Московского университета организовали институт *языковедения*, то уже в 1922 – кафедра сравнительного языковедения получает наименование «общего и сравнительно-исторического *языкознания*», существующее до сих пор, и курсы именовются «Введение в *языкознание*» и «Общее *языкознание*» [25. С. 312].

Что касается *лингвистики*, она оказывается в меньшинстве: кроме названных текстов Бодуэна де Куртенэ, она, видимо, появляется при обсуждении доклада о курсе Ф. де Соссюра в Московском лингвистическом кружке в 1918 г. и в публикации перевода курса в 1933 г. [9. С. 28].

Итак, к середине прошлого века в нашей науке сложилась ситуация множественности ее именованья – при этом из целого ряда упомянутых терминов основными оказываются *языковедение*, *языкознание* с преобладанием первого. Надо признать, что эта ситуация не уникальна: аналогично бытуют пары *искусствоведение* и *искусствознание*; *обществоведение* и *обществознание*, *естествоведение* и *естествознание*. Эти факты можно воспринимать как проявление того обстоятельства, что в русской терминологии сложились синонимичные модели производных слов для именованья наук – композиты со вторым корнем *-ведение* и *-знание*. При этом более продуктивна, безусловно, первая: по данным грамматического словаря, слов с *-ведение* около 50; а со *-знание* – только 3 [27. С. 254, 251]. Соотношение этих терминов в каждой науке складывается по-своему, что могло бы стать темой отдельного исследования. Так, в монографии о формировании русской терминологии искусствознания утверждается, что *искусствоведение* используется только как основа для прилагательного *искусствоведческий*, наука же именуется *искусствознанием* [28. С. 230 и др.].

Что же касается нашей науки, то с приведенными указаниями на полную синонимичность терминов согласиться трудно. Наверное, поэтому появляются объяснения их различий. Одно из них можно назвать чисто стилистическим: термины служат для замещения, «что позволяет избежать однообразного повторения одних и тех же слов: «Академик Виноградов внес большой вклад в развитие отечественного *языкознания*. Его труды стали достоянием мировой *лингвистики*» [3. С. 446]. Как иллюстрация такого объяснения выглядит обозначение издания, в котором во второй раз опубликован «Курс общей *лингвистики*» Ф. де Соссюра: книга называется «Труды по *языкознанию*», а выходит она в серии «*Языковеды мира*». Подтверждения можно найти и в актуальных текстах, например, статья о нынешнем состоянии нашей науки начинается так: «На современном этапе развития науки, которую мы привычно называем *языкознанием*, категория «коммуникативная компетенция» становится центральным стрежнем, который должен скрепить конст-

рукцию новой теоретической парадигмы. В работах *языковедов* все чаще звучит мысль о том, что *лингвистика* давно уже перестала быть только лишь «наукой о языке» [29. С. 183]. Такие примеры можно было бы привести еще, но все равно это объяснение не кажется исчерпывающе полным и исторически точным.

Можно предложить функциональное объяснение: *языковедение* – русский термин, но он громоздок; *языкознание* – аналог польского *językoznawstwo*, но нельзя не заметить: польский легко образует производные *językoznawca* ‘лингвист, языковед’ и *językoznawczy* ‘лингвистический’ [30. С. 300]. Тогда остается думать, что термины составляют своеобразную супплетивную деривационную парадигму: *языкознание* → *языковедческий* → *лингвистически*. А субстантивы, как уже объяснялось, используют во избежание однообразия номинаций науки в тексте. Но и это не убеждает до конца.

Интересным кажется такое объяснение: «Слово *лингвистика* появилось в русском языке как название науки о языке, синоним *языкознания* и *языковедения*. Как всегда бывает в языке, с одной стороны, синонимы конкурировали между собой, с другой – слегка расходились их значения. Слово *языковедение* тихо уходило из языка, название *языкознание* закреплялось за уже давно существующими и давно известными научными областями, а лингвистика – за научными направлениями более новыми и современными. Поэтому, скажем, со словом *традиционный* лучше сочетается *языкознание*, а *традиционная лингвистика* как-то менее привычно. Наоборот, *структурной лингвистикой* называют одно из главных направлений этой науки в двадцатом веке, а *структурное языкознание* совсем не звучит. Просто, так не говорят» [31. С. 62–63]. Учтем, что цитируется текст научно-популярный, но все-таки трудно отделаться от ощущения, что все не так просто.

Кажется, к более убедительным выводам можно прийти, обратившись к понятию *память термина*, которое близко к понятию *культурной памяти* нетерминологического слова [32, 33, 34, 35]. Говоря совсем просто, это как бы привязанная к слову (следующая за ним тенью) информация о том, *кто, когда и при каких обстоятельствах* его использовал, каковы *традиции* его применения. Память лингвистического термина включает информацию об эпохах, лингвистах, сменах парадигм.

Во многом из того, что уже сказано, становится ясно, что *языковедение* – первичный термин, освященный традицией дореволюционного университетского бытования. Потому он оказался не в чести у советской власти, которая предпочитала освобождаться от дореволюционных номинаций; достаточно вспомнить, какие решительные изменения пережил российский ономастикон [36]. Советские языковеды предпочитали *языкознание* – этот термин был своеобразным знаком лояльности (вынужденной или свободной – это другой вопрос). Симптоматично, что заголовки ключевых публикаций в дискуссии о судьбе марризма включали именно этот термин: «О двух направлениях в языкознании» (Ф.П. Филин, 1948); «О некоторых вопросах советского языкознания» (А.С. Чикобава, 1950).

Окончательно ситуация определяется, когда выходит в свет статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании» (Правда. 1950. 20 июня), по-

ставившая точку в дискуссии о путях развития советского языкознания и наследии Марра. Отныне термин *языкознание* канонизируется и становится практически единственно возможным: создается Институт *языкознания* АН СССР, начинает выходить журнал «Вопросы *языкознания*». Публикуются новые курсы: Будагов Р.А. *Очерки по языкознанию* (М., 1953); Иванов Вяч.Вс. *Основы языкознания* (М., 1958); Звегинцев В.А. *Очерки по общему языкознанию* (М., 1962); Степанов Ю.С. *Основы языкознания* (М., 1966). Входит в оборот выражение *советское языкознание* – см., например, [37]. Специалисты же в языкознании продолжали именоваться *языковедами*, так как *языкознание* образовать имена лиц не позволяет.

На этом фоне два других термина стали восприниматься как его неканонические варианты и приобрели новые смыслы: *языковедение* – напоминание о традициях отечественной науки (не потому ли Реформатский вернулся к нему?), а *лингвистика* – ориентации на западные идеи структурализма.

Именно с такими коннотациями этот термин начинает жить в нашей стране – в сочетании с прилагательными *математическая, структурная, прикладная*. В 1959 г. в Ленинграде проходит первое совещание по математической *лингвистике*, в 1960 г. начинает выходить серия книг с переводами работ зарубежных ученых «Новое в *лингвистике*»; в ряде университетов открылись отделения теоретической и прикладной (или математической) *лингвистики*; в 1961 г. в МГУ создается кафедра структурной и прикладной *лингвистики* [25. С. 349–351]. Здесь читают математику, семиотику – и не «Введение в языкознание», а «Теорию языка». Это направление науки воспринималось как более современное и свободное от традиций марксистского языкознания. Можно сказать, что к этой части науки относились главным образом исследователи чужих языков, особенно редких, тогда как традиционной во многом оставалась русистика.

К концу 1970-х советские языковеды стали говорить о себе *лингвисты*, так именовалась специализация на филологическом факультете – и выражение *советская лингвистика* уже не казалось невероятным. Одно из проявлений такой идентификации – требование изменить название серии «Новое в лингвистике» – с 1978 г. она выходит как «Новое в *зарубежной лингвистике*». Но я хорошо помню, как подозрительно относились к слову *структурализм*, как требовались от лингвиста свидетельства верности марксизму и полемика с империалистической буржуазной лингвистикой Запада.

В постсоветскую эпоху разрыв между русистикой и исследованиями других языков стал стремительно сокращаться – самая разнообразная информация доступна всем, а идеологического контроля нет. Казалось, пришло время полного признания термина *лингвистика* и объединения под его сенью всех, кто изучает язык, в рамках «мировой лингвистики и национальных лингвистик» [38]. За этим мог бы последовать отказ от пропитанного советским духом *языкознания*, но этого не происходит: курсы «Введение в языкознание», «Общее языкознание» – в учебных планах филологических факультетов, а это поддерживает традицию, работает Институт языкознания РАН и журнал «Вопросы языкознания» – один из самых авторитетных в нашей сфере.

Значит, продолжаем жить со множественностью именованной нашей науки? Да, но осознавая их непростые отношения. Понимание этих сложных моментов, как кажется, входит в профессиональную компетенцию лингвиста.

Итак, память терминов, называющих нашу науку, хранит ее историю, иногда весьма драматичную. Понятно при этом, что в восстановлении картины нам удалось снять только самый верхний слой – номинации учреждений, книг, докладов; а интересно было бы собрать рассуждения лингвистов об этих терминах и другие данные. Кроме того, эта история не завершилась: изменяется жизнь термина *лингвистика*. Факультеты иностранных языков теперь носят название «лингвистики и межкультурной коммуникации» – и лингвистика как-то незаметно стала называть знание иностранных языков. Значит, термин перемещается из науки в практическую область? Ведь многие лингвисты не умеют написать лингвистическую статью, да и читают их не часто. Об этой подмене уже пишут с тревогой: «Украли слово!» [31. С. 62–67]. Но что это означает для его судьбы, пока не ясно. Нельзя не заметить и «размножение» лингвистик: *социо-, психо-, политическая...*, с одной стороны, с другой – *лингвориторика, лингвопрагматика...* – термин теряет самостоятельность, превращаясь едва ли не в аффикс. Прилагательное же *лингвистический* стало широко употребляться в медиасфере в значении «языковой», что трудно признать оправданным.

Наблюдения за этими процессами, а значит, и обогащением памяти терминов обещают возвращение к сюжету.

Литература

1. *Бережан С.Г.* К семасиологической интерпретации явления синонимии // *Лексическая синонимия: сб. ст. М., 1967. С. 43–56.*
2. *Шмелев Д.Н.* Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М.: Наука, 1973. 280 с.
3. *Новиков Л.А.* Синонимия // *Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990. С. 446–447.*
4. *Реформатский А.А.* Введение в языковедение. 4-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1967. 542 с.
5. *Кондрашов Н.А.* История лингвистических учений: учеб. пособие. М.: Просвещение, 1979. 224 с.
6. *История русских лингвистических учений: методические и хрестоматийные материалы / Перм. ун-т; сост. Т.И. Ерофеева. Пермь, 1998. 152 с.*
7. *Черемисина М.И.* Язык и его отражение в науке о языке / отв. ред. Н.Б. Кошкарева, А.А. Мальцева. Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. 228 с.
8. *Норман Б.Ю.* Теория языка: Вводный курс: учеб. пособие. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2009. 296 с.
9. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики (1931) / пер. с франц. А.М. Сухотина; под ред. А.А. Холодовича // *Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 7–285.*
10. *Успенский Б.А.* Первая русская грамматика на родном языке: (Доломоновский период отечественной русистики). М.: Наука, 1975. 232 с.
11. *Ломоносов М.* Российская грамматика. СПб., 1755 (факсимильное издание – М.: Худож. лит., 1982).
12. «*Российская грамматика*» А.А. Барсова / подгот. текста и коммент. М.П. Тоболовой; ред. и предисл. Б.А. Успенского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 776 с.
13. *Востоков А.Х.* Сокращенная русская грамматика для употребления в низших учебных заведениях. СПб., 1831.
14. *Востоков А.Х.* Русская грамматика по начертанию сокращенной грамматики, полнее изложенная. СПб., 1831.

15. *Виноградов В.В.* Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958. 400 с.
16. *Буслаев Ф.И.* Преподавание отечественного языка. М., 1992. 512 с. (Воспроизводит первое издание книги – 1844 г.; в 1867 выходило 2-е; затем в 1941 г. – 3-е, сокращенное).
17. *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: 13 560 слов: Т. 1: А – Пантомима. М.: Рус. яз., 1993, 623 с.
18. *Буслаев Ф.И.* Историческая грамматика. М., 1959. 623 с. (воспроизводит 5-е изд. 1881 г.; 1-е изд. вышло в 1858).
19. *Будде Е.* О заслугах Буслаева как ученого лингвиста и преподавателя: (Речь, читанная в торжественном заседании Казанском обществе археологии, истории и этнографии 28 сентября 1897 года) // Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М., 1992. С. 480–493.
20. *Щерба Л.В.* И.А. Бодуэн де Куртене (1930) // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 381–394.
21. *Boudouin de Courtenay J.N.* Dzieła wybrane. Warszawa, 1974. Т. 1.
22. *Бодуэн де Куртене И.А.* Введение в языковедение. 6-е изд. / предисл. В.М. Алпатова. М., 2004. 320 с.
23. *Кибрик А.Е.* Куда идет современная лингвистика? // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы: Тез. междунар. конф. Т. 1. М.: Филология, 1995. С. 217–220.
24. *Алпатов В.М.* Сто лет, или Сбываются ли прогнозы? // Вопросы языкознания. 2003. № 2. С. 114–121.
25. *Филологический факультет Московского университета: очерки истории.* М., 2001. 557 с.
26. *Шмелева Т.В.* О термине речеведение // Лингвистический ежегодник Сибири / под ред. Т. М. Григорьевой. Красноярск, 1999. Вып. 1. С. 32–38.
27. *Зализняк А.А.* Грамматический словарь русского языка: словоизменение. М., 1977. 880 с.
28. *Лисицына Т.А.* Язык русской науки второй половины XVIII века: терминология истословознания. СПб., 1994. 235 с.
29. *Седов К.Ф.* Модель коммуникативной компетенции (онтологический, аксиологический, гносеологический аспекты) // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. Кормилицыной. Саратов, 2010. Вып. 10. С. 183–210.
30. *Sobol E.* Podręczny słownik języka polskiego. Warszawa, 1999.
31. *Кронгауз М.* Русский язык на грани нервного срыва. М.: Знак: Языки славянских культур, 2007. 232 с.
32. *Шмелева Т.В.* Культурная память слова. Хам // Новгородский университет. 1998. 4 дек. № 37. С. 13. (Речь о речи).
33. *Шмелева Т.В.* Культурная память слова. Декан // Университетская жизнь. Красноярск, 1999. 10 февр.
34. *Шмелева Т.В.* Культурная память слова. Губернатор // Университетская жизнь. Красноярск, 1999. 24 февр.
35. *Бартвицка Х., Шмелева Т.В.* Культурная память слов ваучер, губернатор, хам в русском и польском языках // Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich / pod red. M. Blicharskiego. Tom 2. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego. – 2000. – S. 81–90.
36. *Поспелов Е.М.* Имена городов: вчера и сегодня (1917–1992): топонимический словарь. М., 1993. 250 с.
37. *Березин Ф.М.* История советского языкознания: Некоторые аспекты общей теории языка: хрестоматия. М., 1981. 351 с.
38. *Алпатов В.М.* Мировая лингвистика XX века и национальные лингвистики // Вопросы филологии. 2001. №3. С. 16–24.

Shmeleva Tatiana V., Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (Veliky Novgorod, Russian Federation). E-mail: klassika4@yandex.ru DOI 10.17223/19986645/27/5

MEMORY OF THE TERM: YAZYKOVEDENIE, YAZYKOZNAНИЕ, LINGVISTIKA.

Keywords: science, term, synonyms, yazykoznanie, yazykovedenie, lingvistika.

In the article there are analysed three names of the language science, used in domestic scientific practice and usually qualified as absolute synonyms. The thesis about their absolute synonymy is not questioned as a result of the analysis of their denotative meanings, but of such their property, which is of-

ferred to be designated as the "memory of the term". This property of the term depends on who, when and where used it: the authors, the time, and the scientific and socio-cultural circumstances are significant.

Special attention is paid to the book by F.I. Buslaev *On the Teaching of the National Language* (1844), which is studied first of all by the specialists in teaching the Russian language at school. Meanwhile, it contains important information about the analysed terms: F.I. Buslaev uses all the three terms, giving preference to *lingvistika* and *yazykoznanie*. In this case he speaks about *lingvistika* referring to the European one, which is essential for the word with the Latin root.

It is claimed that J. Baudouin de Courtenay started the domestic tradition of terminological designation of the language science. In his works all the three terms can be found: at the beginning only *yazykoznanie*, then *yazykoznanie* and *lingvistika*, brought into line in his famous work "*Yazykoznanie or lingvistika in the 19th century*" (1901).

A special source is the practice of naming the departments in Russian universities, academic disciplines and scientific degrees. In this case there exists a more than century-old tradition of using the term *yazykovedenie*. During the Soviet era the term *yazykoznanie* was the most usable, for, as we know, it was part of the title of the famous article by Stalin "Otnositelno marksizma v *yazykoznanii*" (*Marxism and Problems of Linguistics*), published in June 20, 1950 issue of *Pravda*. Soon after it *Institut yazykoznaniiya AN SSSR* (Institute of Linguistics of the USSR Academy of Sciences) was created, the journal "*Voprosy yazykoznaniiya*" was published, new courses "*Vvedenie v yazykoznanie*" (Principles of Linguistics) and "*Obshchee yazykoznanie*" (General Linguistics) appeared.

Nowadays the term *yazykovedenie* has the rate of archaism, *yazykoznanie* – of the Soviet era, and the term *lingvistika* often corresponds to the knowledge of foreign languages. Linguists pay attention to it, for example, M.Krongauz. The relations between the terms continue to develop and change, which does not stop them from naming the language science in different situations, including such derivatives as *yazykovedy* (linguists), *lingvisticheskiy* (linguistic). Restrictions in word formation allow to see a kind of a suppletive derivational paradigm: *yazykoznanie* → *yazykovedcheskiy* → *lingvisticheskiy*. It is important to note that the terms function in a number of other names, such as *lingvisticheskie ucheniya* (linguistic studies), *nauka o yazyke* (language science), *teoriya yazyka* (language theory).

References

1. *Berezhnaya S.G.* K semasiologicheskoy interpretatsii yavleniya sinonimii // *Leksicheskaya sinonimiya*: sb. st. M.: Nauka, 1967. S. 43–56.
2. *Shmelev D.N.* Problemy semanticheskogo analiza leksiki (na materiale russkogo yazyka). M.: Nauka, 1973. 280 s.
3. *Novikov L.A.* Sinonimiya // *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar' / pod red. V.N. Yartsevovoy*. M., 1990. S. 446–447.
4. *Reformatskiy A.A.* *Vvedenie v yazykovedenie*. 4-e izd., ispr. i dop. M.: Prosveshchenie, 1967. 542 s.
5. *Kondrashov N.A.* *Istoriya lingvisticheskikh ucheniy: ucheb. posobie*. M.: Prosveshchenie, 1979. 224 s.
6. *Istoriya russkikh lingvisticheskikh ucheniy: metodicheskie i khrestomatiynye materialy / Perm. un-t; sost. T.I. Erofeeva*. Perm', 1998. 152 s.
7. *Cheremisina M.I.* *Yazyk i ego otrazhenie v nauke o yazyke / otv. red. N.B. Koshkareva, A.A. Mal'tseva*. Novosibirsk: NGAEiU, 2004. 228 s.
8. *Norman B.Yu.* *Teoriya yazyka: Vvodnyy kurs: ucheb. posobie*. 3-e izd. M.: Flinta: Nauka, 2009. 296 s.
9. *Sossyur F. de.* *Kurs obshchey lingvistiki (1931) / per. s frants. A.M. Sukhotina; pod red. A.A. Kholodovicha // Sossyur F. de. Trudy po yazykoznaniiyu*. M., 1977. S. 7–285.
10. *Uspenskiy B.A.* *Pervaya russkaya grammatika na rodnom yazyke: (Dolomonosovskiy period otechestvennoy rusistiki)*. M.: Nauka, 1975. 232 s.
11. *Lomonosov M.* *Rossiyskaya grammatika*. SPb., 1755 (faksimil'noe izdanie – M.: Khu-dozh. lit., 1982).
12. «*Rossiyskaya grammatika*» A.A. Barsova / podgot. teksta i komment. M.P. Tobolovoy; red. i predisl. B.A. Uspenskogo. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1981. 776 s.
13. *Vostokov A.Kh.* *Sokrashchennaya russkaya grammatika dlya upotrebleniya v nizshikh uchebnykh zavedeniyakh*. SPb., 1831.

14. *Vostokov A.Kh.* Russkaya grammatika po nachertaniyu sokrashchennoy grammatiki, polnee izlozhennaya. SPb., 1831.
15. *Vinogradov V.V.* Iz istorii izucheniya russkogo sintaksisa (ot Lomonosova do Potebni i Fortunatova). M., 1958. 400 s.
16. *Buslaev F.I.* Prepodavanie otechestvennogo yazyka. M., 1992. 512 s. (Vosproizvodit pervoe izdanie knigi – 1844 g.; v 1867 vykhodilo 2-e; zatem v 1941 g. – 3-e, sokrashchennoe).
17. *Chernykh P.Ya.* Istoriko-etimologicheskiy slovar' sovremennogo russkogo yazyka: 13 560 slov: T. 1; A – Pantomima. M.: Rus. yaz., 1993, 623 s.
18. *Buslaev F.I.* Istoricheskaya grammatika. M., 1959. 623 s. (vosproizvodit 5-e izd. 1881 g.; 1-e izd. vyshlo v 1858).
19. *Budde E.* O zaslugakh Buslaeva kak uchenogo lingvista i prepodavatelya: (Rech' chitannaya v torzhestvennom zasedanii Kazanskom obshchestve arkhologii, istorii i etnografii 28 sentyabrya 1897 goda) // *Buslaev F.I.* Prepodavanie otechestvennogo yazyka. M., 1992. S. 480–493.
20. *Shcherba L.V.* I.A. Boduen de Kurtene (1930) // *Shcherba L.V.* Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost'. L., 1974. S. 381–394.
21. *Boudouin de Courtenay J.N.* Dzieła wybrane. Warszawa, 1974. T. 1.
22. *Boduen de Kurtene I.A.* Vvedenie v yazykovedenie. 6-e izd. / predisl. V.M. Alpatova. M., 2004. 320 s.
23. *Kibrik A.E.* Kuda idet sovremennaya lingvistika? // *Lingvistika na iskhode XX veka: itogi i perspektivy*: Tez. mezhdunar. konf. T. 1. M.: Filologiya, 1995. S. 217–220.
24. *Alpatov V.M.* Sto let, ili Sbyvayutsya li prognozy? // *Voprosy yazykoznanija*. 2003. №2. S. 114–121.
25. *Filologicheskij fakul'tet Moskovskogo universiteta: ocherki istorii*. M., 2001. 557 s.
26. *Shmeleva T.V.* O termine rechevedenie // *Lingvisticheskiy ezhegodnik Sibiri* / pod red. T.M. Grigor'evoy. Krasnoyarsk, 1999. Vyp. 1. S. 32–38.
27. *Zaliznyak A.A.* Grammaticheskiy slovar' russkogo yazyka: slovoizmenenie. M., 1977. 880 s.
28. *Lisitsyna T.A.* Yazyk russkoy nauki vtoroy poloviny XVIII veka: terminologiya iskusstvoznaniya. SPb., 1994. 235 s.
29. *Sedov K.F.* Model' kommunikativnoy kompetentsii (ontologicheskij, aksiologicheskij, gnoseologicheskij aspekty) // *Problemy rechevoy komunikatsii: mezhvuz. sb. nauch. tr.* / pod red. M.A. Kormilitsynoy. Saratov, 2010. Vyp. 10. S. 183–210.
30. *Sobol E.* Podręczny słownik języka polskiego. Warszawa, 1999.
31. *Krongauz M.* Russkiy yazyk na grani nervnogo sryva. M.: Znak: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2007. 232 s.
32. *Shmeleva T.V.* Kul'turnaya pamyat' slova. Kham // *Novgorodskiy universitet*. 1998. 4 dek. № 37. S. 13. (Rech' o rechi).
33. *Shmeleva T.V.* Kul'turnaya pamyat' slova. Dekan // *Universitetskaya zhizn'*. Krasnoyarsk, 1999. 10 fevr.
34. *Shmeleva T.V.* Kul'turnaya pamyat' slova. Gubernator // *Universitetskaya zhizn'*. Krasnoyarsk, 1999. 24 fevr.
35. *Bartvitska Kh., Shmeleva T.V.* Kul'turnaya pamyat' slov vaucher, gubernator, kham v russkom i pol'skom yazykakh // *Slowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich* / pod red. M. Blicharskiego. Tom 2. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego. – 2000. – S. 81–90.
36. *Pospelov E.M.* Imena gorodov: vchera i segodnya (1917–1992): toponimicheskij slovar'. M., 1993. 250 s.
37. *Berezin F.M.* Istoriya sovetskogo yazykoznanija: Nekotorye aspekty obshchey teorii yazyka: khrestomatiya. M., 1981. 351 s.
38. *Alpatov V.M.* Mirovaya lingvistika XX veka i natsional'nye lingvistiki // *Voprosy filologii*. 2001. №3. S. 16–24.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82.091

DOI 10.17223/19986645/27/6

П.В. Алексеев

СИРИЯ В МИФОПОЭТИКЕ О.И. СЕНКОВСКОГО¹

В статье рассматривается мифопоэтический образ Сирии в творчестве О.И. Сенковского. На материале повестей «Антар» и «Воспоминания о Сирии» исследуются основные элементы сирийского мифологического пространства: интертекст восточных имен, дискурс касыды и библейско-коранический контекст мифологем царя-основателя города и великой царицы.

Ключевые слова: *Сирия, концепт, мифологема, восточная повесть, О.И. Сенковский, Антар, Пальмира.*

Рассмотрение восточных мотивов и мифологем в творчестве О.И. Сенковского, основателя и популяризатора жанра «восточной повести» в русской литературе XIX в., позволяет понять глубину и масштабы русского романтического ориентализма. Обширные знания Сенковского по истории, культуре, языкам, политике и экономике современных ему восточных стран и в то же время восприятие художественного творчества как игры с читателем формируют своеобразный феномен Сенковского-ориенталиста: он одновременно развенчивает европейские мифы о Востоке («Способности и мнения новейших путешественников по Востоку», 1835), поддерживает европейские ориентальные стереотипы восточных характеров («Витязь буланого коня», 1824) и создает свои мифы путем сложнейшей семиотической игры («Антар», 1832) под различными театрализованными масками (Барон Брамбеус, Тютюнджу-Оглу, Осип Морозов, А. Белкин, П. Снегин, Карло Карлини, Женихсберг и др.).

Восток для Сенковского-востоковеда (в отличие от его литературных масок) был не условно-романтическим пространством «чистого эскапизма» [1. С. 89] большинства филоориенталистских произведений, где время остановилось в бытие халифов и джиннов сказок «1001 ночи»: Восток Сенковского был дифференцирован и осмыслен, структурирован и принят им как культурно-исторический факт, имеющий колоссальное значение для современной европейской цивилизации.

Сирия выступила одной из тех осмысленных частей Востока, которую Сенковский в течение многих лет жизни осваивал с разных сторон своего дарования – научной, художественной и публицистической, причем каждая из этих сторон словно бы существовала отдельно от остальных. При этом, объединяясь в поле иронии и самоиронии, разные подходы к сирийскому топосу сформировали мифопоэтическую модель Сирии как восточной страны,

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-34-01331 а2 «Мифологема мусульманского востока в русском романтизме».

на протяжении многих столетий имеющей концептуальное значение для развития русской культуры в силу нескольких факторов.

Во-первых, Сирия располагалась на пути паломничества в Палестину, и описания ее земель вошли в корпус «Хожений» с XI в., наиболее значительными из которых были «Хождение Даниила, игумена Русской земли» и «Пешеходца Василия Григоровича-Барского-Плаки-Албова, уроженца Киевского, монаха Антиохийского, путешествие к Святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году, им самим писанное». Подобные произведения стимулировали интерес к сирийскому ландшафту, но описывали его с религиозной точки зрения.

Во-вторых, внимание русской общественности к Сирии усилилось в связи с дипломатическими маневрами России и Палестины против Османской империи во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг., в результате чего «создался новый пласт теперь уже печатной литературы о Сирии: помимо труда Григоровича-Барского появились «Дневные записки» участника военных действий, российского офицера С. Плещеева – первое русское светское сочинение о Сирии, испытавшее влияние французского авантюрно-куртуазного романа, а также были переведены с европейских языков сочинения Ф.-К. Вольнея, Лузиньяна и Н.-Х. Радзивилла» [2. С. 5].

В XIX в. в России появляется академическое и т.н. «практическое» востоковедение, ставшее результатом деятельности литераторов, путешественников, церковных и правительственных агентов на Востоке, например «Путевые заметки о Сирии и Палестине» (1844), написанные неизвестным автором под псевдонимом «Н. Ст-н.» и «Записки русского врача, отправленного на Восток» (1847) А.А. Рафаловича. Эти и тому подобные сочинения в научных, художественных и публицистических жанрах появляются еще в начале XIX в. в контексте секулярной литературы, что приводит к окончательному закреплению «сирийской темы» в русской общественной мысли, главным образом, в комплексе идей о «Северной Пальмире».

Для Сенковского Сирия была, прежде всего, биографическим фактом, связанным с сознательным исследовательским интересом историко-культурного и филологического характера. Именно с этой точки зрения интересно проследить, каким образом сирийский топоним в творчестве Сенковского функционирует в роли мифопоэтического конструкта.

С 1819 г. молодой польский ученый, командированный от Виленского университета, находился на Востоке, начав свое путешествие со Стамбула. В пути он много работает над изучением восточных языков, историей и литературой, в частности, до 1820 г. он успел отправить в «Виленский дневник» («Dziennik Wilenski») записки «Из Вильно через Одессу в Стамбул», перевод с персидского нескольких газелей Хафиза, а позднее – «польский перевод персидской рукописи «Некоторые факты о современном состоянии и основах внутреннего управления иранского государства» [2. С. 13].

В 1820 г. около семи месяцев (до ноября) Сенковский находится в горном Ливане, в одном из маронитских монастырей в местности Айн-Тур, где под руководством известного ливанского ученого Антуна Арыды усиленно занимается арабским языком, знакомится с монастырскими хранилищами арабских рукописей, делает многочисленные выписки, которые позже использует

в своем творчестве, путешествует с караванами в Дамаск и Баальбек. В период нахождения в Сирии и Египте он пишет несколько травелогов: «Краткое начертание путешествия в Нубию и верхнюю Эфиопию» (1822), «Посещение пирамид. Из путевых заметок Иосифа Сенковского» (1822), «Перечень письма из Каира от 11/22 декабря 1821», «Возвратный путь из Египта чрез Архипелаг и часть Малой Азии. Отрывок из дневных путевых записок г. Сенковского» (1822) и др. Здесь происходит знакомство Сенковского с ключевым местом Сирии – развалинами древней сирийской столицы Тедмор, известной европейцам под названием Пальмира. Сенковский воочию наблюдает и сирийские ландшафты, и остатки древнего величия, позднее со знанием дела описанные в «Антаре»: «Прекрасна Шамская пустыня; прекрасны в Шамской пустыне развалины волшебного Тедмора. Кто жил в этих огромных чертогах?.. Кому воздвигнуты эти храмы?.. Кем построены эти длинные улицы столбов?..» [3. Т. 1. С. 321].

Сирийские пейзажи, по воспоминаниям самого Сенковского, выходят за рамки сиюминутных ощущений: «Сильные впечатления мертвой природы врезаются в душу нашу гораздо глубже и остаются в ней долее всех других ощущений жизни, – что бы ни говорили историки нашего несчастного сердца. Я не думаю, чтобы житель равнины, перенесенный на высокие горы, мог когда-нибудь забыть их образ: десять образов обожаемых лиц пройдет через душу, пожирая, изглаживая друг друга, но картина великолепных гор, теряющихся в облаках и убеленных вечным снегом, не изгладится в ней никогда. И чем больший промежуток времени будет отделять мысль от впечатлений, вселенных их видом, тем красивейшими формами станет воспоминание убирать их в вашем уме <...> Я и теперь вижу перед собою колоссальные очерки пышных громад, распространяющихся тройною каменною цепью вдоль обожженной Сирии, где протек один из мучительнейших и разнообразнейших годов моего бытия» [3. Т. 1. С. 190, 191].

В этом контексте фраза «...я и теперь вижу перед собою», сказанная спустя много лет после посещения Тедмора, указывает на концептуализацию образа сирийской пустыни в сознании Сенковского и приводит к мысли о том, что Сирия имеет одновременно две пространственно-временные проекции: в область «внутреннего бытия» (философской рефлексии) и в область мифопоэтики, формируя один из структурообразующих концептов романтического ориентализма Сенковского.

Концепт Сирии наиболее рельефно отразился в двух текстах Сенковского: «Антар» (1832) и «Воспоминания о Сирии» (1834). В «Воспоминаниях о Сирии», опубликованных под псевдонимом Осип Морозов, Сенковский показал себя блестящим и остроумным повествователем (описания сирийских ландшафтов, речи персонажей), этнографом, внимательным к деталям сирийской жизни, особенностям восточного менталитета (например, отношение арабов к солнечному затмению, потасовка между другом и маронитом), религиозных взаимоотношений (противостояния маронитов и друзов), обычаям (обряд побивания камнями прелюбодеев) и социально-политической обстановки.

В «Воспоминаниях о Сирии» Сенковский позиционирует себя в роли просвещенного европейца, жаждущего знания арабского языка и имеющего

благодаря своим лингвистическим успехам определенный авторитет среди туземцев, называющих его «Франк» или «Хаваджа Юсуф». В описании местного населения Сенковский откровенно ироничен, подшучивая над их цветистой «восточной» речью и неразвитым мышлением, наполненным бесчисленными суевериями и антинаучными представлениями о Вселенной (споры о том, вращается ли солнце вокруг земли или наоборот, которые привели к тому, что Сенковского заподозрили в «фармазонстве»). В новелле «Преступные любовники» Сенковский осуждает средневековый обычай побивания комнями любящих друг друга молодых людей, характеризуя туземцев словами «чернь», «фанатики», «изуверы».

В описании природы Сирии Сенковский, напротив, последовательно формирует мифопоэтику пространства, оказывающего влияние на человеческое сознание. Сирия здесь предстает местом его «добровольных страданий», где он дважды подвергся опасности умереть от болезни, но тем не менее не перестал думать о том, что Сирийский хребет является для него «облеченным блестящею надеждою любимой мечты» [3. Т. 1. С. 193]. Сирийские горы – место, словно бы не принадлежащее этой планете, где «кровь течет в вас иначе, иначе бьется сердце, новый ряд чувствований и мыслей развертывается перед вами» [3. Т. 1. С. 195], где существует «лестница в небо» (это дважды подчеркнуто в тексте) [3. Т. 1. С. 194] – мотив, характерный для мифологического представления гор в античной, иудео-христианской и мусульманской мифологии.

Сирия в «Воспоминаниях» вписана в европейский контекст, именуясь «восточной Швейцарией» [3. Т. 1. С. 193], и именно в европейском контексте представляется Сенковскому сакральным местом победы христианства над исламом в душе восточного человека: «слышу даже этот звонкий голос Аравитянина, поющего целым объемом благозвучной груди песнь в честь Пречистой Девы, следуя по крутому скату за навьюченными землею ослами, и заставляющего горы, среди мусульманской державы, громко повторять за ним его благочестивые гимны» [3. Т. 1. С. 194–195].

Наиболее репрезентативным с точки зрения мифопоэтики Сирии нам представляется восточная повесть «Антар», которая входит в ряд восточных повестей Сенковского, начавших публиковаться с 1823 г.: «Бедуин» (1823), «Витязь буланого коня» (1824), «Деревянная красавица» (1825), «Смерть Шанфария» (1828), «Истинное великодушие» (1825), «Урок неблагодарным» (1825), «Бедуинка» (1828), «Вор» (1828) и др. Источником этих повестей И.Ю. Крачковский назвал антологию исторических рассказов и анекдотов Мухаммеда Дийаба ал-Итлиди (XVII в.) [4], однако, как показывают исследования, в основе «Антара» лежат также распространенный на Востоке «Роман об Антаре» и его европейские переводы.

К основным структурным элементам сирийского мифопоэтического конструкта в «Антаре» относятся: 1) мифопоэтика и мистификация системы собственных имен персонажей; 2) формирование дискурса касыды – классического жанра арабской литературы; 3) библейско-коранический контекст мифологем великой царицы и царя-основателя. Рассмотрим их по порядку.

Имена в «Антаре» – это фундамент, на котором строится вход в мифопоэтику мусульманского Востока и подготавливается основа представления

Сирии как места дислокации конкретного ориентального мифа. Игра собственными именами – это одновременно способ создать требуемый автору широкий интертекстуальный фон и средство перехода в плоскость иронии. Сенковский объявляет пери Гюль-Назар дочерью древнеарабского поэта Лебида и внучкой Лаллы Рук – персонажа одноименной поэмы Т. Мура, которая к моменту написания «Антара» была хорошо известна русской публике. Дедом Гюль-Назар именуется «поэт и герой пустыни» Шанфарий, о котром в 1828 г. читатели альманаха «Альбом Северных муз» узнали из арабской повести Сенковского «Смерть Шанфария». В этой повести Шанфарий погиб, спасая из плена свою возлюбленную Дальфу, о Лалле Рух, или Эльмас, в тексте не было ни слова. Сознательная мистификация, эклектично объединяющая разных персонажей и разное пространство в один интертекст – явное указание на то, что «Антар» для Сенковского значил больше, чем другие его ранее опубликованные восточные повести.

При формировании системы персонажей повести Сенковский опирался не только на хорошо знакомые ему со времен восточного путешествия имена собственные, но прежде всего на тексты, которые являлись объектом его академических интересов. Первый очевидный источник собственных имен «Антара» – это самый известный в Европе сборник древнеарабской поэзии «Аль-Муаллакат», или «Муаллаки», составленный в VIII в. сказителем Хаммадом [5. Т. 2. С. 212] и появившийся в Европе в переводе Гартмана (Hartmann) в 1802 г. [6], а в России – в 1832 г., изданный А.В. Болдыревым. Именно этот сборник стал основой знаний просвещенных европейцев об истории арабской литературы доисламского периода, включая касыды семи поэтов: Имруулькайса, Тарафы, Зухайра, аль-Хариса ибн Хиллизы, Амра ибн Кульсума, Антары и Лебида. О том, что Сенковский имел очень тесное знакомство с арабскими оригиналами касыд доисламских арабских поэтов, говорит тот факт, что он выполнил художественный перевод касыды Лебида и приложил ее к очерку «Поэзия пустыни, или Поэзия Аравитян до Магомета» для публикации в 1838 г. в «Библиотеке для чтения» [3. Т. 7. С. 93–130].

Используя имя еще одного поэта из Муаллаката – Лабиды (в повести, как собственно, и в издании Болдырева, Лебида), Сенковский расширяет литературный контекст и нагружает пери «героической родословной»: «Эльмас повелевала здесь до времён халифа Омара. Она полюбила знаменитого Лебида, прославившегося своими несчастиями, мужеством и стихами; Лебида, песни которого гремят до сих пор в пустыне, лишённого престола коварным братом и орошавшего царскою кровию своею, в течение долговременного скитания, сыпучие пески аравийских кочевьев, для защиты угнетённых и бесприютных, страждущих подобно ему от несправедливости своих ближних. <...> Лебид был мой отец» [3. Т. 1. С. 332]. Таким образом, приводя в тексте повести имена Антара, Шанфария, Лаллы Рук и Лебида, Сенковский вполне осознанно играет с читателем, как профессиональный востоковед редуцируя историко-литературные факты до уровня массового сознания, и представляет «Антар» связующим текстом его ориентальной мифологизации.

Еще один важный источник имен и восточной мифопоэтики в повести – это арабский роман об Антаре, объемное произведение, в рукописном виде на арабском языке доходившее до 45 томов различного размера. К моменту на-

писания повести «Антар» полного перевода «Романа об Антаре» не было и не могло быть в силу того, что, как заметил Вильям Клаустон (Clouston), «это могло бы ужаснуть даже самых неутомимых переводчиков, не говоря уже о невозможности найти европейских читателей» [7. С. 171]. Сенковский мог быть знаком с сокращенной копией этого романа, сделанной сирийцами под названием *Shamiyeh*, или Сирийской «Антар», чтобы отличить его от оригинала, который был известен как *Hijaziyeh*, или Арабский «Антар».

Сокращенный сирийский вариант «Романа об Антаре» был крайне популярен на Востоке. Образ Антара привлекал все слои общества, так что имя легендарного доисламского поэта-богатыря звучало и в роскошных домах, и в простых кофейнях, традиционно собирая благодарных слушателей. В Европе имя Антара впервые прозвучало для широкой общественности в год отъезда Сенковского на Восток – в Лондоне в 1819 г. появился перевод сирийского варианта «Романа об Антаре» в формате «небольшого тома, в восьмую долю листа, около 300 страниц, под названием «*Antar, a Bedouen Romance, translated from the Arabic*» [8. Ч. 1. С. 172] в переводе Террика Гамильтона (Hamilton).

В 1820 г. Гамильтон выпустил еще три тома, которые были встречены далеко не восторженно английской публикой, привыкшей не к оригинальной арабской художественной мысли, а к ее французским адаптациям. Сам переводчик в предисловии пишет, что «до публикации *Mines de l'Orient*, напечатанной в Вене в 1802 году, имя Антара вряд ли слышали в Европе» и приводит слова М. Хаммера: «*This work which must be as very instrumental towards the manners dispositions and habits the Arabs seems to us more than the celebrated *Thousand and One Nights* not indeed with respect to the fictions in which this work almost entirely fails but as a picture of history*» [8. Ч. 1. С. 19], подчеркивая тем самым не столько литературную, сколько этнографическую значимость своего перевода. Но, как бы там ни было, популярная на Востоке мифологема поэта-воина Антара появилась в Европе и начала свое функционирование в механизмах описанного Э. Саидом ориентализма.

Формируя мифопоэтический образ Антара в своей повести, Сенковский выстраивает игровую ситуацию с читателем, которому это имя уже должно было быть известно. Поэтому несовпадение в образах Антара у Сенковского и в английском переводе Гамильтона есть факт сознательного формирования собственного мифа об Антаре для русского читателя.

Учитывая романтическое читательское ожидание, Сенковский делает сюжетобразующей в своей повести любовную линию, сходную в общих чертах с любовной линией у Гамильтона: любовь Антара и Аблы (у Гамильтона – *Ibla*) в арабском романе сходна с любовью Антара и Гюль-Назар в повести Сенковского. Она беспредельна и побеждает смерть. В обоих случаях Антар выпускает дух в объятиях своей возлюбленной, тело его не подлежит погребению, а выступает знаковой сущностью, тем самым Сенковский обыгрывает общеромантический мотив вечной любви, побеждающей тление («Вот уже Антар превратился в белый, сухой, безобразный остов. Она, однако ж, ни на минуту не разнимала рук, коими опоясала его при смерти, и сухие кости любовника, осыпаемые её поцелуями, неоднократно проникались чувством сладчайшей неги») [3. Т. 1. С. 350], в романе Гамильтона – знак нече-

ловеческой силы и настоящий джентльменский поступок: мертвый Антар сидит, опираясь на копьё, чем приводит в замешательство преследователей.

Смерть Антара в произведении Сенковского, произошедшая по законам романтического дискурса, – это композиционный прием, позволяющий Сенковскому осуществить выход в область мифопоэтического осмысления концептов любви и вечности.

Другой значимый момент мифопоэтизации сирийского топоса у Сенковского возникает путем формирования дискурса касыды. Есть все основания полагать, что замысел Сенковского представить русскому читателю свою версию сирийского «Романа об Антаре» столкнулся с необходимостью усиления роли художественного пространства «Антара» в контексте романтического ориентализма. Решением этой проблемы стало обращение Сенковского к восточной поэтике, и конкретно к жанру арабской касыды, отличающемуся строгим соблюдением композиционных приемов и в современной арабской литературе почти не подверженному изменениям. Касыда более других жанров восточной поэтики подходила для реализации концептов путешествия и скитания, а также для формирования романтического драматизма неприкаянной личности, мечущейся в пространстве и времени.

В тексте Сенковского есть все элементы традиционной касыды: лирическое вступление (насиб), описание (васф), путешествие поэта (рахиль), восхваление (кад), самовосхваление (фахр), при этом в начале касыды лирический герой обязан описывать развалины или покинутую стоянку. У Сенковского происходит формирование дискурса касыды начиная с первого предложения. Для сравнения можно указать начало переведенной Сенковским касыды Лебида (кстати говоря, расположенной в Собрании сочинений 1858 г. рядом с «Антаром»): «Исчезли ея ставки, ея ночлеги и отдыхи в Мине! Одичали Чортова-Гора, Реджам и скалы Рияна, и только ветер обнажает скачками рисунок бывших жилищ, похожий на полуистертую надпись на утесе... Теперь здесь польнь раскидывает свои высокия ветви, страусы и газели выводят птенцов» [3. Т. 1. С. 308, 309].

Элегический топос покинутого жилья, значимый в касыде, оказывается настолько значимым в топосе развалин Тедмора у Сенковского, что Сенковский помещает действие своей повести не в арабской пустыне, как в оригинальном «Романе об Антаре» и в английском переводе Гамильтона, хотя это вполне соответствовало бы романтическим ожиданиям ориентального условно-атопичного мира, а в развалинах вполне конкретного сирийского города, расположенных в 240 километрах на северо-восток от Дамаска.

Зачем Сенковскому понадобилось перемещать Антара в развалины Тедмора? Дело в том, что эти руины, кроме археологической ценности, представляли для Сенковского ценность культурно-мифологическую, связанную с концептосферой русской культуры. Несмотря на то, что еще в 1823 г. о Тедморе появлялись отзывы типа: «надобно много убавить из того высокого понятия, которое обыкновенно имеют о развалинах Пальмиры» [9. С. 206], именно синонимическое наименование Тедмора (Пальмира) – ключ к его русской ориентальной мифопоэтике: Санкт-Петербург – Северная Пальмира. После того как появилась переведенная на многие европейские языки книга Роберта Вуда (Wood) «The Ruins of Palmira, otherwise Tadmor, in the Desert»

(1753), мифологема Пальмиры начала свое существование в плане европейского романтического пространства, а ее королева Зеновия выступила второй Клеопатрой, владычицей Азии, тем самым объединяя в ориентальном романтическом мифе восточные и античные коды.

Пальмира, как и Александрия, располагалась на удивительно выгодном месте, так что уже к III в. до н.э. стала ключевым городом, контролирующим караванную торговлю между Востоком и Западом, что обеспечило ей процветание и основу власти над Азией. Зеновия, будучи наполовину гречанкой, наполовину арабкой (или еврейкой) после смерти своего мужа стала его полновластной царицей. В результате ее решительных действий Пальмира едва не получила независимость от Рима. Однако в 272 г. император Аврелий разгромил ее войска, привез ее в качестве военного трофея в Рим, и уже через год Пальмира была разрушена до основания. К 634 г., когда город захватили арабы, он уже не представлял никакой геополитической или культурной значимости.

Через 7 лет после публикации «Антара» о судьбе Зиновии и Пальмиры весьма подробно будет написано в 42-м томе «Библиотеки для чтения», вышедшем в 1840 г.: в разделе «Смесь» с заголовком «Путешествие господина Пужула в Пальмиру» Сенковский дал очень подробную историческую справку о Тедморе и о том, как этот город выглядит в настоящее время. Возвращаясь к этой теме, только уже в нелитературном контексте, Сенковский-писатель и Сенковский-редактор подчеркивает значимость образа Пальмиры не только для себя, но и для общественной мысли. Разумеется, подобная автореминисценция имела смысл только в том случае, если имела более чем просто познавательную цель.

Кроме античного контекста, образ Тедмора-Пальмиры должен быть рассмотрен в контексте мифопоэтики Библии и Корана в связи с появлением в «Антаре» аллюзий, отсылающих к образу царя Соломона: библейский миф об основании Тедмора и коранический миф о любви Соломона и царицы Савской (Балькис). Образ царя-пророка Соломона в «Антаре» интересен не только тем, что в XIX в. восторженные песни доисламского поэта Антары ассоциировались с песнями царя Соломона: «...freshness and vigor this ancient poem touches the tender and the terrible reminding the reader strongly of the song of Solomon» [10. С. 681]. Прежде всего, Соломон – это точка пересечения сразу трех мифологических систем: библейской, коранической и масонской (через мифологему секретного ремесла).

Имя Соломона встречается в тексте «Антара» четыре раза: два раза в связи с мифом об основании города («Вы находитесь в Тедморе, развалины коего поутру удивляли вас своею красотою и огромностию. Ведайте, храбрый богатырь пустыни, что этот город построен джиннами, зловредными и безобразными духами, коими Соломон – да будет с ним мир! – повелевал посредством волшебного перстня, подаренного ему ангелом Джебраилом» [3. Т. 1. С. 329, 330]), один раз в связи с мифом о помощнике царя Соломона по строительству храма – Асафе («Тогда, Лале-рех, одна из первостепенных и прекраснейших пери, испросила у Асафа, наследника Соломонова, позволение поселиться в них и основать для себя новое царство, потому что джинны, то есть зловредные духи, беспрестанными набегами тревожили её родину» [3.

Т. 1. С. 331]) и один раз в качестве указания на мифическую власть Соломона над духами («по завету Соломона (да будет с ним мир!), джинны не смеют проникнуть внутрь черты города, построенного в древности их руками» [3. Т. 1. С. 333]).

Миф об основании Соломоном Тедмора восходит исключительно к библейскому тексту, дополняя образ царя-пророка чертами царя-основателя: «И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе» (2-я Паралипоменон, 8:4), в Коране такие наименования не встречаются. Но учитывая масштабы семиотической игры Сенковского с читателем, можно выделить ряд скрытых аллюзий к мусульманскому образу царя и пророка Соломона.

Первая кораническая аллюзия связана с именем кобылы Антара, которую Сенковский назвал не Абджер (Abjer), как в «Романе об Антаре», а Балька. Это четко корреспондирует с возлюбленной царя Соломона царицей Савской, в мусульманской культуре известной под именем Балькис. Любовь Соломона к Балькис – сюжет мусульманского происхождения, упомянутый в 27-й суре Корана (в Библии нет и намек на предполагаемую комментаторами любовь Соломона и царицы Сабей), при этом сюжет отнюдь не рядовой: в поэтике и философии суфизма эта любовь символизирует любовь к Богу, а послания Соломона, которые пророк передавал возлюбленной через удода, символизируют молитву в попытке достичь желаемой близости. Мусульманские мистики повсеместно использовали этот сюжет, развивая подробности взаимоотношений царя-пророка и великой царицы.

Встречающиеся в тексте «Антара» метаморфозы (джинн Джан-Гир принимает образ огромной птицы унки, Гюль-Назар превращается в газель) имеют под собой прочное мифологическое основание. Дело в том, что превращение Сенковским коранической Балькис в кобылу Бальку, искренне преданную Антару и фактически многие годы заменявшую ему человеческую спутницу, возможно под влиянием другого распространенного на семитском Востоке мифа о том, что у Балькис были волосатые ноги и, возможно, копыта (козлиные или ослиные), из-за чего у мифологов возникают обоснованные предположения, что мифические зооморфные черты Балькис имеют древне-семитское происхождение и связаны с демонологией Лилит. Об этом писал еще в 1873 г. исследователь средневековой литературы Вильгельм Герц, уточняя со ссылкой на арабские источники (Ta'alabi), что могила Лилит находится в сирийском Тедморе: «...ihr Grab in Tadmor gefunden wird, ist bedeutsam: denn Tadmor ist der Aufenthalt der Lilith» [11. С. 426]. В других ближневосточных мифах и кабалистике Балькис часто отождествлялась с Зеновией, царицей Тедмора, о чем в своей книге «Королева Шеба» (The Queen of Sheba, 1983) [12] говорит известный британский ориенталист Джон Филби (Philby).

Мифологема Зеновии-Балькис и ее любви к Соломону приобретает в «Антаре» особую значимость благодаря самому сирийскому топосу – Пальмире, который проецируется на мифологема Санкт-Петербурга – Пальмиры. Называть Петербург «Северной Пальмирой» очень любил Ф. Булгарин (например, «тысячи кораблей приносят ежегодно в северную Пальмиру дань промышленности со всех концов земного мира») [13. Ч. 11. С. 132], так что в

начале XIX в. метафора часто ассоциировалась не только с Петербургом, но и с самим Булгариным, однако впервые так именовать Санкт-Петербург стали во второй половине XVIII в., связывая образ императрицы Екатерины Великой и Зеновии.

Как и Зеновия, Екатерина покровительствовала наукам и искусствам, любила мудрые слова философов своего времени («Вольтером» для Зеновии был философ-неоплатоник Дионисий Лонгин) и вела беспрестанные войны. Кроме того, век Екатерины был ознаменован классицистическим возрождением Античности, ее образа мысли и символики. В этом контексте Пальмира (греч. «Город Пальм») оказывалась вполне к месту, поскольку пальмовая ветвь ассоциировалась с триумфом и крепкой властью.

Миф о сотворении храма чрезвычайно значим в контексте библейско-коранической и масонской систем, но центральное значение для мифопоэтики сирийского топоса Сенковского имеет связь концепта времени с концептом царя-основателя, каковым представлялся Петр Великий. Реализация этих концептов в «Антаре» основывается на кораническом сюжете (сура «Саба»: 14) смерти царя Соломона, который умер, опершись на свой посох (в то время как повинующиеся ему духи продолжали строить храм, узнав об обмане, только когда червь подточил посох и тело царя упало на землю), и коранических лейтмотивах погибших древних народов. Мифопоэтика Сирии в творчестве Сенковского, таким образом, формирует философский дискурс, призывающий задуматься над бренностью бытия: «Как много Мы истребили поколений, которые жили до них и были намного сильнее их! Они искали по всей земле убежище [когда постигло их наказание]. Но какое там убежище? (сура «Каф»: 36)»; «Неужели до них не дошли рассказы о тех [народах], которые жили задолго до них, — о народе Нуха, [народах] 'ад и самуд, народе Ибрахима, жителях Мадйана и разрушенных [городов]?» (сура «Покаяние»: 70)» [14].

В заключение следует подчеркнуть, что сирийская пустыня не была просто ориентальным антуражем восточных повестей Сенковского. Основная функция мифопоэтической Сирии у Сенковского заключалась в том, чтобы сформировать насыщенное смыслами поле рассуждений о России и о современной ему русской романтической литературе в контексте русского и западноевропейского ориентализма XIX в.

Литература

1. Шапинская Е.Н. Путешествие на Восток как бегство от повседневности: феномен туристического эскапизма // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 4 (5).
2. Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины XIX века. М., 1991.
3. Собрание сочинений Сенковского (Барона Брамбеуса): в 9 т. СПб., 1858.
4. Крачковский И.Ю. Источник «Витязя буланого коня» и других восточных повестей Сенковского // Труды Военного института иностранных языков. 1946. № 2.
5. Фильштинский И.М. Словесное искусство древних арабов (VI – середина VII в.) // Истоки всемирной литературы: в 8 т. М., 1984.
6. Hartmann A.T. Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen poetischen Himmel, oder die sieben am Tempel zu Mekka aufgehängenen arabischen Gedichte. Münster, 1802.
7. Clouston W.A. Arabian Poetry for English Readers. Glasgow, 1881.
8. *Antar*, a Bedouen Romance, translated from the Arabic by Terrick Hamilton, Esq. London, 1820.

9. *О путешествиях Ирби и Манглеса* // Собрание статей, относящихся к наукам, искусствам и словесности, заимствованных из разных иностранных периодических изданий 1823-го, 24 и 25 годов. М., 1826.

10. *The New American Cyclopaedia: a Popular Dictionary of General Knowledge*. New York; London, 1865.

11. *Hertz W. Gesammelte Abhandlungen*. Stuttgart, 1905.

12. *Philby J. The Queen of Sheba*. London; New York, 1981.

13. *Булгарин Ф. Поездка в Кронштадт 1 мая 1826 года: (Письмо к Н.И. Гнедичу)* // Сочинения Фаддея Булгарина. СПб., 1830.

14. *Коран* / пер. М.-Н. О. Османова. СПб., 2010.

Alekseev Pavel V., Gorno-Altai State University (Gorno-Altai, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: conceptia@mail.ru

SYRIA IN O.I. SENKOVSKY'S MYTHOPOETICS. DOI 10.17223/19986645/27/6

Keywords: Syria, concept, mythology, Oriental tale, Senkovsky, Antar, Palmyra.

In the paper the mythopoetic image of Syria in O.I. Senkovsky's works is analysed.

Senkovsky is a famous founder and promoter of the genre of "Oriental tales" in the Russian literature of the 19th century, and the analysis of oriental myths in his work allows us to understand the depth and scope of Russian romantic Orientalism. The main aim of this paper is to present the Syrian field in the works by Senkovsky as a mythological construct.

For O.I. Senkovsky Syria is one of the meaningful parts of the Orient, which he mythologized for many years of his life by different sides of his talent (scientific, artistic and journalistic). At the same time, united in the field of irony and self-irony, different approaches of Senkovsky formed a mythopoetic model of Syria as an Oriental country, which for many centuries had conceptual importance for the development of Russian culture.

The concept of Syria is most clearly reflected in two Senkovsky's texts: *Antar* (1832) and *Memories of Syria* (1834). In *Memories of Syria* Senkovsky positions himself as an enlightened European yearning to learn the Arabic language and having a real prestige among the Syrian natives, who call him "Frank" or "Khawaja Yusuf". In describing the nature of Syria Senkovsky is consistent in forming a mythopoetic space that influences human consciousness.

The oriental tale *Antar* seems to us the most representative for Syrian mythopoetics. The main structural elements of the Syrian construct in *Antar* include: a) mythopoetics and mystification of character names, b) formation of "qasida" discourse, and c) Biblical and Quranic context of the mythologems of the Great Queen and the King-Founder.

Senkovsky consciously plays with the reader as a professional orientalist, he reduces historical and literary facts to the level of mass consciousness and represents *Antar* as a text of his oriental mythologizing. But for the archaeological value the ruins of Tadmor (Palmyra) represent mainly the cultural and mythological value for Senkovsky, related to the sphere of Russian culture in connection with the metaphor of St. Petersburg as Northern Palmyra.

In addition to the ancient context, the image of Tadmor should be considered in the context of mythopoetics of the Bible and the Quran, because there are allusions in *Antar* that refer to the image of King Solomon, the Biblical myth of Tadmor's founding and the Quranic myth about the love between King Solomon and the Queen of Sheba Balqis.

Syrian desert was not an entourage in the Oriental tales of Senkovsky. The main function of Senkovsky's mythopoetics of Syria was to form a rich in meanings reasoning field of Russia and of the contemporary Russian Romantic literature in the context of Russian and Western European Orientalism in the 19th century.

References

1. *Shapinskaya E.N.* Puteshestvie na Vostok kak begstvo ot povsednevnosti: fenomen turisticheskogo eskapizma // *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury*. 2011. № 4 (5).

2. *Siriya, Livan i Palestina v opisaniyakh rossiyskikh puteshestvennikov, konsul'skikh i voennykh obzorakh pervoy poloviny XIX veka*. М., 1991.

3. *Sobranie sochineniy Senkovskogo (Barona Brambeusa): v 9 t.* СПб., 1858.

4. *Krachkovskiy I.Yu.* Istochnik «Vityazya bulanogo konya» i drugikh vostochnykh povestey Senkovskogo // *Trudy Voennogo instituta inostrannykh yazykov*. 1946. № 2.

5. *Fil'shtinskiy I.M.* Slovesnoe iskusstvo drevnikh arabov (VI – seredina VII v.) // *Istoriya vsemirnoy literatury*: v 8 t. M., 1984.
6. *Hartmann A.T.* Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen poetischen Himmel, oder die sieben am Tempel zu Mekka aufgehängenen arabischen Gedichte. Münster, 1802.
7. *Clouston W.A.* Arabian Poetry for English Readers. Glasgow, 1881.
8. *Antar*, a Bedoueen Romance, translated from the Arabic by Terrick Hamilton, Esq. London, 1820.
9. *O puteshestviyakh Irbi i Manglesa* // *Sobranie statey, odnosyashchikhsya k naukam, iskusstvam i slovesnosti, zaimstvovannykh iz raznykh inostrannykh periodicheskikh izdaniy 1823-go, 24 i 25 godov.* M., 1826.
10. *The New American Cyclopaedia: a Popular Dictionary of General Knowledge.* New York; London, 1865.
11. *Hertz W.* Gesammelte Abhandlungen. Stuttgart, 1905.
12. *Philby J.* The Queen of Sheba. London; New York, 1981.
13. *Bulgarin F.* Poezdka v Kronshtadt 1 maya 1826 goda: (Pis'mo k N.I. Gnedichu) // *Sochineniya Faddeya Bulgarina.* SPb., 1830.
14. *Koran* / per. M.-N. O. Osmanova. SPb., 2010.

УДК 82.02

DOI 10.17223/19986645/27/7

К.В. Анисимов, А.И. Разуvalова

ДВА ВЕКА – ДВЕ ГРАНИ СИБИРСКОГО ТЕКСТА: ОБЛАСТНИКИ ИС. «ДЕРЕВЕНЩИКИ»¹

В статье сопоставляются две ключевые версии сибирского текста русской литературы: комплекс воззрений интеллигентов-областников сер. XIX – нач. XX в. и наследие писателей-деревенщиков второй половины XX в. Сравнение охватывает идеологические, культурные и ментальные слагаемые обеих традиций. В центре внимания находится также сам феномен сибирского территориального текста, специфического мотивного субстрата, покидающего на рубеже XIX–XX вв. сферу архетипического, в которой он располагался в домодерную эпоху, и интенсивно диалогизирующегося и идеологизирующегося.

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, областничество, «деревенская проза», традиционализм в литературе, литература и этничность, власть, наука.

1

В социокультурном ключе художественную литературу можно рассматривать, в частности, как «прибежище персонажей, томящихся проблемой идентичности» [1. С. 214–215]. Территориальные мифы и производимые ими тексты – продуктивный механизм, способствующий возникновению того самоопределения, которое как раз и анализируется в только что процитированной статье А.С. Кустарева. «Способствующий», впрочем, не значит «обусловливающий» или тем более неотвратимо «определяющий». Архетипическое содержание территориального мифа может разделяться в равной степени как носителями формирующейся локальной ментальности, так и участниками историко-культурных процессов, не имеющими к ней отношения. Классические мифы о «далеких землях» не только мало что говорят о самих этих землях; будучи, по мысли А. Эткинды, Д. Уффельмана и И. Кукулина, опытом «искусствен[ого] производств[а] культурных различий» [2. С. 14], они дают яркие примеры ориентализации, т.е. этно-социального, расового, религиозного дистанцирования объекта, которое в будущем делает возможным применение к нему практик административного и экономического контроля. В этом отношении они противостоят текстам «местного самосознания», как этот феномен именовался сибирскими областниками. В свою очередь, для того чтобы самосознание такого типа возникло, требуется, в числе прочих факторов, «возгонка» традиционных локальных мифов к идеологическим и

¹ Исследование выполнено в рамках интеграционной программы УрО и СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования».

публицистическим дискуссиям, их своего рода «диалогизация», включение в полемический контекст эпохи модерна¹.

В намеченной перспективе сибирский текст (далее – СТ) подлежит двум альтернативным прочтениям. Первый, неоднократно апробированный нашим литературоведением в свете новаторских для своего времени работ В.Н. Топорова, заключается в реконструкции череды архетипов, имплицированных в «сибирские» литературные сюжеты русской классикой, которая, переживая в XIX в. этап бурного становления, «изобретала», наряду с характерологическими «галереями» национальных «типов», также национальную географию, ментальную карту, продолжая тем самым традицию идеологической и политической перекройки русского ландшафта, начавшейся еще в первой половине XVIII в. [4]. Ю.М. Лотман, а вслед за ним В.И. Тюпа показали, что в глазах ряда ключевых русских писателей XIX в. Сибирь превратилась в своего рода «чистилище», инициационное пространство проблематического возрождения человека, который, пройдя через каторжные страдания, обретал новый духовно-социальный статус [5. С. 724–725; 6]. Вариантом этой интертекстуальной сюжетной модели была связанная с нею группа текстов, в которой сопоставляемые территориальные миры словно менялись местами: знаками безысходного страдания и социально-политического тупика наделялось пространство Европейской России, а Сибирь, напротив, начинала рассматриваться как утопическая антитеза погрязшей в пороках исторической государственности. Воспринятая в этой перспективе, Сибирь символически избавлялась от ассоциации с государственным репрессивным аппаратом и, полностью отходя в ведение Природы, превращалась в очаг руссоистских и романтических сюжетов с националистическим оттенком.

Вместе с тем исследование внутренней архетипической структуры СТ не представляется ни единственно возможным, ни тем более исчерпывающим. Семантическая сторона текста не может господствовать над его прагматическими коммуникативными возможностями – в том числе над вероятным полемическим откликом на транслируемые им смыслы. Между тем накрепко привязанные к культурному прошлому, архетипические модели, возводя изменчивую социополитическую реальность к незыблемой инстанции мифа, существенно препятствовали возникновению, говоря по-бахтински, моментов диалогической незавершенности, которые запускали бы процессы индивидуализации и самосознания – противоположные безальтернативным мифологическим обобщениям.

Рассматривая СТ в коммуникативном аспекте, подразумевающим выделение субъекта высказывания, референта и адресата, необходимо отметить необычную активизацию адресата (читателя) в момент появления локальной идентичности. Эта активизация, собственно, и является ее надежным индикатором. Так, подразумеваемый читатель масштабных, пронизанных мифологизмом картин, например, города и острога, очередного «мертвого дома» «на берегу широкой, пустынной реки» [7. С. 504], которые поставлялись русским романом XIX в., был принципиально неотделим от «идеального читателя».

¹ В свое время один из авторов данной статьи имел возможность показать проблематизацию ряда таких мифов на примере полемики Н.М. Ядринцева с работами А.П. Шапова. См.: [3. С. 208–223].

Монолитная авторская позиция (в данном случае – Достоевского), реализованная во всей структуре текста, не предполагала расщепления адресата и появление в его виртуальной конструкции каких-то геокультурных «швов». Примечательно, что сам феномен «петербургского» романа от Достоевского до Андрея Белого воспринимался в России не в метонимическом смысле – как насыщенный топографической конкретикой корпус текстов о Петербурге (притом что такая конкретика присутствовала), а в метафорическом – как художественный анализ имперского периода русской истории в целом. Односторонний, в известном смысле архаико-авторитарный характер такой коммуникации менялся с появлением «активного» читателя, заявлявшего о своей субъектности как представителя определенной локальности и подрывавшего привычные коммуникативные конвенции с автором.

2

Интересным прецедентом оживления читательского сознания и появления диалоговой ситуации в структуре СТ русской литературы является хорошо известная в науке [8; 9. С. 490; 10. С. 23; 11] заочная полемика одного из лидеров сибирского областничества Н.М. Ядринцева с А.П. Чеховым, автором «Писем из Сибири», опубликованных в 1890 г. Исходная метафора, к которой прибегают Ядринцев, заключала в себе уподобление «местного» реципиента чеховского текста подсудимому, который, если следовать социальному пафосу воспитавшей обоих авторов эпохи Великих реформ, становился не просто молчаливым объектом обвинительного вердикта, но обретал право на защиту, ответное слово. Таким словом и стали выступления самого Ядринцева на страницах «Восточного обозрения». Итак: «Читаю в газетах, что на наш Восток, в Сибирь, отправился целый ряд путешественников. Читаю письма г. Антона Чехова в “Новом времени”, слежу за письмами профессора Исаева, узнаю, что в Сибирь собираются какие-то иностранцы, а за ними велосипедисты. Что-то они найдут, как-то опишут Сибирь? <...> Ведь это будет суд над моею родиной, над моими соотечественниками. Проезд путешественника по Сибири – это род экзамена, род генерального смотра» [12. С. 7]. В том случае, если оправдательных слов не находилось и филиппики путешественника оказывались справедливыми, ответ в диалоге со «столичным» писателем оформлялся как запись травмы: уязвленность провинциальной вторичностью осмысливалась как страдание ребенка. «Когда нас уличают во всем этом, я чувствую себя в положении школьника, у которого открывают и разорванную куртку, и отсутствующие пуговицы, и запачканные рейтузы. Но я знаю, что школьнику скажут: болван! и заставят переменить куртку и рейтузы. Я же чувствую себя виноватым, я теряюсь, мечусь и суечусь в совершенном отчаянии» [12. С. 8]. Наконец, дискуссия могла принимать привычные формы острого идеологического спора. Таковы возражения Ядринцева на чеховские слова об интеллигентных ссыльных, которых будущий создатель «Острова Сахалин» описывал как жертв, а публицист-областник – как порчу местного общества [13]. Принадлежащий перу Ядринцева полемический комментарий к «Письмам из Сибири» усложнял и разнообразил не только рецептивную среду чеховского текста в целом, он конфликтно противоречил открыто из-

ложенной позиции самого Чехова, который многократно засвидетельствовал свое негативное отношение к встреченной им в Сибири местной интеллигенции и очевидно не предполагал встречного творческого импульса с ее стороны: «...спрос на искусство здесь большой, но Бог не дает художников» [14. С. 14].

В историко-культурной перспективе приведенная в качестве примера новация была закономерной. В русском историческом опыте кризис империи (и ее национально-интеграционного проекта) совпал с широким распространением предмодернистских течений в искусстве, согласно правилам которых автор и читатель «встречались» и взаимодействовали в формировании смыслов текста [15, 16]. В рамках отмеченной тенденции культурные и социальные практики были заодно. Описанное Б. Андерсоном «воображаемое сообщество» [17], которое складывалось по мере стандартизации культуры, универсализации языка, распространения грамотности, облегчения доступа к образованию, интенсификации всех форм культурного обмена (вспомним меткое замечание Э. Рена: «существование нации – это <...> ежедневный плебисцит» [18. С. 19]) и в конечном счете делалось основой нацистроительства, обуславливало и нормативные типы самих участников процесса. Главным среди них был секулярный интеллигент, воспитанный прессой и литературой, проповедовавший деколонизацию территории и депровинциализацию ее культурной среды, т.е. устранение основных обстоятельств, вызывавших болезненное ощущение вторичности жизни на отдаленной окраине.

3

Ключевыми факторами, организующим мировоззрение носителя новой идентичности, были антитрадиционализм и индивидуализм, сложно сочетавшиеся с попытками «изобрести традицию» и соотнести индивидуализирующую установку с поиском нового «сообщества». Например, другой лидер сибирского областничества, Г.Н. Потанин, подчеркивал, что «так как в окружающей среде мы единомышленников не встречали, то и смотрели на себя, как на носителей мысли, ранее никем не высказанной, как на провозвестников новой жизни в Сибири» [19. С. 196]. Сразу после этих слов, говоря об областной литературе и значении своего друга Н.М. Ядринцева в ее формировании, Потанин отметил: «...сибирской литературы еще нет, она вся в будущем, а пока она только заключается в его (Ядринцева. – *К.А., А.Р.*) письмах ко мне» [19. С. 196].

В свою очередь, под углом зрения индивидуализма рассматривалась важнейшая для всех социальных теорий середины – второй половины XIX в. среда: крестьянство¹. Показательно, что биографически (но не мировоззренчески) близкий областникам Н.И. Наумов, увлеченный народническим поиском общины, в середине 1880-х гг. писал: «...ищу везде общину, общинные инстинкты, так звучно воспетые Златовратским и, о горе <...> не нахожу. Нахожу только одно, что все тащат друг у друга» [9. С. 393]. Потанин дал феномену разъяснение в областническом духе. Формируя свои воззрения на

¹ См. один из первых подходов к теме: [20]. Подробнее: [21. С. 33 и сл.].

эту тему, он использовал почерпнутый из бесед с М.А. Бакуниным тезис о коррозии крестьянской общины на территории Сибири, о превращении сибирского мужика в заведомого единоличника. «Русский крестьянин, землепашец, общинник, коллективист, перейдя через Уральский хребет, превратился в зверолова: жизнь в тайге, часто одинокая наедине с природой, в борьбе с опасностями, требовала от него большей инициативы, и он из коллективиста превратился в индивидуалиста» [19. С. 87]. «Колонизационная волна унесла русских людей на восточный простор, и конец коллективизму. Русский коллективный человек превращается в необузданного индивидуалиста, от русской общины не остается следа. Яровой клин, озимый клин, пар – все это стало незнакомыми словами» [19. С. 148–149]. И тем не менее в будущем, как показала Г.И. Пелих, Потанину всё равно виделась сибирская община, но качественно нового типа – способная примирить автономного индивидуума с коллективом и сочетающая в себе крестьянский традиционализм с современной интеллигентской установкой на самобытность края [21. С. 48; 62]. Подчеркнем главное: согласно Потанину сибиряка делает индивидуалистом именно сопротивление природе, борьба с нею. При всей значимости органицистских (климатических и этнологических) построений в областническом наследии прямого утопического уподобления крестьянского социума «храму» природной жизни Потанин и Ядринцев старались избегать.

4

Отмеченные вкратце тенденции позволяют сформулировать главный тезис и задачи статьи. На заре своего зарождения сибирское областничество было интеллектуальным течением постколониального типа, типологически тяготевшим к нациестроительству [22. С. 74–75; 23]. Национализм областников, впрочем, не привел к выработке внятных категорий местной этничности, убедительной реализации проекта «своей» художественной словесности (не говоря уже о литературном языке), оставшись на той стадии процесса, на которой Э. Геллнер размещал «незалавшие» национализмы [24. С. 103]. Между тем после репрессивного переформатирования советским режимом сибирской интеллигентской среды, подчинения ее целям неоимперского [25] социального экспериментаторства, а также после периода почти полного интеллектуального молчания сталинских лет областное самосознание удивительным образом проявило себя вновь – на сей раз на излете советской эпохи, когда националистические тенденции (прежде всего в культуре) были молчаливо разрешены партийным официозом СССР [26]. Речь идет о школе писателей-«деревенщиков», наиболее яркие представители которой (В.М. Шукшин, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, С.П. Залыгин) имели сибирское происхождение, весьма отчетливо ими артикулировавшееся. Унаследовали ли они не только проблематику давних идеологических выступлений областников XIX в., но и саму социокультурную природу их сообщества? В какой мере они разделяли выработанную областниками систему символических жестов, культурных ценностей и социальных приоритетов (вспомним здесь знаменитые пять областнических «вопросов»)? Наконец, кто был ближайшим адреса-

том творчества обеих групп, апроприровавших на разных этапах развития России право олицетворять собою аутентичный СТ?

В науке сибирское областничество и генерация «деревенских» писателей второй половины XX в. уже сопоставлялись – в появившихся одновременно, но написанных независимо друг от друга работах Н.В. Серебренникова и Дж. А. Огдена [10. С. 279–281; 27]. Исследователи выделили совпадающие положения в программах областников, с одной стороны, и, преимущественно, В.Г. Распутина, художника в наибольшей степени вдохновленного сибирской проблематикой и внесшего в XX в., пожалуй, наиболее весомый вклад в развитие СТ – с другой. В числе таких совпадений находятся литературоцентризм (осознание зависимости идентичности от художественного и публицистического слова), критика экономического колониализма, географическое конструирование целостности Сибири как макрорегиона в противовес локальному партикуляризму, осознание мифологизма самого образа Сибири, антитеза коренных жителей и «пришлых» и т.д.

Мы дополним этот перечень (не претендуя, разумеется, на его исчерпание) рядом аспектов, которые не были затронуты в указанных работах, но принципиальное значение которых для нас очевидно. Речь далее пойдет о сходствах и различиях в формулировании параметров этничности, историзма, а также об отношении к науке и государству. Данные позиции (в ряде случаев – антитетичные) позволят увидеть внутреннее «строение» двух доктрин сибирской самобытности, отделенных друг от друга столетием.

5

Основной вклад в разработку темы сибирского «народно-областного» типа внес, как известно, Н.М. Ядринцев. Соображения о сибирской этничности простирались в его работах существенно дальше ученых изысканий собственно в области сибирского «инородческого» населения. И если прекрасный и плодovitый востоковед Г.Н. Потанин не преувеличивал этнографическую оригинальность русского сибиряка, предпочитая говорить о влиянии на него естественно-природных условий, а также о взаимодействии Востока и Запада в общем контексте фольклорной компаративистики, то Ядринцев, заимствовав многое из радикальных статей А.П. Щапова, создал концепцию жителя Сибири, отличающегося рядом своих главных черт от русского из европейской части страны. Отмеченное выше тяготение к индивидуализации и контртрадиционализму отразилось в опыте концептуализации сибирского «типа» весьма явственно. Общеизвестно, что в глазах Ядринцева «народно-областной тип» был продуктом метисации. Гораздо важнее, что из этого сравнительно нейтрального тезиса делался политический вывод: новый этнографический тип не столько *наследовал* черты своих прародителей, сколько ликвидировал их: перемешав в новой комбинации, отвергнув традиции прошлого, он выступал в качестве материала для экспериментов, обращенных в будущее. «Наши земляки, как я замечал, были весьма восприимчивы к новым теориям, к новаторству, из них выходили самые ревностные прозелиты новых направлений. Я могу объяснить это разве тем, что сибиряки вообще не

имеют традиций, предрассудков, у них нет ничего позади, и взор их устремлен вечно в будущее» [28. С. 313].

Потанин предпочитал говорить не столько об этнографическом типе, сколько об «областном темпераменте», зависящем от условий воспитания конкретного человека. В этом смысле под областническую идеологию им подвинулся фундамент ментальности¹, а процесс индивидуализации прочно укоренялся в онтологии становления личности. Однако в интересующей нас сейчас перспективе важно отметить, что и психологические основы характера будущего областника, и направленная на его воспитание педагогическая практика «концентрического родиноведения» [29, 30, 31] скрыто противопоставляли этнические черты, которые распространяются на *многих* и не зависят от частного выбора, персональным сценариям личностного развития. При этом Потанин точно отделял «инстинктивную» предрасположенность к областничеству, формирующуюся в детстве в том случае, если ребенок постоянно живет в одном месте, от «осознанного», идеологического «патриотизма», к которому человек мог перейти как на основе сформированной в детстве предрасположенности, так и руководствуясь свободным выбором. «Патриотизм не ограничивается ни географическими размерами территорий, ни языком, ни другими объективными факторами; границы свои он находит только в субъективизме», – заметил Потанин в 1886 г. [32. С. 9]. Парадоксальное сочетание в человеке изначальной приверженности к «родине» и спонтанных территориальных предпочтений зрелых лет регулировалось необходимостью сознательной работы по культурному развитию «области», которая обязательно должна была начинаться в обоих случаях. Главная задача такой работы – формирование «своей» интеллигенции, производящейся на свет местным университетом, своего рода стержневой инфраструктурной единицей того региона, в котором укоренилась «областническая тенденция»².

Разрабатывавшееся областниками самосознание сибирской интеллигенции, вообще говоря, конфликтовало с обычной для постколониальных обществ этнической консолидацией: в этом отношении при всех имеющихся параллелях с движением украинофилов, а также похожести юридических последствий выступлений обеих политических групп (ср. омский процесс по делу сепаратистов 1865 г.) [34. С. 130; 35] налицо принципиальное отличие сибирского областничества от национального движения на Украине. Формируясь в границах огромного макрорегиона, сибирская идентичность сталкивалась с главной угрозой – этническим автохтонным и русским местечковым партикуляризмом. В этом смысле очевиден посыл Ядринцева, который в известном высказывании, посвященном кружку молодых сибиряков в Петербурге в 1860-х гг.³, четко противопоставил региональное самосознание этническому: «В Петербурге картина сближения разных представителей окраины имеет в себе нечто особенное. Немудрено, что томич льнет к томичу и иркутянин к иркутянину... но весьма любопытно было видеть, как соединялись представитель Камчатки, якут с тоболяком, забайкалец с омским казаком, бурят с томичом и чувство-

¹ Доидеологическим проявлением самосознания являлись, по Потанину, «областные инстинкты» – нерефлексивная форма проявления «патриотизма».

² Подробнее см.: [33].

³ См. об этом кружке недавнюю специальную работу: [36].

вали, что у них бьется одно сердце» [28. С. 298]. Из этой же исторической и идеологической предпосылки вытекало не менее известное определение Потанина: «Основа сибирской идеи чисто территориальная» [37. С. 58].

Любопытно, что сам Потанин осознавал непохожесть сибирской и украинской «версий» федерализма и децентрализации империи. Так, этнические сантименты Т. Шевченко без обиняков были названы им «ирокезски[м] чувств[ом]» и противопоставлены безразличному к уже существующим этничностям регионализму Ядринцева, который «был адвокатом не одной какой-нибудь расы – он принял на себя защиту всего населения Сибири, не различая племен». В продолжении этого фрагмента находим ломающее этнический шаблон уподобление сибирских аборигенов русским крестьянам, данное скорее в духе тезиса внутренней колонизации: «В состав его клиентов входили многочисленные сибирские инородцы; литературная деятельность по инородческому вопросу была для него таким же средством для гуманизирования сибирского общества, каким для писателей Европейской России, для Тургенева и других, было описание быта крепостных крестьян. Становясь на защиту инородцев, Ядринцев должен был выступать против своих соплеменников, т.е. против русских сибиряков. Такой позиции судьба не создала ни для уральца – Железнова, ни для малоросса – Шевченко» [38. С. 45].

Редукция под пером Потанина идеи сибирской этничности приводила не только к внутриобластной полемике с утопической, восходящей к Щапову концепцией «народно-областного типа» как продукта метисации, она принципиально подрывала эссенциальные основания территориальной идентичности, к которым весьма часто апеллирует национальное чувство и в числе которых этнографическая специфика всегда была одним из сильнейших аргументов. В этом смысле Потанин оказывался в парадоксальной и, как кажется, весьма выигрышной позиции не только разработчика, но и аналитика «областной идеи».

Инстинктивной любви к природе, какую мы встречаем у партикуляристов, у Ядринцева не могло образоваться, потому что Сибирь не однообразна: в ней есть жаркие сухие степи, есть мокрые тундры. Не могло в нем образоваться и непосредственной любви и исключительной привязанности к сибирскому крестьянству, потому что сибирская раса почти не отличается от великорусского племени. И если звуки национальной песни пробуждали в нем расовое чувство, то это были звуки той же русской песни, которую поют в Европейской России. К своим патриотическим чувствам Ядринцев пришел рассудочным путем [38. С. 46].

6

У сибиряков-«деревенщиков» В.Г. Распутина и В.П. Астафьева природа местного патриотизма имела иную культурную природу, определявшуюся отчасти именно «онтологизацией» связи с родной территорией. Астафьев эту связь с Сибирью часто описывал в терминах биологически-нерасторжимого родства с природными объектами:

Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом.

Мне говорят, что я тоже – душа Енисея... [39. С. 271]¹.

Писатель, который долгое время жил вне родной Сибири и, как это ни парадоксально звучит, в течение тридцати с лишним лет собирался вернуться домой, постоянно откладывая возвращение, в обширной переписке подчеркивал иррациональную, необъяснимую тягу в родные места – «болезнь сибиряцкую» [39. С. 171]: «Родина тянет, и мне уже 41 год» [39. С. 70]; «И вот я, если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне...» [39. С. 155]. Однако в случае Астафьева подобная «онтологизация» патриотического чувства не ставилась в исключительную зависимость от «природной», «коренной» этничности. Сибирское пространство предстает у него, как и у областников, принципиально полиэтническим («Любая смута, вселюдная, малая ли, занявшаяся внутри России, отбойной волной прибывала к далеким сибирским землям разноплеменный люд, и он наскоро селился здесь...» [41. С. 422]) и структурируется культурно-территориальной принадлежностью. Сибирская идентичность создается, пользуясь эссенциалистски-романтической терминологией Распутина, «сибирским духом», который «необязательно должен родиться в Сибири, он может развиваться где угодно, но должен соответствовать Сибири...» [42. С. 32].

Распутин и Астафьев вполне лояльны к процессам метисации, вне которых немислима усвоенная ими на уровне повседневных социальных и культурных практик идеология Сибири как «плавильного котла». Показательно, что концептуально значимую для «Царь-рыбы» роль «человека из народа» Астафьев отдал «продукту» метисации Акиму (его отец – русский, а мать – наполовину долганка). Восстанавливая для читателя свою родословную, Распутин также не преминул вспомнить «тунгуссковатость» деда и «чисто русское, ликовое лицо» бабушки [40. С. 503]. В понимании Распутина метисация, в результате которой появился своеобразный сибирский тип, – процесс природно-исторический, и в этом смысле глубоко естественный, оправданный логикой возникновения и развития нового, выводимого природой «организма». С его точки зрения, в ходе заселения Сибири коренное население и колонизаторы естественным образом нашли устраивающие обе стороны способы взаимного сосуществования. Простой мужик из колонистов, по Распутину, сразу входил в дружеские отношения с сибирским аборигеном, «перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русскими это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство, и церковь» [42. С. 27]. От слияния «славянской порывистости и стихийности с

¹ О восприятии Ангары как воплощения творящей бытийной энергии В. Распутиным см.: [40. С. 502].

азиатской природностью и самоуглубленностью» произошел на свет сибиряк, в котором и ныне «видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое, – природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца...» [42. С. 27]. Идеологический ядринцевский аргумент, а также онтологическая персонология в духе Потанина из этих построений, как видим, исключены.

Любопытно, однако, что характерная для сибирского регионализма антитеза «коренных» и «наезжих» позволяет выявить у «поздних» «деревенщиков» этническую подоснову их самосознания. У самих областников эта антитеза была, естественно, начисто лишена этнического содержания. По мере усиления миграционных процессов, обозначивших кризис советского модернизационного проекта и распространившихся на Сибирь в 1970–1980-е гг., перемешивание¹ обладавшего выраженной культурно-психологической специфичностью сибирского «типа» с нерусскими этническими общностями вызывает все большее неприятие. О «полурастворенной ассимиляциями» [39. С. 318] русской нации и исчезновении привычных символических границ Астафьев пишет в 1982 г.: «В Сибири это (ассимилирующее начало. – К.А., А.Р.) хохлы – их, голубчиков, исподволь накопилось в стране больше, чем русских – 50 млн на Украине и 30 – в глуби того, что звалось Россией и Сибирью, а теперь незаметно переименовано в Нечерноземье и Кацапию» [39. С. 318]². Созвучно астафьевским умонастроениям высказывание Распутина: «Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его “сибирская порода” сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие» [42. С. 42]. Оказывается, что представление о «русском субстрате» сибирского населения было уже встроено в конструкцию региональной идентичности, в которой, казалось бы, изначально преобладал элемент территориальной консолидации. Именно этнонационалистический компонент впоследствии был актуализирован и включен в риторические конструкции этнофобского толка.

Потанинская мысль о связи в глазах Ядринцева сибирского крестьянина и инородца перед лицом столичной колониальной экспансии близка к идеологическим построениям «деревенщиков», прежде всего Астафьева. В обоих случаях сближение противоположных социальных и культурных типов, один из которых включал в действие миф о «национальном характере», а другой являлся «антиподом всего русского» [43. С. 15], работало на утверждение все

¹ Если метисация, объединившая сибирских туземцев и взявших на себя труд колонизации огромной территории русских, казалась «деревенщикам» позитивным и производительным процессом (ее итог – оригинальный сибирский тип), то ассимиляция местного населения к «чужим» для Сибири этническим сообществам вела к нивелировке былой самобытности и оценивалась отрицательно.

² Злая ирония Астафьева по поводу преобладания в России (в том числе в Сибири) украинского населения, которое изнутри страны, его принявшей, зовет ее Кацапией и Нечерноземьем, была вызвана, среди прочего, партийно-правительственными мерами второй половины 1970-х – начала 1980-х гг. по развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. По существу, эти меры риторически прикрывали все более очевидный экономический упадок в якобы неплодородных областях России, которые в конце XIX – начале XX в. полностью удовлетворяли внутренний спрос на продовольствие и даже работали на экспорт. Лукавая стилевая антиномия Черноземье – Нечерноземье, плохо камуфлировавшая как просчеты советской аграрной политики, так и утрату Россией прежнего символического первенства, служили стойким источником раздражения для националистически ориентированных интеллектуалов.

той же надэтнической природы сибирской идентичности. Однако в астафьевской «Царь-рыбе» у этого отождествления возникал контрмодернизационный контекст, отсутствовавший у областников и чрезвычайно важный для «деревенщиков». Сибирские инородец и крестьянин представляли здесь две репрессированные в ходе советской модернизации группы, чья «отсталость» для нового мира была нестерпимой и подлежала искоренению. Изъятые из традиционной среды обитания и лишённые привычного культурно-бытового уклада, северный инородец и русский крестьянин превращались автором в символ разрушения аутентичных культур, а их отождествление выводило к концептуально значимому для «деревенщиков» конфликту традиции и модернизации, который и обуславливал присущую этим писателям конфигурацию СТ. Положенная в основу экологизма деревенской прозы коллизия природной идиллии и жестокого (в русских условиях характерно – государственного) технизма определила то глубокое дыхание «памяти жанра», которое было присуще этой ветви русской словесности второй половины XX в. Воскресив целый ряд сентименталистских приемов в своей поэтике [44]¹, «деревенщики» отсылали читателя не только к полузабытым образцам словесности карамзинского времени, но – невольно – и к типологии национальной идентичности, первые образцы которой были даны той эпохой. «Германский», т.е. этнокультурный, акцент в этой палитре самосознаний был сильнее «гражданской» составляющей, присущей областникам, следовавшим скорее американским образцам².

Ориентация «деревенщиков» на романтические модели производства локального мифа, нередко воинственный и чуждый областникам антипрогрессизм объясняются, среди прочего, глубоко компенсаторным характером позднесоветской национально-консервативной идеологии, в рамках которой существовал «неопочвеннический» вариант регионалистского децентрализующего дискурса. Если областники искали способ превратить Сибирь из объекта приложения разнородных, не всегда согласованных правительственных инициатив в полноправный субъект культурно-экономической деятельности и оставались при этом в рамках модернизационной парадигмы, то «деревенщики» стремились выразить стадиально более позднюю травмированность модернизацией (в том числе проговорить, насколько это было возможно в подцензурных условиях, болезненный опыт коллективизации).

Несколько огрубляя, можно сказать, что эмоционально-психологической и дискурсивной основой регионалистских настроений «деревенщиков» стал «защитно-компенсаторный» [47. С. 196] национализм – побочный продукт медленной, но неотвратимой эрозии советской системы, и это существенно отличает их от областников, которые, используя на тот момент самый современный инструментарий «западных теорий колониализма и национализма» [23. С. 117], пытались сформулировать позитивную программу регионального развития Сибири. Советские историю и культуру «деревенщики» критиковали с «домодерных позиций», декларируя «антизападничество, антимодер-

¹ О «натуралистическом сентиментализме» В. Астафьева см.: [45. С. 99 и сл.].

² Опыт систематизации основных (включая русскую) разновидностей национализма был предложен Лией Гринфельд [46].

низм и антиинтеллектуализм» [48. С. 484]. Региональная сибирская специфика также обсуждалась ими с акцентированием традиционалистских, доподерных ценностей. Дистанцируясь от центра¹ – источника власти и контроля, они полемизировали с производимой им идеологией «освоения» якобы пустого, незаселенного сибирского пространства² и «стилистикой» доминирования – экономического, социального, культурного, символического. В соответствии с этой установкой пространство Сибири виделось им не только площадкой для развертывания смелых преобразовательских проектов, но прежде всего бесценным ресурсом природно-культурной первозданности, «последним форпостом» [39. С. 273], после уничтожения которого, как заметил Астафьев, «надо будет ложиться и добровольно помирать» [39. С. 273]. Наиболее отчетливо эту идею выразил В. Распутин:

Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Дабы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это – воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь [42. С. 8].

7

Отмеченные идеологические тенденции (неприятие партикуляристских концепций, стремление утвердить надэтническую природу территориальной идентичности) отчетливо выразились в представлениях областников о сибирской истории. Историческая концепция Потанина была проанализирована Г.И. Пелих в терминах социальной истории. Исследовательница детально проследила эволюцию воззрений Потанина на сельскую общину, генезис местной интеллигенции, удачно соотнесла доктрины сибирского областника с контекстом европейской философии (прежде всего с Просвещением и позитивизмом) [21]. Мы бы хотели сделать преимущественный акцент на культурно-психологической составляющей историзма, постараться ответить на

¹ По наблюдению А. Прохорова, в 1970-е гг. маргинальность по отношению к пустому центру советской культуры стала весьма продуктивной стратегией творческой деятельности. В связи с этим исследователь вспоминает о языковых новациях «деревенщиков» [49. С. 278–279], но дело в том, что и социокультурную маргинальность (как удаление от центра и пребывание на границе двух пространств) «деревенщики» сумели превратить в эффективную стратегию смыслопроизводства.

² Культивирование в советской прессе 1950–1960-х гг. мотивов «дикости», «заброшенности» сибирского пространства провоцировало Астафьева создать деэкзотизирующее повествование о родных местах, основанное на внутренней точке зрения: «...в тот же приезд на великую стройку (в 1957 г. – К.А., А.Р.) родилась у меня мысль написать повесть о моей Родине и родичах, дабы самонадеянным преобразователям и освоителям Сибири не казалось, что до них тут никто не жил. Жили!» [39. С. 183].

вопрос о том, зачем вообще была нужна областникам концепция сибирской самобытности – ведь ими, разработчиками тезиса о колониальном статусе края, вполне разделялась высказанная еще в 30-е гг. XIX в. первым сибирским историком П.А. Словцовым мысль: история Зауралья есть прежде всего «история <...> мер правительственных» [50. С. V–VI]¹.

Главным психологическим стимулом в концептуализации самобытной местной истории была уже знакомая нам тяга к индивидуализации, которую лидеры сибирской интеллигенции хотели реализовать на всех уровнях анализа жизни региона, и в частности на уровне оценок его прошлого и будущего. В этом пункте областники сходились с фундаментальным положением и историзма как такового (по мнению Ф. Мейнеке, «ядром историзма является замена генерализирующего способа рассмотрения исторических и человеческих сил рассмотрением индивидуализирующим» [52. С. 6]), и современного национализма XIX–XX вв. с его желанием противопоставить локальные нарративы космополитизму старых империй. По-своему истолковывая теорию народной колонизации, областники во всех переселенческих потоках, устремившихся на восток России, во всех исторически сменявших одна другую фазах освоения Сибири видели желание человека жить вдали от государственного контроля². От ближайших потомков «товарищей» Ермака до старообрядцев XVIII и XIX вв. коренные сибиряки, охотники, а затем крестьяне, «создавали поселения в темных лесах в виде раскольничьих селений и вольных слобод», демонстрируя, чем по-настоящему была «чисто народная колонизация, поддерживаемая беглыми и недовольными, искавшими приюта в наших тайгах и урманах» [53. С. 7]. В цитированных словах из ранней работы Ядринцева видно начало процесса, когда поколения переселенцев-колонистов формируют независимые от государства аграрные инфраструктуры. Здесь налицо исторический факт, но еще нет его осмысления. По мысли теоретиков областничества, такие общины должны со временем дать интеллигенцию (оставим в стороне утопизм подобного проекта), способную совершить акт этого осмысления и стать носительницей новой идентичности.

Однако и в данном случае искомая цель, равноправие центра и периферии, деколонизация последней, не могла быть достигнута сразу. Противоречие, на которое наталкивались молодые сибирские интеллектуалы, было довольно болезненным. Знаток столичной университетской среды, завсегда пetersбургских журнальных редакций, они не могли не сознавать всю культурную отсталость своей «родины». Таким образом, именно производство местной культуры, прояснение культурного лика края делалось центральным

¹ Антиромантический скепсис в отношении местной истории выражался областниками неоднократно, иногда принимая формы резкой сатиры. Приведем недавно обнаруженный пример из Потанина – ценный именно тем, что по специфике своего дарования Потанин, в отличие от Ядринцева, сатиры сторонился. «История Сибири сожжена пожарами, съедена мышами и вывезена путешественниками, в сибирских городах известны только одни *клубные истории*». [51. С. 118].

² Эта мысль вошла в идеологические построения Распутина и приобрела характерный романтико-ретроутопический колорит. Ср.: «Говоря о характере русского сибиряка, нелишне повториться, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной... В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков...» [42. С. 30]. «Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что могло произойти с человеком, за которым долго не поспедали ограничительные законы» [42. С. 40].

пунктом областнической доктрины, тигелем, в котором выплавлялось «местное самосознание». Стремление к исторической индивидуализации в конечном счете приводило к идее индивидуализации в творчестве. Заканчивая свои «Воспоминания», Потанин писал об это так:

Обидно, что все умственные силы, работающие для той огромной территории, на которой раскинута провинция, все выдающиеся умы и специалисты, литераторы, поэты, художники, музыканты, ученые, техники, все деятели науки и изобретатели – все они сосредоточены на небольшом клочке земли, все сбиты в кучу, и из этого тесного угла, лежащего на краю империи, разбрасывают свои знания по всей провинции, а сама провинция в этой благородной работе лишена возможности участвовать. Творчество, в искусстве ли, в науке ли, все равно, – самый высокий дар, которым природа облагодетельствовала человека. И из разных неравноправий, созданных злой судьбой человечества, самое обидное неравноправие – это неравенство в правах на творчество. Вот рядом с вами творцы культуры, цари жизни; вы преклоняетесь перед ними за те благодеяния, которые они вам доставили; они счастливы; они сознают свое значение для жизни, и совесть их спокойна. А вы, обитатель глухой провинции, по сравнению с ними умственный парий.

Вблизи от столицы эта обида менее чувствительна. В Нижнем Новгороде она чувствуется слабо, в Казани – несколько более, но на такой далекой окраине, как Сибирь, эта несправедливость кричит до самых небес [19. С. 302–303].

Приведенная обширная цитата позволяет вернуться к самому началу данной работы: не укоренение в косной среде локальных мифов, не ресентиментная подозрительность к центру, считающаяся Л. Гудковым сутью новейшего провинциализма [54], а попытка решительно преодолеть то и другое была центральным пунктом исторической концепции областников. Естественно, что в универсальной антитезе *природы* и *культуры* данное обстоятельство предопределило приверженность Потанина, Ядринцева и их последователей к полносу культуры, институциям, в которых она воспроизводится, и в конечном счете при всех реверансах в сторону крестьянской среды – к урбанизму [55. С. 34]¹.

8

В случае «деревенщиков» сложно говорить о сколько-нибудь единой концепции сибирской истории, но существующие разработки этой проблематики (например, очерки Распутина «Сибирь, Сибирь...») в исторической сво-

¹ О локализации раннеобластнической пропаганды исключительно в городах и ее обращенности именно к городским интеллигентам см.: [56. С. 83]. Ядринцев, например, отказывался порицать колониализм как таковой, приводя в пример опыт английский модернизации доминионов: «А за что ругать? За то, что их колонизаторские таланты создали Америку и Австралию? За то, что Новой Голландии, мысу Д. Надежды и Канаде дана конституция, за то, что в Индии они строят университет и избороздили ее железными дорогами?» (цит. по: [57. С. 317]). Потанинский антиурбанизм, как показала Г.И. Пелих, определялся не агрессивным отвержением города самого по себе (чего не было и быть не могло), а утопической надеждой увидеть развитие местной интеллигенции непосредственно из крестьянской общины в ее сибирском варианте [21. С. 77–78].

ей части во многом отмечены как раз влиянием областнических идей. А вот попытки «деревенщиков» обосновать свое видение истории Сибири и ее перспектив через обращения к *природе* и *культуре* характеризовались куда меньшей однозначностью, нежели у Ядринцева и Потанина. Идея развития местных культурных институций, которые бы помогли устранить перекося в развитии центра и периферии, поддерживалась «деревенщиками» весьма горячо. Поздно и трудно приобщавшийся к образованию Астафьев не раз сетовал на отсутствие в глубинке доступных и официальных возможностей для развития одаренного человека и впоследствии целенаправленно использовал свой авторитет для культуртрегерской деятельности в родном городе: «Я прожил на Вологодчине в уважении и почете десять плодотворных лет и на родину, домой, вернулся на “белом коне”, иначе сюда и нельзя было возвращаться (в Красноярск. – К.А., А.Р.)... <...> Мне с уже утвердившимся авторитетом удалось переменить климат и творческую дремучесть сибирского города» [39. С. 651].

Вместе с тем Распутин, осмысливая современное состояние одного из пяти областнических вопросов, обращал внимание на профанирующий характер советского образования, низкий уровень которого со временем перестал определяться только территориальной отдаленностью сибирских городов от центра. Дойдя до повсеместного рутинного воспроизводства «образованщины», университетская система, по Распутину, не выполнила своей главной функции – формировать «энергичных и качественных людей, радетелей маловозделанной земли» [42. С. 555].

Едва ли не в каждом мало-мальски звучащем сибирском городе сегодня университеты, технических и экономических вузов вдесятеро больше, чем в старые времена реальных училищ, но превратились они сначала в массовое, инкубаторного расположения, выращивание профильных специалистов, дальше профиля не способных ни взглянуть, ни понять... <...> Сибирь, только-только начинавшая в XIX веке протирать глаза на свою незадавшуюся судьбу, принявшаяся с трудом засеивать в свой народ семена гражданского и сыновьего сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад [42. С. 556].

Тем не менее ни Астафьев, ни Распутин не оставляли усилий по формированию и утверждению сибирской культурной идентичности и действовали в этом направлении в 1970–1990-е гг. очень интенсивно и многообразно: читали и редактировали присылаемые писателями-сибиряками рукописи, помогали в их публикации, рецензировали книги сибиряков, выступали с инициативами проведения разного рода региональных литературно-критических семинаров и участвовали в них, работали в качестве председателя редколлегии серии «Сибирская библиотека для детей и юношества» (Астафьев) и члена редколлегии серии «Литературные памятники Сибири» (Распутин). Невысокое качество местной культурной среды Распутин выводил из обычной для центра политики в отношении колонии: «как можно больше брать и как можно меньше давать» [58. С. 367], но предельно четко он обозначал и беспспорную для него связь между крупными экономическими проектами и развитием

культуры сибирского региона. В посвященном Транссибу очерке он напряженно увязал этот масштабный колонизационный проект с возникновением культурной инфраструктуры на территориях, где тот осуществлялся:

С выходом Транссиба в срединную часть Сибири, на вершину ее, точнее обозначились не только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, духовные, просветительские задачи. Вспомогательный «обоз», подцепленный к локомотиву, продирающемуся в глубь восточной страны, все разрастался, и чем дальше, тем больше. Дорога сама по себе, если бы она даже шла налегке, не обременяя себя дополнительными нагрузками, несла задатки широкого преобразования этого края. Загружай, что требуется, и вези без помех – даже идеи, вкусы, нравы, манеры, новые способы хозяйствования и управления. Но дорога не обошлась этим испытанным путем колонизации, не ограничилась завтрашними результатами, тем, что при перевозках составных частей жизни сама собой устроится и новая, приличествующая времени жизнь, а принялась одновременно со своим ходом укоренять то лучшее, без чего обходиться уже было невозможно. Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы [42. С. 148–149]¹.

Транссиб, по мысли Распутина, – практически идеально решенная колонизационная задача, поскольку реализация этого проекта позволила, с одной стороны, на новом уровне интегрировать Сибирь в символическое целое империи, а с другой, придала импульс развитию территориального культурного самосознания. Но постколониальный сюжет, разрабатываемый сибиряками-«деревенщиками» в 1970–1990-е годы, фиксировал не культуростроительный эффект колонизационно-модернизационных акций, а, пользуясь выражением Распутина, «природовредный» [60. С. 484]. Собственно, Распутин и Астафьев в художественной прозе запечатлели коллапс советского утилитарного освоения Сибири, которое не позволило региону сформироваться в полноценный культурный субъект и подорвало прежнюю идентификацию Сибири как пространства природной первозданности. Хотя, по мысли Распутина, продолжившего свою версию постколониального сюжета анализом последствий постсоветской колонизации Сибири, несовершенства и просчеты советского модернизационного проекта меркнут на фоне современной ресурсной политики, описываемой им в перспективе дегенерации, инволюционного движения:

Не больно радив и аккуратен был прежний хозяин, загребал он через край, с потерями не считался... Но размотать в одну жизнь сказочное богатство не мог и он, сколько бы ни усердствовал, у нас оставались надежды, что со временем дело хозяйствования и управления перейдет в более рачительные руки наследников. И вдруг оказалось, что наследство этому роду, а если без иносказаний – народу, больше не принадлежит и что его в результате хитрых и одновременно грубых махинаций захватили

¹ Взаимообусловленными в воспоминаниях Астафьева выглядят строительство и промышленное развитие Игарки в 1930-е гг. (даже с учетом того, что оно в значительной мере обеспечивалось штрафной колонизацией) и активная творческая жизнь в заполярном городе [59. С. 50–51; 39. С. 117].

проходимцы, отиравшиеся возле завещательных бумаг и сами себе устроившие распродажу общей собственности.

Не одно десятилетие Сибирь пыталась снять с себя ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей приготовлена участь мировой колонии, и со всех сторон к ней слетаются хищники, вырывающие друг у друга лакомые куски [42. С. 564].

9

Колониальные практики освоения Сибири с конца XIX столетия, т.е. с начала строительства Транссиба, и до нашего времени остро ставили проблему науки и научного знания как инструментов этого освоения. В отличие от многообразных функций науки в современном социуме с развитой образовательной инфраструктурой (от школы и больницы до университета и академии наук) колониальные условия применения науки резко акцентировали ее технократическую составляющую, а также анализировавшуюся М. Фуко связку с властью. В рамках колониальной парадигмы, в сущности, в других функциях наука не нуждалась. В этих условиях областники XIX в. оказывались в непростой ситуации. Так, Г.И. Пелих отметила парадокс в осмыслении Потаниным своей миссии как интеллектуала: с одной стороны, биография лидера областничества давала яркие, едва ли не беспрецедентные в среде коренных сибиряков примеры академической карьеры и известной всей России научной репутации. С другой стороны, с опорой на архивные материалы исследовательница продемонстрировала резкую антипатию Потанина к рациональному научному педантизму, стремление вырваться из бесплодного окружения тех, кто «убеждает нас не развивать чувство, а мысль», желание не только изучать, но «бить по сердцам» [21. С. 83]. Однако эти уже знакомые нам отголоски сентиментализма, подкрепленные закономерным интересом к Руссо [21. С. 87; 123–124], являются, на наш взгляд, не столько примерами программной «антисциентистской» установки Потанина [21. С. 83], сколько закономерными чертами националистического дискурса, создававшего свою риторику из тропов сентиментальной и романтической культур [61]. Поэтому нам кажется, что выводы Г.И. Пелих об антисциентизме Потанина слишком категоричны. Они, несомненно, открывают еще одну, но далеко не единственную, сторону потанинской идентичности как ученого и идеолога. Вместе с тем наука продолжала оставаться одним из ключевых компонентов в фундаменте этой идентичности.

Вспоминая становление своего «патриотизма», превращение его из смутно сознаваемых «инстинктов» и партикуляризма казачьей общины в общесибирскую идентичность, Потанин прежде всего говорит о последовательных этапах овладения книжным знанием. Книга и формирование сообщества единомышленников становятся ступенями к новому самосознанию, ступенями, впрочем, типичными для интеллектуалов пореформенного времени. «В Омске я нашел и людей и книги. <...> Перемена политических убеждений, превращение в либерала и сторонника реформ, совершившееся под влиянием омских знакомств и чтения прогрессивных журналов, видоизменило мои мечты о моей будущей миссии. Мой казачий патриотизм охладел, я превра-

тился в сибирского патриота» [19. С. 80; 83]. Пропущенный фрагмент цитаты содержит обширные перечни актуальной для конца 1850-х гг. литературы – от изящной словесности до радикальных журналов, которые Потанин с друзьями «хватали» «с жадностью».

Извлекая из «Воспоминаний» Потанина нужные нам идеи, отметим замечательную черту самого этого жизненного документа, особенность его построения. Значительные по своему масштабу разделы посвящены в нем истории научной карьеры автора. В областниковедении нередко говорится, что побег в «чистую» науку был своего рода эмиграцией Потанина из политики и общественной жизни [10. С. 13; 56. С. 126, 165]. В чем-то такое восприятие своих азиатских экспедиций инспирировал сам Потанин, увидевший «прирожденного журналиста», который «пойдет во главе сибирского движения», в Ядринцеве, а себе оставивший скромное предназначение «сделаться только его помощником» [19. С. 119]. Между тем потанинский сциентизм – крайне важная сторона и его личности, и всего того контекста, к которому он принадлежал. Объемные и увлекательные рассказы об ученых, с которыми судьба свела Потанина, стилистически, а подчас и идеологически примыкают к его же «областнической тенденции». Ср., например, слова об орнитологе Н.А. Северцеве. «Бюрократические ступени были ему как будто неизвестны; он читал только Дарвина и равных ему великанов науки. Для него как будто не существовало русского государства; он видел перед собой только пространство, населенное жучками, бабочками, птицами и пр. Это был редкий в России пример человека, которого наука сделала свободным от раболепия русских подданных...» [19. С. 181]. Любопытно, как в цитированном фрагменте «знание» сознательно отделено от «власти».

Так или иначе, потанинская позиция, характеризовавшаяся бóльшим динамизмом и гораздо меньшей однозначностью, чем радикальные воззрения Ядринцева, содержавшая в своем составе приверженность концептам «чувства» и «инстинкта», позволяет, как кажется, видеть в ней немало общего с будущей экологической программой «деревенщиков».

10

Тем не менее ни сциентизм, ни сознательную ориентацию на «эмпирическое» изучение родного края «деревенщики» от своих предшественников, воспитанных в лоне позитивистской традиции, не переняли. Напротив, романтический пафос их патриотизма закономерно подкреплялся унаследованными характеристиками (в терминах П. Бурдьё – «габитусом») выходцев из крестьянства, для которых практики непосредственного общения с природой и животным миром, входившие в представления о крестьянском навыке «приспособления» к местной экосистеме, значили столь же много, как научное изучение региональных истории или географии. Более того, полемическое противопоставление «практического», или, по Дж. Скотту [62. С. 24], «местного» знания, наработанного крестьянской средой, абстрактному, специфицированному (и в этом смысле узкому), оторванному от реальности научному знанию, которое обслуживает губительные концепции «авторитарного социального планирования» [62. С. 308] (от коллективизации до проекта

переброски северных рек), в 1980–1990-е гг. определяло своеобразный анти-сциентистский пафос экологической публицистики «деревенщиков».

Актуализация социального опыта крестьянской среды, включая «артельность» как антитезу атомизации и анонимности индивида в городском сообществе, придание этому опыту универсальной культурной значимости весьма характерны для позднесоветского «неопочвенничества» в целом и «деревенщиков» в частности. Последние и представляли «почву» – «простонародную» основу нации, определявшую себя, среди прочего, и через противопоставление прогрессистски и прозападно настроенным интеллектуалам.

В этом смысле областники (особенно Ядринцев) на диахроническом срезе инициированного Чаадаевым конфликта западников и почвенников оказываются оппонентами «деревенщиков». Известны слова Потанина о Ядринцеве: «Это был человек, всецело охваченный мечтою о лучшем будущем Сибири, – о великом будущем, как он любил говорить, – искренно желавший послужить для осуществления этой мечты; западник, воспитавшийся на Белинском, Герцене и Чернышевском, с жадностью впитавший в себя идеи Запада, преклонившийся перед западной культурой и ставивший целью своей жизни пересадку европейских форм жизни на русский восток, прививку европейских идей сибирским умам» [38. С. 72]. Показательно, что и «общинные» симпатии областников, принципиальный вопрос их историософии, почерпнутый не только из актуальной политической повестки дня 50–60-х гг. XIX в., но и из трудов Прудона [10. С. 39], включали в себя обязательное формирование интеллигентного слоя словно «на плечах» сельской общины [21. С. 38–41].

11

Расхождение двух поколений представителей сибирской идентичности проявилось также в таком важнейшем пункте, как отношение к государству. Мы не будем здесь вставать на торную дорогу спекуляций о сепаратизме Потанина, Ядринцева и их единомышленников в 60-е гг. XIX в. Ни деятельности, направленной на настоящее территориально-правовое отделение Сибири от России, ни устойчивости дискурса сецессии в интервале от 60-х гг. XIX в. до эпохи революций, ни упорства в выработке «своих» «аутентичных» языка и культуры, ни типичного для национализма мифологического «застаривания» сибирской «нации» – ничего этого областническая теория и практика в себе не содержали. Ключевые требования уложились, как известно, во вполне рациональный перечень из культурно-образовательного подъема области, распространения на ее территорию всех преобразований времени Великих реформ, ликвидации экономического неравенства, защиты инородцев, решения проблемы каторги и ссылки. Речь пойдет о другом: о принципах самого диалога с центральной властью, о восприятии ее либо в качестве харизматического источника учреждения всеобщего порядка (безотносительно к тому, хорош этот источник в настоящий момент или плох), либо в качестве рациональной институции (опять-таки безотносительно к тому, хороша она или плоха, успешна или нет).

Потанин подчеркивал, что областническая программа в своих главных экономических и культурных составляющих была адресована не столько

центральной власти, сколько Европейской России как таковой. «Главное отличие Ядринцева от предшественников-патриотов заключается в том, что он оппонировал не правительству, а русскому обществу; он противопоставлял не интересы русского общества интересам правительства, а интересы сибирского общества интересам Европейской России, интересы колонии – интересам метрополии» [19. С. 158]. Учитывая то, что антимонархическими взглядами Потанин проникся еще при жизни Николая I [19. С. 120], можно сказать, что социальная ментальность лидера областничества была ориентирована на горизонтальные связи, обретающие свой законченный вид в разных сообществах, трансформациях аграрной общины. Напротив того, «вертикальное», иерархическое, а в новых социальных условиях – классовое восприятие общественного устройства было областникам чуждо. В частности, это обстоятельство обусловило классический для сибирской истории рубежа XIX–XX вв. конфликт областнической интеллигенции с политической ссылкой, когда, по словам Потанина, «Ядринцев желал подрастающее молодое поколение воспитать сибирскими патриотами, которые бы служили интересам окраины, а его противники вербовали в этой среде тружеников для оппозиционной работы в центре» [38. С. 62].

«Деревенщики», несмотря на поэтизацию «гемайншафтных» связей, оказались более привержены сословно-иерархическому восприятию социума, согласно которому власть, идеологи и агенты модернизации взирают на «управляемые» слои населения как на объект, подлежащий, по выражению Дж. Скотта, «социальной перепланировке» [62. С. 293], а «подчиненные» сопротивляются, уклоняются либо смиряются. С этой точки зрения позиции *власти* и *народа* отмечены явной ролевой асимметричностью, а социальная коммуникация между ними по большей части фиктивна. В связи с этим уместно сослаться на сюжет, включенный в книгу В.Г. Распутина «Сибирь, Сибирь...». Вспоминая свои диалоги с министерскими чиновниками по поводу Байкала, писатель точно подметил: «Мы продолжаем говорить на разных языках» [42. С. 325]. Между тем любопытной особенностью этой ситуации является то, что правомочным собеседником в бессмысленном в конечном счете диалоге Распутиным продолжает видеться почти исключительно власть. Перед нами вполне архаичный социальный феномен, анализировавшийся социологами и фольклористами, подметившими, в частности, что герой русского лубка, бунтуя против власти, источник прощения и религиозности видит, в отличие от героя западных сюжетов массовой авантюрной словесности, в той же самой власти [63. Р. 169–171 et passim]. Эта же тенденция, проявившаяся в фольклорных союзах отщепенца и царя, была в свое время подмечена русскими семиотиками [64. С. 458].

Примечательна в этой связи биография героя распутинского цикла «Сибирь, Сибирь...» Н.П. Смирнова, поселившегося отшельником на гидрологическом посту в южной части Телецкого озера на Алтае. Вектор своей биографии он характерным образом прочертил от центра, власти и социальности к природной периферии. «Жизнь повел со столиц, сначала в Петербурге, потом учился на рабфаке в Москве, квартировал в одной комнате общежития со старшим братом недавно всесильного члена Политбюро М.А. Сулова – Павлом» [42. С. 224]. Когда над алтайским заповедником нависла угроза («в

1967 г. <...> заповедник был закрыт и за правобережье взялись лесорубы»), Смирнов примечательно не протестует собственно *против* власти, а в соответствии с неписаными правилами русского авторитаризма, «грамматикой» его иерархий конвертирует энергию своего несогласия, по существу, в жанр челобитной. Он «<...> не вытерпел и написал Сулову, напоминая о себе, спрашивая о брате, но самое главное – прося за заповедник. <...> На следующий год заповедник вернули» [42. С. 224].

Тем не менее сводить взаимодействие власти и народа у «деревенщиков» исключительно к «репрессивной» модели было бы ненужным упрощением, поскольку коммуникация между двумя этими культурно-политическими субъектами описывается Распутиным, Астафьевым и др. также посредством традиционной метафоры родства: прежде всего асимметричных в своей заведомой неравноправности отцовско-сыновних отношений. Размышляя о сворачивании колониционных инициатив в Сибири, Распутин замечает: «И как-то сами собой заглохают и меркнут, теряют свое значение слова: сын земли, радетель, экономя... Видимо, людское сыновство неотделимо и невозможно без государственного отцовства» [42. С. 567]. Иначе говоря, в сознании «деревенщиков», особенно Распутина, образ государства оказывается внутренне непоправимо расщеплен: от гнета государства русский мужик бежит в Сибирь, однако позднее под патронатом государства осуществляются проекты развития этой территории (тот же Транссиб); декларирующие необходимость соблюдать «государственную пользу» министерства и ведомства разоряют сибирские природные богатства, но наличие «окормляющей» воли государства способствует символическому собиранию огромных пространств и их населения¹. Так или иначе, вне символического контура власти (недаром одно из поздних распутинских определений патриотизма – «система *государственно-охранительных* взглядов» [65. С. 235]) пространство для социальной самоорганизации у героев Распутина, равно как и у автобиографического повествователя, уже «в молодости» искавшего «одиночества» [66. С. 522], узко и ограничено.

Парадоксально, но именно в экологической публицистике «деревенщиков» второй половины 1980-х – начала 1990-х гг., которая начинается с осмысления региональных природоохранных проблем, перерастая со временем в критику государственной политики природопользования и становясь одним из воплощений позднесоветского «гражданского активизма»², обнаруживается, наряду с властью, еще один адресат – «общественность», наиболее активная часть социума. Казалось, экологическое движение в сочетании с социально-политическими переменами рубежа 1980–1990-х гг. благоприятствова-

¹ 1990-е гг. столь яростно порицаются Распутиным не в последнюю очередь оттого, что в условиях ослабления государственных институтов патерналистские обязанности, прежде ими выполнявшиеся, аннулируются, «народ» оказывается без опеки. «Одичание, – полагал писатель, – <...> шло не из окраин, а оттуда, из центра ослепительной эпохи “перестройки”, принесшей Сибири, как и России в целом, неисчислимые бедствия. <...> ...Бросили, обезлюднили и остудили опять побережье Ледовитого океана, которое, если уж быть справедливым к прошлому, в советское время осваивалось, обогревалось и оживлялось по всей его необъятности с особой и безупречной заботой. Не придерешься. Не бывало и быть не могло случая, чтобы в эти районы не завезли на зиму топливо и продовольствие и оставили людей наедине с жестокой полярной ночью» [42. С. 567, 570].

² Под этим углом зрения экологическое движение в СССР рассмотрено в работах [67, 68].

ли кристаллизации территориально-региональных идентичностей, но «деревенщички» открывшейся тогда возможностью сформулировать «неообластническую» доктрину не воспользовались, отчасти именно потому, что коммуникативная модель *власть – народ* оказалась для них привычнее, нежели понимание «общества» как сложно устроенной системы, работающей на принципах согласования интересов его групп и слоев. Условный социум, которому они адресовали свои размышления, ими почти не дифференцировался – «деревенщички» обращались к «народу» вообще, оттого антиколониальные обертоны их выступлений читались не столько в аспекте противостояния метрополии и колонии, сколько как выражение традиционной «внутреннеколониальной» коллизии *власти и народа*. В ее рамках «чисто территориальная» «идея» областничества, которую утверждал Потанин, менялась рефлексией о вековом антагонизме «элиты» и «мужика».

Литература

1. Кустарев А.С. После понижения в должности – Британия, Франция, Россия // Наследие империй и будущее России / под ред. А.И. Миллера. М., 2008. С. 214–215.
2. Эткин А., Уффельман Д., Кукулин И. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / под ред. А. Эткина, Д. Уффельмана, И. Кукулина. М., 2012. С. 6–50.
3. Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX в.: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.
4. Бассин М. Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет. М., 2005. С. 277–310.
5. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 712–729.
6. Тюпа В.И. Сибирский интертекст русской литературы // Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006. С. 254–264.
7. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. Т. 5. Л., 1989.
8. Гайдук В.К. Творчество А.П. Чехова и Сибирь // Литература и фольклор Восточной Сибири. Иркутск, 1978. С. 3–17.
9. Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. Т. 1.
10. Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004.
11. Макарова Е.А. Сибирь Чехова и Сибирь о Чехове: к проблеме диалога русско-европейского и регионального сознания // Чехов и время / ред. Е.Г. Новикова. Томск, 2011. С. 261–279.
12. Добродушный сибиряк (Н.М. Ядринцев). Вдоль да по Сибири // Восточное обозрение. 1890. №. 37. 16 сент. С. 7–9.
13. Неисправимый резонер (Н.М. Ядринцев). В столичной прессе о Сибири // Восточное обозрение. 1890. №. 40. 7 окт. С. 8–9.
14. Чехов А.П. Из Сибири // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения. Т. 14–15. М., 1978. С. 5–38.
15. Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: антология. М., 1993. С. 5–44.
16. Тюпа В.И. Модернизм // Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. Т. 1. С. 100–104.
17. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
18. Репан Е. What is a Nation? // Nation and Narration / ed. by Homi Bhabha. London; New York, 1994. P. 8–22.
19. Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6.

20. Чмыхало Б.А. Нравственные аспекты «крестьянской темы» в областнической критике конца XIX в. // Проблемы нравственно-психологического содержания в литературе и фольклоре Сибири. Иркутск, 1986. С. 118–125.
21. Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 2006.
22. Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.
23. Ремнев А.В. Национальность «сибиряк»: Региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 109–128.
24. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
25. Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
26. Brudny Y.M. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 1998.
27. Огден Дж. А. Сибирь как хронотоп: создание Валентином Распутиным «пригодного» прошлого в «Сибирь, Сибирь...» // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 647–664.
28. Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. С. 291–315.
29. Смокотина Л.И. «Концентрическое родиноведение» как органическая часть культурологических разработок Г.Н. Потанина // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2008. Вып. 2 (76). С. 30–31.
30. Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о настоятельной потребности введения предмета «родиноведение» в учебные программы российских народных школ в конце XIX – начале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2008. № 3 (4). С. 96–99.
31. Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о целесообразности родиноведения в развитии русско-монгольской торговли в конце XIX – начале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2011. № 2 (14). С. 49–53.
32. Авесов (Г.Н. Потанин). Областной вопрос в русской печати в 1885 г. // Восточное обозрение. 1886. № 1. С. 9–10.
33. Потанин Г.Н. «Возрождение России и министерство народного просвещения» / публ. и коммент. К.В. Анисимова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2004. № 282. Сер. Философия. Культурология. Филология. С. 300–307.
34. Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.
35. Дело об отделении Сибири от России / публ. А.Т. Топчия, Р.А. Топчия; сост. Н.В. Себреников. Томск, 2002.
36. Малинов А.В. Сибирский земляческий кружок в Петербурге – первая организация сибирских областников // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 116–139.
37. Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.
38. Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 35–139.
39. Астафьев В.П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.
40. Распутин В.Г. Откуда есть-пошли мои книги // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 501–512.
41. Астафьев В.П. Пришлая // Астафьев В.П. Собр. соч.: в 15 т. Красноярск, 1997. Т. 11. С. 422–427.
42. Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь... Иркутск, 2006.
43. Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.
44. Плеханова И.И. «Философия чувств» в прозе В. Распутина // Поэтика писателя и литературный процесс. Тюмень, 1988. С. 134–140.
45. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 т. М., 2006. Т. 2.
46. Greenfeld L. Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard, 1992.
47. Гудков Л.Д. Негативная идентичность. М., 2004.
48. Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М., 2011. С. 477–532.

49. Прохоров А. Унаследованный дискурс: Парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб., 2007.
50. Словоцв П.А. Историческое обозрение Сибири: в 2 кн. СПб., 1886. Кн. 2.
51. Потанин Г.Н. Родиноведение / Публ. И.Ф. Юшина, вступ. ст. и коммент. Н.В. Серебrenникова // Литература Урала: история и современность. Вып. 4: Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург, 2008. С. 116–122.
52. Мейнке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.
53. Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов. Красноярск, 1919.
54. Гудков Л. Амбиции и ресентимент идеологического провинциализма // Новое литературное обозрение. 1998. № 3 (31). С. 353–371.
55. Головинов А.В. Идеологи областничества о роли интеллигенции в развитии русской провинциальной культуры // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 32–40
56. Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: биогр. очерк. Новосибирск, 2004.
57. Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.
58. Распутин В.Г. Откуда они в Иркутске?: Предисловие к книге А.Д. Фатьянова «Иркутские сокровища» // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 362–371.
59. Астафьев В.П. Родной голос // Астафьев В.П. Собр. соч.: в 15 т. Т. 12. Красноярск, 1998. С. 49–60.
60. Распутин В.Г. Вопросы, вопросы... // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 477–500.
61. Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91 (3). С. 114–140.
62. Скотт Дж. Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., 2005.
63. Brooks J. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1988.
64. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 446–600.
65. Распутин В.Г. «Так создадим же течение встречное...»: Выступление на съезде Русского Национального Собора // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 232–241.
66. Распутин В.Г. Байкал предо мною // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 515–525.
67. Weiner D.A Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley, LA; London, 1999.
68. Яницкий О.А. Длинные 1970-е: гражданское общество тогда и сейчас // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html> (ссылка проверена 10.11. 2013).

Anisimov Kirill V., Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation), Разуvalova Anna I., Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences – Pushkin House (Saint-Petersburg, Russian Federation). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru / rai-2004@yandex.ru
TWO CENTURIES – TWO VERSIONS OF THE SIBERIAN TEXT: REGIONALISTS VS. "VILLAGE-PROSE WRITERS". DOI 10.17223/19986645/27/7

Keywords: G.N. Potanin, N.M. Yadrinsev, V.G. Rasputin, V.P. Astafiev, regionalism, "village prose", traditionalism in literature, literature and ethnicity, power, science.

In the article the authors present a new approach to the Siberian text of Russian literature, which is analysed in the perspective of the two most prominent intellectual and aesthetic movements produced by the Siberian cultural milieu in the second half of the 19th and in the 20th centuries – the group of Siberian regionalists and the generation of village-prose writers. Despite the traditional apprehensions

of the Siberian text as an archetypal motif ensemble rooted in archaic initiation rituals (works by Yu. Lotman and V. Tyupa), the authors of the given article attract attention to the communicative ability of the territorial text as its constitutive part. The shift of the viewpoint, based on the concrete material (see, for instance, Yadrintsev's insults against first Chekhov's travelogue notes from Siberia), led to the widening of the spectrum of questions and problems, which now became accessible for the scholar. The strengthening of the dialogue and ideology influences, which in turn were the results of the fundamental transition from classical to non-classical forms of poetics at the turn of the centuries, articulated the previously unexpressed components in the Siberian text structure, e.g., ethnicity, science, power, history. Having been produced by the communities of writers and journalists these very concepts asserted their influence over dominating at the given time type of the local identity.

In the course of analysis a number of basic ideological and mental constructs which indicated similarities and differences between the two major cultural projects of Siberian intelligentsia were revealed. Being observed from the viewpoints of ethnicity, science, history and power, both compared versions of the Siberian text and regional identity demonstrated complex relationships of mutual attraction and distinction. The comparison of intellectual, positivistic, individualistic and modern in the general nature of regionalists' self-consciousness encountered with the peasant-collectivistic ethos entwined with the romantic national sentiment of the village-prose writers allowed to scrutinize different artistic and conceptual "transcriptions" of inherent Siberian social themes, e.g., the aborigines' life, the raw-materials tilt in the economic development, the dialogue with the centre of the state.

References

1. *Kustarev A.S.* Posle ponizheniya v dolzhnosti – Britaniya, Frantsiya, Rossiya // *Nasledie imperiy i budushchee Rossii / pod red. A.I. Millera. M., 2008. S. 214–215.*
2. *Etkind A., Uffel'man D., Kukulina I.* Vnutrennyaya kolonizatsiya Rossii: mezhdru praktikoy i voobrazheniem // *Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / pod red. A. Etkinda, D. Uffel'mana, I. Kukulina. M., 2012. S. 6–50.*
3. *Anisimov K.V.* Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX v.: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noy literaturnoy traditsii. Tomsk, 2005.
4. *Bassin M.* Rossiya mezhdru Evropoy i Azией: Ideologicheskoe konstruirovaniye geograficheskogo prostranstva // *Rossiyskaya imperiya v zarubezhnoy istoriografii: Raboty poslednikh let. M., 2005. S. 277–310.*
5. *Lotman Yu.M.* Syuzhetnoye prostranstvo russkogo romana XIX stoletiya // *Lotman Yu.M. O russkoy literature. SPb., 1997. S. 712–729.*
6. *Tyupa V.I.* Sibirskiy intertekst russkoy literatury // *Tyupa V.I. Analiz khudozhestvennogo teksta. M., 2006. S. 254–264.*
7. *Dostoevskiy F.M.* Prestupleniye i nakazaniye // *Dostoevskiy F.M. Sobr. soch.: v 15 t. T. 5. L., 1989.*
8. *Gayduk V.K.* Tvorchestvo A.P. Chekhova i Sibir' // *Literatura i fol'klor Vostochnoy Sibiri. Irkutsk, 1978. S. 3–17.*
9. *Ocherki russkoy literatury Sibiri. Novosibirsk, 1982. T. 1.*
10. *Serebrennikov N.V.* Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury. Tomsk, 2004.
11. *Makarova E.A.* Sibir' Chekhova i Sibir' o Chekhove: k probleme dialoga russko-evropeyskogo i regional'nogo soznaniya // *Chekhov i vremya / red. E.G. Novikova. Tomsk, 2011. S. 261–279.*
12. *Dobrodushnyy sibiryak (N.M. Yadrintsev). Vdol' da po Sibiri // Vostochnoye obozreniye. 1890. №. 37. 16 sent. S. 7–9.*
13. *Neispravimyy rezoner (N.M. Yadrintsev). V stolichnoy presse o Sibiri // Vostochnoye obozreniye. 1890. №. 40. 7 okt. S. 8–9.*
14. *Chekhov A.P. Iz Sibiri // Chekhov A.P. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Sochineniya. T. 14–15. M., 1978. S. 5–38.*
15. *Gasparov M.L.* Poetika «serebryanogo veka» // *Russkaya poeziya «serebryanogo veka», 1890–1917: antologiya. M., 1993. S. 5–44.*
16. *Tyupa V.I.* Modernizm // *Teoriya literatury: v 2 t. / pod red. N.D. Tamarchenko. M., 2004. T. 1. S. 100–104.*
17. *Anderson B.* Voobrazhaemye soobshchestva: Razmyshleniya ob istokakh i rasprostraneniye natsionalizma. M., 2001.

18. *Renan E.* What is a Nation? // *Nation and Narration* / ed. by Homi Bhabha. London; New York, 1994. P. 8–22.
19. *Potantin G.N.* Vospominaniya // *Literaturnoe nasledstvo Sibiri*. Novosibirsk, 1983. T. 6.
20. *Chmykhalo B.A.* Nравstvennyye aspekty «krest'yanskoj teme» v oblastnicheskoy kritike kontsa XIX v. // *Problemy нравstvenno-psikhologicheskogo soderzhaniya v literature i fol'klore Sibiri*. Irkutsk, 1986. S. 118–125.
21. *Pelikh G.I.* Istoricheskaya kontsepsiya G.N. Potanina. Tomsk, 2006.
22. *Miller A.* Imperiya Romanovykh i natsionalizm: Esse po metodologii istoricheskogo issledovaniya. M., 2006.
23. *Remnev A.V.* Natsional'nost' «sibiryak»: Regional'naya identichnost' i istoricheskiy konstruktivizm XIX v. // *Politiya*. 2011. № 3 (62). S. 109–128.
24. *Gellner E.* Natsii i natsionalizm. M., 1991.
25. *Martin T.* Imperiya «polozhitel'noy deyatelnosti»: Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923–1939. M., 2011.
26. *Brudny Y.M.* Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 1998.
27. *Ogden Dz. A.* Sibir' kak khronotop: sozdanie Valentinom Rasputinym «prigodnogo» proshlogo v «Sibir', Sibir'...» // *Ab Imperio*. 2004. № 2. S. 647–664.
28. *Yadrintsev N.M.* Sibirskie literaturnye vospominaniya // *Literaturnoe nasledstvo Sibiri*. Novosibirsk, 1979. T. 4. S. 291–315.
29. *Smokotina L.I.* «Kontsentricheskoe rodinovedenie» kak organicheskaya chast' kul'turologicheskikh razrabotok G.N. Potanina // *Vestn. Tom. gos. ped. un-ta*. 2008. Vyp. 2 (76). S. 30–31.
30. *Smokotina L.I.* G.N. Potanin o nastoyatel'noy potrebnosti vvedeniya predmeta «rodivovedenie» v uchebnye programmy rossiyskikh narodnykh shkol v kontse XIX – nachale XX v. // *Vestn. Tom. gos. un-ta. Istoriya*. 2008. № 3 (4). S. 96–99.
31. *Smokotina L.I.* G.N. Potanin o tselesoobraznosti rodivovedeniya v razvitii russko-mongol'skoy trgovli v kontse XIX – nachale XX v. // *Vestn. Tom. gos. un-ta. Istoriya*. 2011. № 2 (14). S. 49–53.
32. *Avesov (G.N. Potanin).* Oblastnoy vopros v russkoy pechati v 1885 g. // *Vostochnoe obozrenie*. 1886. № 1. S. 9–10.
33. *Potantin G.N.* «Vozrozhdenie Rossii i ministerstvo narodnogo prosveshcheniya» / publ. i komment. K.V. Anisimova // *Vestn. Tom. gos. un-ta*. 2004. № 282. Ser. Filosofiya. Kul'turologiya. Filologiya. S. 300–307.
34. *Miller A.I.* «Ukrainskiy vopros» v politike vlastey i russkom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX v.). SPb., 2000.
35. *Delo ob otdelenii Sibiri ot Rossii* / publ. A.T. Topchiya, R.A. Topchiya; Sost. N.V. Serebrennikov. Tomsk, 2002.
36. *Malinov A.V.* Sibirskiy zemlyacheskiy kruzhok v Peterburge – pervaya organizatsiya sibirskikh oblastnikov // *Oblastnicheskaya tendentsiya v russkoy filosofskoy i obshchestvennoy mysli: K 150-letiyu sibirskogo oblastnichestva*. SPb., 2010. S. 116–139.
37. *Potantin G.N.* Oblastnicheskaya tendentsiya v Sibiri. Tomsk, 1907.
38. *Potantin G.N.* Vospominaniya // *Literaturnoe nasledstvo Sibiri*. Novosibirsk, 1986. T. 7. S. 35–139.
39. *Astaf'ev V.P.* Net mne otveta... Epistolyarnyy dnevnik 1952–2001. Irkutsk, 2009.
40. *Rasputin V.G.* Otkuda est'-poshli moi knigi // *Rasputin V.G.* V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse. Irkutsk, 2007. S. 501–512.
41. *Astaf'ev V.P.* Prishlaya // *Astaf'ev V.P.* Sobr. soch.: v 15 t. Krasnoyarsk, 1997. T. 11. S. 422–427.
42. *Rasputin V.G.* Sibir', Sibir'... Irkutsk, 2006.
43. *Slezkin Yu.* Arkticheskie zerkala: Rossiya i malye narody Severa. M., 2008.
44. *Plekhanova I.I.* «Filosofiya chuvstv» v proze V. Rasputina // *Poetika pisatelya i literaturnyy protsess*. Tyumen', 1988. S. 134–140.
45. *Leyderman N.L., Lipovetskiy M.N.* Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-e gody: v 2 t. M., 2006. T. 2.
46. *Greenfeld L.* Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard, 1992.
47. *Gudkov L.D.* Negativnaya identichnost'. M., 2004.

48. *Lipovetskiy M., Berg M.* Mutatsii sovetskosti i sud'ba sovetskogo liberalizma v literaturnoy kritike semidesyatykh: 1970–1985 // *Istoriya russkoy literaturnoy kritiki: sovetskaya i postsovetskaya epokhi / pod red. E. Dobrenko, G. Tikhanova.* M., 2011. S. 477–532.
49. *Prokhorov A.* Unasledovannyi diskurs: Paradigmy stalinskoy kul'tury v literature i kinematografe «ottepeli». SPb., 2007.
50. *Slovtsov P.A.* Istoricheskoe obozrenie Sibiri: v 2 kn. SPb., 1886. Kn. 2.
51. *Potinin G.N.* Rodinovedenie / Publ. I.F. Yushina, vstup. st. i komment. N.V. Serebrennikova // *Literatura Urala: istoriya i sovremennost'. Vyp. 4: Lokal'nye teksty i tipy regional'nykh narrativov.* Ekaterinburg, 2008. S. 116–122.
52. *Meyneke F.* Vozniknovenie istorizma. M., 2004.
53. *Yadrintsev N.M.* Sbornik izbrannykh statey, stikhotvorenij i fel'etonov. Krasnoyarsk, 1919.
54. *Gudkov L.* Ambitsii i resentiment ideologicheskogo provintsializma // *Novoe literaturnoe obozrenie.* 1998. № 3 (31). S. 353–371.
55. *Golovinov A.V.* Ideologi oblastnichestva o roli intelligentsii v razvitiy russkoy provintsial'noy kul'tury // *Oblastnicheskaya tendentsiya v russkoy filosofskoy i obshchestvennoy mysli: K 150-letiyu sibirskogo oblastnichestva.* SPb., 2010. S. 32–40
56. *Shilovskiy M.V.* «Polneyshaya samootverzhennaya predannost' nauke». G.N. Potanin: biogr. ocherk. Novosibirsk, 2004.
57. *Sibir' v sostave Rossiyskoy imperii.* M., 2007.
58. *Rasputin V.G.* Otkuda oni v Irkutske?: Predislovie k knige A.D. Fat'yanova «Irkutskie sokrovishcha» // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 362–371.
59. *Astaf'ev V.P.* Rodnoy golos // *Astaf'ev V.P. Sobr. soch.:* v 15 t. T. 12. Krasnoyarsk, 1998. S. 49–60.
60. *Rasputin V.G.* Voprosy, voprosy... // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 477–500.
61. *Zhivov V.M.* Chuvstvitel'nyy natsionalizm: Karamzin, Rostopchin, natsional'nyy suverenitet i poiski natsional'noy identichnosti // *Novoe literaturnoe obozrenie.* 2008. № 91 (3). S. 114–140.
62. *Skott Dzh.* Blagimi namereniyami gosudarstva: Pochemu i kak provalivalis' proekty uluchsheniya uslovy chelovecheskoy zhizni. M., 2005.
63. *Brooks J.* When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1988.
64. *Lotman Yu.M., Uspenskiy B.A.* Spory o yazyke v nachale XIX veka kak fakt russkoy kul'tury: («Proisshestvie v tsarstve teney, ili Sud'bina rossiyskogo yazyka» – neizvestnoe sochinenie Semena Bobrova) // *Lotman Yu.M. Istoriya i tipologiya russkoy kul'tury.* SPb., 2002. S. 446–600.
65. *Rasputin V.G.* «Tak sozdamim zhe techenie vstrechnoe...»: Vystuplenie na s'ezde Russkogo Natsional'nogo Sobora // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 232–241.
66. *Rasputin V.G.* Baykal predo mnoyu // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 515–525.
67. *Weiner D.A.* Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley, LA; London, 1999.
68. *Yanitskiy O.A.* Dlinnye 1970-e: grazhdanskoe obshchestvo togda i seychas // *Neprikosnovennyi zapas.* 2007. № 2 (52). Rezhim dostupa: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html> (ssylka proverena 10.11. 2013).

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/19986645/27/8

В.С. Киселев, Т.А. Васильева

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА УКРАИНЫ В ИМПЕРСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: РЕГИОНАЛИЗМ, ЭТНОГРАФИЗМ, ПОЛИТИЗАЦИЯ (СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. «МЕЖДУ ПОЛЬШЕЙ И РОССИЕЙ»)

В статье рассматриваются особенности трансформации образа Украины в русской словесности первой четверти XIX в. (возрождение казацкой тематики, превращение польских реалий в устойчивый элемент местного колорита, актуализация вопроса «инаковости» малороссийского пространства и т.д.), явившиеся результатом вхождения Правобережной Украины в состав Российской империи в ходе разделов Речи Посполитой 1792 и 1795 гг. и сопутствующих этому последствий историко-политического и социокультурного характера.

Ключевые слова: русская литература, украинская литература, «польский вопрос», образ Украины, национализм, регионализм, этнографизм.

I

На рубеже XVIII и XIX вв. успешная интеграция Малороссии в социально-политическое и культурное пространство империи оказалась существенно проблематизирована новыми обстоятельствами – присоединением Правобережной Украины в ходе разделов Речи Посполитой 1792 и 1795 гг. Тем самым Левобережная Украина, прежний рубеж Российской империи, превратилась во внутреннюю область, что усиливало объединяющие связи и делало эфемерной надежду на восстановление автономии. Но, с другой стороны, Малороссия теперь должна была выполнять роль культурно-политического посредника, своеобразного буфера в отношениях империи с еще не ассимилированным и, более того, сопротивляющимся русификации населением. Так, вроде бы уже снятый «украинский вопрос» соединился с «польским вопросом» и вызвал к жизни целый ряд новых проблем, существенно сказавшихся на образе Малороссии.

Прежде всего, это была проблема польского наследия в истории, социально-политической организации, культуре. Его оценка и характеристика находились в тесной зависимости от двух конкурирующих идеологий – имперской и польской, вступивших в своеобразную борьбу за Украину. Суть их обозначилась уже в ходе разделов Речи Посполитой, где Екатерина II явилась в роли защитницы православного населения (диссидентов) и апеллировала к единству украинских и русских земель со времен Древнего Киева: «<...> ни одной пяди земли “древней”, настоящей Польши не взяла и не хотела приобрести <...>. России <...> населенные поляками земли не нужны» (цит. по:

[1. Ч. 1. С. 19–20)]¹. Акт аннексии воспринимался в подобном контексте как восстановление исторической справедливости и, более того, как своеобразная месть за польскую интервенцию Смутного времени. Эти мотивы были развиты в том числе и в многочисленных одах, посвященных разгрому восстания Т. Костюшко и взятию Варшавы А.В. Суворовым («На взятие Варшавы» Г.Р. Державина, «Солдатская песнь на взятие Варшавы» Н.А. Львова, «Эпистола на взятие Варшавы» Е.И. Кострова, «Пеан, или Песнь на победы <...> над мятежниками польскими <...>» Г.Р. Рубана, «Ода на покорение Польши» А.С. Шишкова, «Глас патриота на взятие Варшавы» И.И. Дмитриева и т. д.)².

Канонический вид «польскому» идеологическому комплексу (древнее единство, конфессиональная и этническая общность, воздаяние за интервенцию) придал Н.М. Карамзин в «Историческом похвальном слове Екатерине Великой» (1802), где нарисовал образ деградирующей от анархического республиканства Речи Посполитой и противопоставил ей мощную государственность России, правомочного владельца незаконно отторгнутых («давно ли она, пользуясь его (Российского государства) изнеможением, хищною рукою хватала в свое подданство целые княжества российские?») [5. С. 290]), находящиеся в небрежении и, более того, дискриминируемых украинско-литовских земель: «Монархия взяла в Польше только древнее наше достоинство, и когда уже слабый дух ветхой республики не мог управлять ее странством. <...> Полотск и Могилев возвратились в недра своего отечества, подобно детям, которые, быв долго в горестном отсутствии, с радостью возвращаются в недра счастливого родительского семейства» [5. С. 290]³.

Речь Посполитая в последний период существования, однако, также искала пути внутренней интеграции, создания из полиэтничного населения (поляки, литовцы, украинцы, белорусы и др.) единой нации. Деятели польского Просвещения, в том числе Т. Костюшко и Г. Коллонтай, неизменно предпосылкой для обновления государства считали распространение польского языка и культуры⁴. Основой их идеологии выступала мысль о национальной одноприродности «кресов» (этнических провинций) и Коронной Польши, после разделов превратившаяся в разветвленную мифологию, питательную почву польского украинофильства, с образом идиллического единства культур в центре. Как констатировал А.И. Миллер, «украинофильство в этом случае выступало как любовь к краю, являющемуся частью Речи Посполитой, а украинская специфика трактовалась либо просто как региональная, либо как этническая, но не исключаящая Украину из польского мира» [10]. Одним из ранних воплощений подобной мифологии выступили многоязычные «Фрагменты исторические и географические о Скифии, Сарматии и славянах» (1795) Я. Потоцкого [11], где, в частности, обосновывалось общее скифско-сарматское происхождение украинцев и поляков и их отличие от русских, и

¹ Подробный анализ российской дипломатии разделов и ее идеологических обоснований см. в работах [2, 3].

² Подробнее см.: [4. С. 35–38].

³ Подробнее о карамзинской концепции см.: [6. Р. 70–76; 7. С. 181–243].

⁴ Подробнее о политике Речи Посполитой на Правобережной Украине в конце XVIII в. и социально-политических процессах в среде местной шляхты, мещанства и крестьянства см.: [8. С. 308–345]. О языковой стратегии в регионе см. также: [9. С. 53–92].

статья «О названии Украина и зарождении казачества» (1801) Т. Чацкого [12], в которой общий этногенез возводился к племени укров, переселившихся в VII в. из-за Волги. В какой-то степени Т. Чацкий выступил учителем А. Чарноцкого (З. Доленга-Ходаковского), отказавшегося от сарматской теории, но развившего концепцию общего славянского мира с генетически единым языком, мифологией, культурой (см. предыдущую нашу статью). По пути А. Чарноцкого пошло в 1820–1830-х гг. целое поколение польских украинофилов – Т. Падура, Д.И. Зубрицкий, К. Бродзинский, В. Залесский, Ж. Паули, Л. Голембовский и др., занявшихся собиранием и публикацией фольклорно-этнографического материала¹.

При том что в свое время планомерную полонизацию «кресов» Речи Посполитой провести не удалось, они представляли собой чрезвычайно специфичную социокультурную систему, по сути, гибридную. Так, основное население Правобережья составляли этнические украинцы, главным образом крестьяне, которые в сословной иерархии занимали самое низкое место и не имели собственной национальной идентификации. Ее заменой выступал культурный консерватизм – приверженность традиционной вере (православию и униатству, воспринятому в большинстве поверхностно, на уровне внешней обрядности²), языку и обычаям, проводившая социальные границы с элитой и питавшая часто бунтарские настроения (гайдамаки, Колиивщина), но не имевшая сепаратистских акцентов.

Правобережная элита в лице многочисленной шляхты, основной адресат имперской политики и второй компонент гибридной социокультурной системы, в начале XIX в. была на 90% польской и определяла уклад общественной жизни. Идеалы дворянской демократии и самоуправления, польские формы социального поведения, проникнутые духом сарматизма, польский язык и искусство, в том числе литература, являлись для шляхты элементами региональной самоидентификации, органичной для «кресов» Речи Посполитой. Подобный этос, широко представленный в том числе и в воспоминаниях украинских шляхтичей конца XVIII – первой половины XIX в. (Г. Олизара [18. № 8. С. 1–41], М.С. Чайковского [19. Т. 84. № 11. С. 161–184; № 12. С. 149–187; 20. Т. 85, № 1. С. 163–176], П.Д. Селецкого [21] и др.), выразительно охарактеризовала Н.Н. Яковенко: «Безсумнівною престижністю користувався "старопольський" тип шляхтича – втілення чеснот *справжнього сармата* – хороброго воїна, вірного сина вітчизни, безхитрісного адепта *золотих вольностей*, якого з рештою шляхти еднають ідеали рівності й *братерства крові*. <...> тут панують однакові стандарти вартостей, серед яких головна роль відведена чоловічим забавам – полюванню, пияцтву і *політиці*, тобто участі в сеймикових з'їздах, головних осередках провінційного публічного життя. Інший же бік сарматських чеснот являв собою наївну Глорифікацію старовини, загумінковий консерватизм і загальнокультурну обмеженість, надійно відгороджену від світу схоластичною риторикою єзуїтської шкільної освіти» [8. С. 319].

¹ См. обзор польско-украинской фольклористики: [13. Т. 1. С. 278–288; 14; 15; 16].

² Подробнее см.: [8. С. 337–341; 17].

Приверженность польскому, заметим, не мешала многим шляхтичам, в том числе магнатам, исповедовать казацкий дух и вольности, показательный образец чего предлагают, например, воспоминания М.С. Чайковского о своем деде Михаиле Глембоцком: «Он относился к казакам как грозный шляхтич, к ляхам – как гордый казак; к русским и немцам – как непримиримый поляк» [19. С. 162]. Подобная многовекторная идентичность вполне способна была примениться к российским условиям, что определяло в целом лояльное отношение польско-украинской элиты к империи. Так, Станислав Щенсны Потоцкий, неофициальный глава Тарговицкой конфедерации и один из идеологов польского раздела, писал в конце 1790-х гг.: «Не стану больше говорить о прежней Польше и поляках. Исчезло и это имя, как исчезло столько других в истории, я уже чувствую себя навсегда русским» (цит. по: [22. С. 76–77]). Это мнение, кто добровольно, а больше поневоле, могли высказать многие шляхтичи, вынужденные принять российское доминирование – в обмен на определенные преференции власти, имущественные, карьерные, социальные.

За первые десятилетия XIX в. гибридная социокультурная ситуация, сложившаяся еще в составе Речи Посполитой (украинское крестьянство / полонизированная шляхта), мало изменилась, свидетельствуя о своеобразной консервации этно-сословных разделений с их сложившимися идентичностями, что констатировал А.Г. Глаголев в 1823 г., проезжая через Правобережье по пути в Европу: «Народонаселение Волыни и Подолии преимущественно состоит из трех племен: русских (в их число автор включал и украинцев. – *В.К., Т.А.*), поляков и евреев. Каждое из них исповедует особую веру и, что всего примечательнее, занимает особую степень в гражданском обществе. Все, называющие себя поляками <...> находятся в шляхетском или духовном звании; евреи составляют среднее сословие, т.е. купечество и мещанство; а русские <...> принадлежат к низшему разряду общества: к крестьянам и вообще черни. Нельзя не заметить в этом следов политики прежнего польского правительства <...>» [23. С. 122–123].

Это социокультурное наследие составило серьезную проблему для империи. Ее решение не вылилось в системные усилия по ассимиляции, как было во второй половине XVIII в. с Гетманщиной, и представляло собой до событий 1830–1831 гг. ряд отдельных социально-политических мероприятий, главным из которых являлось уже испытанное средство. Взамен лояльности представители польской шляхты получали возможность войти в состав дворянской элиты империи, а также право принимать участие в административно-политической деятельности – как местной, так и общероссийской. Последним активно воспользовались многие выходцы из шляхетских семей, тесно связанных с Россией еще со второй половины XVIII в. (блестящая петербургская карьера Адама и Константина Чарторыйских, Яна, Станислава и Щенсны Потоцких, М. Огинского, Ф.К. Браницкого и др., в культурной сфере – живописца А. Орловского, композитора Ю. Козловского, пианистки М. Шимановской и пр.)¹. Подобный отказ от глубокой русификации поддерживал влияние польских социокультурных форм, распространенных не только на Правобережной Украине, но и в пограничных регионах, в особен-

¹ О столичных карьерах поляков в первой трети XIX в. см.: [24, 25, 26].

ности в Киевской губернии, где по переписи 1811 г. жило 1172 русских и 43 тысячи польских дворян.

Польский облик региона фиксировали имперские путешествия. Так, И.М. Долгорукий поражался в 1810 г. многочисленности и амбициозности польских помещиков в Киеве: «Все знают, что такое Контракты: они начинаются в генваре и продолжаются недели три. В эту бешеную пору <...> поляки наезжают кучами отвсюда для своих продаж, разменов, аренд и откупов. Из карманов их посыплются кучи золота, и я видел такие дома, которые невероятный дают хозяину доход <...>» [27. Кн. 3. С. 262].

Не укрылось от его внимания и фактическое отсутствие мер русификации в среде шляхты: («Я не утаю примечания, общего между помещиками русскими, что поляки детей своих не учат по-русски и, кажется, будто местоначальники на это смотрят равнодушно» [27. С. 245]), что, впрочем, путешественник извинял сложностью управления многонациональным регионом: «Губерния наполнена всяким народом: в ней поляки, малороссы (хохлы) и россияне; разность прав, нравов и обычаев каждого из них наносят служащим большие хлопоты и затруднения» [27. С. 261].

В 1817 г., после второго путешествия на Украину, И.М. Долгорукий высказался более определенно, сетуя на «странную» политику правительства, не идущего по пути унификации, а, наоборот, оставлявшего полякам слишком большие свободы – в ущерб малороссийской элите, мыслящейся уже как русская: «Прежде отторженные провинции польские вступали в права и преимущество и под закон той державы, которая их к себе присоединила: ныне, напротив, не только оставлены права и законы тем областям, в коих одни живут поляки, но и в самой древней российской провинции, Киевской, введены польские суды, статуты и язык, потому только, что несколько поветов вошли в состав ее из земель польских, и вместо того, чтоб заставить поляков плясать по дудке русской, россияне, живущие здесь вместе с ними, должны подлаживаться под их учреждения и обучаться их языку, когда, как выше сказано, поляк по-русски не хочет и говорить» [28. Кн. 2. С. 150–151].

Даже запоздалые усилия по русификации западных губерний, в том числе пограничных территорий Левобережной Украины, начавшиеся после польского восстания 1830–1831 гг., мало сказались на их социокультурном облике. Выразительную картину Киева в этом контексте оставил С.А. Маслов, ученый, секретарь Императорского московского общества сельского хозяйства и учредитель «Земледельческого журнала»: «Станным однакож показалось мне смешение русских с поляками; даже и на гулянье заметно, что между ими еще не совершилось однородного сродства. Вообще Киев в гражданском быту носит на себе отпечаток польских нравов <...>. Между жителями чаще слышится польский, нежели русский язык, и не будь в Киеве русской святыни, которая в нем владычествует и привлекает к себе сердца россиян, тогда это был бы не более как завоеванный от Польши город» [29. С. 61].

Главным орудием полонизации выступила система образования, получение которого для польской шляхты, также как и для бывшего малороссийского казачества, было и элементом престижа, и – в случае мелкого и безземельного дворянства – едва ли не единственным социальным лифтом. Общность интересов способствовала в 1800–1810-х гг. развитию школ, где образование

проходило на польском языке и с набором дисциплин и программ, утвержденных еще Эдукационной комиссией (1773–1776). Империи, только приступившей к реформе образования и, по сути, пошедшей по пути Речи Посполитой, на определенном этапе выгоднее было принять польское наследие в готовом виде, создав единый Виленский учебный округ (Подолье, Волынь, малороссийские, белорусские и литовские губернии) под попечительством А.Е. Чарторыйского и инспектированием неутомимого ревнителя польского просвещения Т. Чацкого¹. Благодаря его усилиям и поддержке польской шляхты как в Петербурге, так и на местах вскоре были открыты новые учебные заведения (Волынская гимназия в Кременце, мужская Подольская гимназия и др.). В них, как и в старые школы, не исключая русских гимназий и Харьковского университета, пришли многие преподаватели из Вильно и из присоединенного позже Царства Польского, откуда доставлялась, кроме того, литература, формировались библиотеки. Увеличилось и количество ординарных польских школ (в Бердичеве, Меджибоже, Клевани, Теофильполе и др.). Этой образовательной экспансии правительство стало противопоставлять ограничительные меры лишь к началу 1820-х гг., а к решительной русификации образования приступило только после событий 1830–1831 гг.

Польский облик украинских школ и гимназий отразился в художественной прозе и путешествиях 1800–1820-х гг.² Этот элемент образа Украины стал настолько устойчивым, что бурсак или студент воспринимался в качестве неперменного персонажа, черты местного колорита. Одним из первых для имперской публики его подробно разработал В.Т. Нарезный в авантюрной повести «Бурсак» (1822, опубл. 1824), действие которой отнесено к эпохе Богдана Хмельницкого («Гетман, согласясь с послами царя российского, положили непременною обязанностью освободить Малороссию из-под ига польского» [34. Т. 2. С. 65]), но весь бытовой фон и социокультурные обстоятельства являлись, по сути, современными, о чем говорит хотя бы то, что дьячок Варух отправляет своего сына Неона в Переяславский коллегиум (позднее Полтавско-Переяславский), основанный в 1738 г. Там отец оставляет его, «снабдя <...> соломенным мешком и какою-то латинскою книгою на польском языке и благословя гривною денег» [34. С.11]. Вскоре Неон начинает обучение: «Меня отвели в надлежащий класс, где и начали преподавать латинскую, польскую и русскую азбуку. Менее нежели в час прозорливый учитель, католический монах, догадался, что я церковные книги читал столько же проворно и внятно, как стихарный дьячок, а посему дальнейшее в сем упражнении признано излишним, а советовали мне всеми силами налечь на изучение языков латинского и польского» [34. С. 13].

После нескольких лет учебы и смерти родителя Неон, оказавшийся на самом деле подброшенным шляхтичем (как рассказал ему Варух: «Под подушкой в корзине нашел я записку, не знаю, на латинском или на польском языке, и более ничего, что бы могло обнаруживать о происхождении младенца» [34. С. 37]), попадает в столь же полонизированную обстановку. Его возлюб-

¹ Подробнее об их деятельности см.: [30; 31; 32. С. 249–294; 33. С. 250–264].

² Подробнее см. в дневнике И.М. Долгорукого, оставившего колоритное описание ряда учебных заведений: Каменецкой гимназии [27. С. 244–245], гимназии в Каневе [28. С. 70].

ленной становится «молодая вдова Неонилла, воспитанная в Киеве на польский образец» [34. С. 53], его покровителем является Мемнон, «мужчина лет под пятьдесят в дорогом польском платье» [34. С. 43], а окружение составляют дочь последнего Мелитина, которая «играла на лютне и пела прелестно на малороссийском и польском языках» [34. С. 48], и другие шляхтичи, толпящиеся в приемной гетмана, где Неона, желающего послужить отчизне, поначалу принимают презрительно: «Это, – сказал пожилой польский сановник, – по-видимому, какой-нибудь малороссийский шляхтич, который приехал ко двору предложить посильные услуги, лишь бы его одели, дали клячу и – кусок черного хлеба» [34. С. 145].

II

Конкуренция двух социокультурных проектов, польского и русского, совершалась в условиях, не благоприятствовавших мирному соревнованию. Наполеоновские войны выступали постоянным фоном польского вопроса и оказывали влияние не только на политические процессы на Правобережье, но и на образ Украины в имперском общественном сознании и словесности. В Польше Наполеона приветствовали как освободителя, поскольку обещания французского императора соответствовали чаяниям местных патриотов. После образования в 1807 г. Великого герцогства Варшавского, утверждения его конституции и избрания парламента эти надежды, казалось, начали воплощаться в жизнь, став источником польского мифа о Наполеоне¹.

Российское правительство вынуждено было включиться в борьбу за лояльность недавно присоединенных подданных Правобережья, которые иначе могли активно поддержать наполеоновскую армию, как это случилось в самой Польше, выставившей 83,5 тысячи солдат, в том числе 37-тысячный Пятый армейский корпус под командованием Ю. Понятовского². Частично это и произошло: многие выходцы магнатских семей с личным ополчением, а также представители мелкой шляхты Волыни и Подолья отправились в Герцогство Варшавское и приняли участие в военной компании 1812 г. Ответом на политику Наполеона явились как репрессивные меры, конфискация имений перебежчиков, волнами проходившая с 1809 г. и закончившаяся только в 1813 г., после победы, усиление полицейского контроля, высылка неблагонадежных лиц, увеличение российского военного корпуса, так и попытки укрепить лояльность, распространяя уверенность в будущем восстановлении Польши. Публичные заявления М.И. Кутузова и манифест Александра I «О прощении жителей от Польши присоединенных областей, участвовавших с французами в войне против России» от 12 декабря 1812 г. опирались на ряд проектов еще предвоенного и военного времени о восстановлении польской автономии, в том числе и о возвращении в состав Польши украинских земель (записки А. Чарторыйского, М.Б. Барк-лая де Толли, К. Фуля, М.К. Огинского)³.

¹ Анализ мифа см. в статье: [35. С. 190–204; 36. С. 99–107; 37. С. 74–77].

² Данные приведены в статье: [38. С. 579–580].

³ Их обзор см.: [39. С. 46–59; 40. С. 47–59].

Подобная борьба за лояльность ощутимо сказывалась на спектре тем и образов, связанных с Украиной, причем не только Правобережной, польской. Одним из индикаторов здесь являлись оды, посвященные украинскому / польскому ополчению и победам той или иной стороны в войне 1812 г. Н.М. Филатова приводит целый ряд стихотворных откликов, опубликованных в центральной прессе Герцогства Варшавского, в частности в «Gazety Warszawskiej». Среди них «Ода по случаю провозглашения Польши 28 июня 1812 г. в Варшаве» и «Стихи к Польскому войску по поводу начавшейся войны с Москвой» Ф. Венжика, «Ода по поводу торжеств Генеральной конфедерации 28 июня 1812 г.» и «К литвинам» К. Тымовского, «Военная песня, спетая 28 июня в театре» Ю.У. Немцевича, «Радость гражданина, еще находящегося под российской властью, при полученной весте о воссоздании Королевства Польского» и др. [41. С. 60–73]. Непременным мотивом их является напоминание о прежнем величии Речи Посполитой, которое можно восстановить общей борьбой поляков, литовцев, украинцев против враждебной России («Соединяйтесь, брат с братом», «В ожидании вас, братья, / Литва раскрыла свои объятия» (Ф. Скарбек); «Ваш родич из своей неволи вам руку дружбы подает» (Ю.У. Немцевич). Характерный образец здесь – анонимная «Военная песнь литвинов в 1812 г.» с образами совместно торжествующего белого Орла и Погони (гербы Коронной Польши и Великого княжества Литовского):

Orły białe czarnych gonią.
Litwini! Bądźmy Pogonią!
Patrz! Na skrzydlatym piorunie
Złoty ptak zwycięski leci.
Wrog pod gromem jego runie... [42. S. 1241–1242]

В этих текстах, так же как и в публицистике («Литовские письма» Ю.У. Немцевича), формируется идеологический комплекс, зеркально отражающий российскую риторику времени разделов. В центре его – образ древнего, исконного единства Речи Посполитой, представление об этнорелигиозном родстве ее народов и, конечно, сюжет исторической мести за суворовскую резню в Праге, за оккупацию – сюжет, воскрешающий воспоминания о превосходстве Польши в 1612 г. и оправдывающий участие в наполеоновской компании. Эту зеркальность точно заметил впоследствии А.С. Пушкин в незавершенном послании «Графу Олизару» (1824), где воспроизвел топику своего и чужого дискурсов:

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена:
То [наша] стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.

И вы, бывало, пировали
Кремля [позор и] плен,
И мы о камни падших стен
Младенцев Праги избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен [43. Т. 3, кн. 1. С. 334].

Вне данного идеологического комплекса не осталась и Малороссия, с тем отличием, что место событий Смутного времени и взятия Варшавы здесь заняла эпоха Богдана Хмельницкого. Воспоминания о ней были актуализированы в ходе наполеоновских войн и русско-турецкой кампании 1806–1812 гг., когда после долгого перерыва было созвано украинское ополчение и восстановлены казачьи войска¹. Это послужило поводом для реабилитации казачьего наследия, столь долго вытесняемого из малороссийского дискурса². В ходе Отечественной войны 1812 г. казаки, как донские, так и малороссийские, стали одним из символов побеждающей империи, приняв активное участие в боях тарутинского периода, контрнаступления и зарубежного похода³. Поэтическим отзывом на возрождение казацкой тематики и как следствие антипольских исторических реминисценций выступили оды 1807–1814 гг., часть которых написана на украинском языке, хотя и предназначалась имперской публике: стихи некоего «запорожского казака Твердовского», «Мысли украинского жителя о нашествии французов. Малороссийская ода» неизвестного автора, «Ода, сочиненная на малороссийском наречии по случаю временного ополчения» Г. Кошиц-Квитницкого, «Ода малороссийского простолюдина на случай военных действий при нашествии французов в пределы Российской империи в 1812 году» П. Данилевского, «Песня старого русского солдата на разбитие французов» П.Ф. Калайдовича, оды и песни И.А. Кованько («Солдатская песня», «Ода на бегство Наполеона» и др.), ряд стихотворений В.В. Капниста («Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28 дня»), «Ода на всерадостное известие о покорении Парижа» и пр.)

Казачество в этих текстах, отражавших регионалистское сознание («Е в нас батько царь наснійшій / <...> / Мы божились для його / <...> / Колы треба боронити / Руського царя свого» [50. С. 4]), представляло как феномен общей русско-украинской истории, воплощение этноконфессионального родства. С ним связывался и мотив исторических обид, польских притеснений, исток многочисленных казацких войн и набегов на «ляхов», породивший в итоге хмельничину. События 1807–1814 гг., прославившие казаков на весь мир, в русле подобного прецедентного дискурса рисовались возмездием не только Наполеону, но и Польше, вновь собравшейся «полонить Украину». В комическом виде такая аналогия, в частности, возникала у «запорожского казака Твердовского», сравнившего французского императора и Т. Костюшко:

Кольсь такий же був Костюшка
Скавав, пурхав мов тоби птушка...
Деж вин тепер? ты сам збагнешь! [51. С. 13].

Осмеяние планов польского завоевания присутствовало и у Г. Кошиц-Квитницкого:

Бонапарте самый старшій
Вашой атаман орды,
Гроши с Пруса обибравши,
Подобрався и сюды?

¹ Подробнее см.: [44; 45. С. 200–207; 46. Т. 72. С. 87–118; 47. С. 52–60].

² См. нашу статью: [48. С. 478–517].

³ Анализ этого материала в контексте формирования «казачьего мифа» новой Украины см. в монографии, посвященной «Истории русов»: [49].

Хоче в нас ляхив отняты?
Биса визме, сын проклятый <...> [52. Ч. 33, № 9. С. 41].

Характерный образец сплава данных мотивов (русский регионализм, исторические обиды, слава казаков, возмездие) предлагало неопубликованное стихотворение Н.И. Гнедича, отрывок из его задуманной комедии о запорожских казаках:

Ой наши козаки рубили ляхив, <...>
От их запорожских саблей и спысив
Носился над полем кровавый лишь пар! <...>
Кутузов козакив як птыц окрыльив
И ими французив як громом губя,
На вики прославыв и их и себя!
На вик не погибне всеобщий сий глас:
Кутузов Смоленский отечество спас! (цит. по: [53. С. 234]).

При столь мощном взлете развитие зеркально повторяющих друг друга польского / российского / украинского конфронтационных дискурсов в послевоенные годы оказалось не столь актуальным и, более того, идущим вразрез с имперской политикой, стремившейся восстановить спокойствие на западных окраинах, укрепить лояльность новых подданных и, по возможности, снять синдром насилия. Уже 12 декабря 1812 г. Александр I публично даровал прощение перебежчикам с Волыни и Подолья, высказав родственную заботу о заблудших соплеменниках: «Между тем надеемся, что наше чадлюбивое прощение приведет в чистосердечное раскаяние виновных, и всем вообще областей сих жителям докажем, что они яко народ издревле единоплеменный и единоплеменный с россиянами, нигде и никогда не могут быть толико щастливы и безопасны, как в совершенном во едино тело слиянии с могущественной и великодушной Россией (манифест «О прощении жителей от Польши присоединенных областей, участвовавших с французами в войне против России»)» [54. Т. 32. С. 482].

Ответом на политику примирения явилась и трансформация публичного дискурса, из которого устранялись мотивы взаимных обид и претензий, поглощаемых блеском имперской славы. Одним из ярких образцов подобной риторики остранения являются записки К.Н. Батюшкова, проведеншего вторую половину 1815 г. в Каменец-Подольском в свите своего командира генерала А.Н. Бахметьева. Они последовательно отодвигают в далекое прошлое сюжеты исторических междуусобий, оставляя в настоящем воспоминания о милых друзьях, недавних победах русского оружия и впечатления о живописной украинской природе: «Здесь, в Каменце, я вижу развалины замка и укрепления турецких, польских и русских; прогуливаюсь по ветхим бастионам и замечаю их живописные стороны. <...> Несколько раз стены сии переходили из рук в руки. Турки брали их у поляков, поляки у турок, и, наконец, русские отбили их у гордых республиканцев. Повсюду древние следы войны и времени. <...> Укрепления сии часто были осаждаемы смелым и беспокойным Хмельницким, который, в смутные времена республики, внезапно являлся в Подолии, разорял цветущие села и плодоносные берега древнего Тираса, осаждал Каменец, грозил Варшаве и исчезал, как призрак. На дальних холмах, за рекою, стояло его войско, усиленное толпами татар. Сколько воспо-

минаний исторических!.. Правда! Но «мое воображение хозяин в доме», как говорит Монтань. Я забываю невольно и вождей польских, и гетмана, окруженного мурзами, и переносусь в Богемию, в Теплиц, к развалинам Бергшлосса и Гайерсберга, около которых стоял наш лагерь после Кульмской победы» [55. С. 395–396].

Снятие идеологической конфронтации осложнилось, однако, планами правительства в Коронной Польше, вызвавшими, по мере их реализации, широкий общественный резонанс. Уже с января 1813 г., перехватив наполеоновскую инициативу, император, чьи войска оккупировали территорию бывшего Княжества Варшавского, начал подготовку к восстановлению польской автономии – под российским контролем. На Венском конгрессе 1814–1815 гг. этот проект реализовался в провозглашении нового унитарного государства – Царства Польского. 27 ноября 1815 г. была подписана его конституция, по которой российскому императору как польскому королю перешла в руки исполнительная власть, разделяемая с Сеймом, источником власти законодательной. Сам Александр I трактовал свои функции скорее как охранительно-координирующие, но особо подчеркивал неразрывную династическую связь Польши и России. В речи 15 (27) марта 1818 г., обращенной к вновь созданному польскому Сейму и опубликованной в том числе в «Украинском вестнике», император призывал принять эту связь как должную и необходимую: «Существование ваше неразрывно соединено с жребием России. К укреплению сего спасительного и покровительствующего вас союза должны стремиться все ваши усилия. Восстановление ваше определено торжественными договорами. Оно освящено законоположительною Хартиєю. Ненарушимость сих внешних обязательств и сего коренного закона назначают отныне Польше достойное место между народами Европы» [56. Ч. 10, кн. 5. С. 174].

Но если статус Царства Польского и его модель взаимоотношений с Российской империей были определены, то вопрос относительно «кресов» Речи Посполитой, полученных в результате разделов, оставался открытым. Правобережная шляхта чаяла воссоединения с Царством Польским и вдохновлялась самим фактом существования автономного польского государства. Александр I в течение 1815–1819 гг. имел твердое намерение расширить его территорию путем присоединения «кресов».

Эти планы вызвали бурную реакцию как консервативного, так и либерального лагеря имперской элиты¹, став постоянным фоном образа Украины, причем не только Правобережной. Точку зрения консерваторов наиболее последовательно выразил Н.М. Карамзин, с которым император поделился своими «польскими» планами. Между ними 17 октября 1819 г. состоялся разговор, в ходе которого историограф, дабы отговорить императора от опрометчивого шага, огласил свою записку «Мнение русского гражданина», где выразился категорически против возвращения «кресов». Показательно, что из записки исчезли несколько элементов прежнего антипольского дискурса, в первую очередь мотив этноконфессионального родства присоединенных земель. Националистическая риторика, столь укрепившаяся в пред- и послевоенные годы, здесь совершенно отсутствовала: писатель оперировал аргумен-

¹ Обзор мнений, высказанных современниками, см. в кн.: [57. Т. 4. С. 92–98].

тами государственной целесообразности и выражал мнение не столько «русского», сколько «гражданина», точнее подданного. С позиции имперской, домодерной, целостность страны выступала результатом прежних завоеваний («Мы взяли Польшу мечем: вот наше право, коему все государства обязаны битием своим, ибо все составлены из завоеваний» [5. С. 437]) и не требовала национальной интеграции. Н.М. Карамзин отчетливо противопоставил эту логику модерному принципу, из которого исходили польские патриоты и сочувствовавший им Александр I. С точки зрения историографа, национальная близость частей бывшей Речи Посполитой (точнее, элит этих регионов), уже вполне осознанная имперской публикой, не имела решающего значения перед лицом самодержавно-династического принципа: «Литва, Вольния желают Королевства Польского, но мы желаем единой империи Российской» [5. С. 438].

Редуцировался до одной фразы и контекст древнерусского единства («К тому же и *по старым крепостям* Белорусия, Вольния, Подолия, вместе с Галициею, были некогда коренным достоянием России» [5. С.437]), его место занял анализ современной политической ситуации. Более того, привлечение исторических свидетельств осознавалось как аргумент в пользу федерализма, как актуализация прежнего национального статуса земель: «Старых крепостей нет в политике: иначе мы должныствовали бы восстановить и Казанское, Астраханское Царство, Новгородскую Республику, Великое Княжество Рязанское, и так далее» [5. С. 437]. Ближайший же политический фон для историографа представляли эпоха Екатерины II и война 1812 г., продемонстрировавшие исконную враждебность Польши и России: «Скажут ли, что она (Екатерина II) беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить ее несправедливость разделом самой России. <...> Восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обагрят свою кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу! Нет, государь, никогда поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками. Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят сильных, а сильные презирают слабых; когда же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом ее будет отступление от России» [5. С. 437–438]¹.

Последовательная имперская логика, игнорировавшая национальные аспекты и победившая в итоге в вопросе «кресов» (Александр под давлением общественного мнения вскоре отказался от своих планов), не могла тем не менее снять самой проблемы. Во второй половине 1810-х – 1820-е гг. образ Украины, как Правобережной, так и Левобережной, отчетливо этнизировался, и национальное начало требовало определения своего места в культурном пространстве, в том числе политико-идеологическом. Попытки подобного осмысления, существенно трансформировавшие конфронтационный российско-польский дискурс, предлагали проекты декабристов. Они отразили влияние, с одной стороны, федералистских идей, а с другой – формирующегося панславизма.

Так, уже в 1816 г. М.А. Дмитриев-Мамонов, создатель преддекабристского Ордена русских рыцарей, набросал «Краткий опыт», где предлагалось разделить России на территориальные образования, часть

¹ Подробнее о позиции Н.М. Карамзина, выраженной в записке см.: [58. С. 21–34; 59. С. 95–103].

которых имела национальную окраску (Киевское, Казанское, Астраханское, Польское царства, Курляндия, Лифляндия, Финляндия, Грузия). Это не означало, однако, их автономии в составе нового государства, что в особенности касалось Польши. Одно из положений чуть более ранних «Пунктов преподаваемого во внутреннем Ордена учения» гласило: «Конечное и всегдашнее истребление имени Польша и Королевства Польского и обращение всей Польши, как Прусской, так и Австрийской, в губернии Российские» [60. С. 145]. Сохранение национального своеобразия, польского или украинского, мыслилось М.А. Дмитриевым-Мамоновым только в аспекте общерусского регионализма. Подобный территориальный подход еще более последовательно был воплощен в двух проектах конституции, предложенных Н.М. Муравьевым [61. С. 303–355, 356–366].

Наиболее распространено о статусе Украины высказался глава Южного общества П.И. Пестель. В «Русской правде» он предлагал модель унитарного государства, учитывающего, однако, этнические реалии. Автор четко отделял, с данной точки зрения, народы, имеющие или имевшие в прошлом самостоятельную государственность, и народы малые, «не могущие по слабости своей пользоваться самостоятельной политической независимостью и должны следовательно непременно состоять под властью или покровительством которого-либо из больших соседственных государств» [62. Т. 7. С. 121]. Такие этносы должны подвергаться последовательной ассимиляции: «<...> лучше и полезнее будет для них самих, когда они соединятся духом и обществом с большим государством и совершенно сольют свою народность с народностью господствующего народа, составляя с ним только один народ» [62. Т. 7. С. 122]. К числу «исторических» народов идеолог безусловно относил поляков, что и оправдывало активные контакты с ними в целях изменения общественного строя: «Что же до Польши касается, то пользовалась она в течение многих веков совершенною политическою независимостью и составляла большое самостоятельное государство. Она могла бы и ныне сильное получить существование, если бы соединила опять в общий государственный состав все свои части, разобранные могущественными соседями. <...> Итак: по правилу народности должна Россия даровать Польше независимое существование <...>» [62. Т. 7. С. 123].

Но украинцы для П.И. Пестеля не являлись самостоятельным политическим субъектом и, более того, не осмыслились даже как отдельный народ, а только как местный вариант народа русского, что относилось в равной мере к Малороссии и Правобережной Украине: «Племя славянское, коренной народ русской составляющее, имеет пять оттенков: 1) Собственно так называемые россияне, населяющие губернии великоросские; 2) Малороссияне, населяющие Черниговскую и Полтавскую губернии; 3) Украинцы, населяющие Харьковскую и Курскую губернии; 4) Жители Киевской, Подольской и Волынской губерний, называющие себя руснаками, и 5) Белорусцы, населяющие Витебскую и Могилевскую губернии» [62. Т. 7. С. 138].

В качестве показателей этнического единства здесь выступали язык, вера и схожая сословная организация. Вывод П.И. Пестеля был однозначен и определял судьбу Украины только как русскую: «Из сего явствует, что никакого истинного различия не существует между разрядами, коренной народ рус-

ский составляющими, и что малые оттенки замеченные должны быть слиты в одну общую форму. А по сему и постановляется правилом, чтобы всех жителей, населяющих губернии Витебскую, Могилевскую, Черниговскую, Полтавскую, Курскую, Харьковскую, Киевскую, Подольскую и Волынскую, истинными россиянами почитать и от сих последних никакими особыми названиями не отделять» [62. Т. 7. С. 138].

При том что федералистские проекты декабристов базировались скорее на территориальном подходе, а в программе П.И. Пестеля предлагалась вообще унитарная модель, они вынуждены были учитывать этническую составляющую, что в особенности касалось славянского мира. В немалой степени это объяснялось контекстом формировавшегося панславизма, оригинальная версия которого распространялась в гибридной русско-польско-украинской среде. Как вспоминал М.С. Чайковский о своем пребывании в одесском лицее Вольсея (конец 1810-х гг.), «это была мозаика из славян, но преобладал казацкий дух и казацкие традиции, так как профессора были завзятыми украинофилами <...>. Мне часто приходилось присутствовать при их спорах. <...> Пришли в конце к следующим выводам: <...> что Богдан Хмельницкий спяна, из корысти, под влиянием перенесенных обид, которые он слишком глубоко принял к сердцу, откопал старую Русь, которая, раз присоединившись добровольно к России и Литве, может существовать только под скипетром русского царя или польского короля. <...> Наконец, все согласились, что все зло можно исправить только всеславянством, столицей которого должен быть Старый Киев; кто будет им владеть и образует из него столицу, тот будет властелином ста миллионов славян» [19. Т. 84, № 11. С. 170–172].

В этой борьбе за доминирование в славянском мире после победы над Наполеоном ощутимо побеждала Россия – источник надежд на освобождение славянских народов от турецкого и австрийского господства. Само возвращение Польше автономии воспринималось как поддержка российским правительством славянского возрождения. Но тем самым и Украина, «славянская Авзония», пространство, где сплелись разные культурные начала, приобрела особое символическое значение, что остро почувствовал, в частности, А. Чарноцкий (З. Доленга-Ходаковский), сделавший малороссийский фольклорно-этнографический материал важнейшим полем реконструкции древнего восточнославянского единства, куда включались и Россия, и Польша. В подобном контексте вопрос о статусе «кресов» лишился прежней остроты: не столь важно, кому будут административно принадлежать западные губернии, важнее, кто будет доминировать в общем славянском пространстве.

Политическое измерение такой подход приобрел в процессе контактов Южного общества декабристов с Польским патриотическим обществом и Обществом соединенных славян, основанном в 1823 г. братьями П.И. и А.И. Борисовыми и польским дворянином Ю.К. Люблинским (Мотошновичем). Главной целью Общества стало объединение всех славянских народов в единую федерацию демократического, республиканского характера. В 1825 г. о существовании «Общества соединенных славян» узнал один из руководителей Васильковской управы Южного общества М.П. Бестужев-Рюмин. По-

сле нескольких общих заседаний было принято решение об их слиянии¹. Контакты с Польским патриотическим обществом не увенчались подобным успехом: после ареста в 1822 г. В. Лукасиньского и наиболее радикальных его сподвижников, ратовавших за полное восстановление Речи Посполитой, в обществе задавали тон умеренные реформаторы, не склонные к революционным методам южных декабристов². Тем не менее в ходе общения с представителями двух организаций вопрос о «кресах» возникал постоянно и демонстрировал колебания директоров, склонявшихся, несмотря на последовательный пестелевский унитаризм, к возврату Правобережья в зону польского влияния. Об этом, в частности, в ходе допросов с возмущением говорил К.Ф. Рылеев: «О существовании тайных обществ в Польше слышал я от Трубецкого. Причем он говорил, что Южное общество через одного из своих членов имеет с оными постоянные сношения, южными директорами положено признать независимость Польши и возратить ей от России завоеванные провинции, Литву, Подолию и Волынь. Я сильно восстал против сего, утверждая, что никакое общество не вправе сделать подобного условия, что подобные дела должны быть решены на Великом Соборе. Говорил, что и настоящее правительство делает великую погрешимость, называя упомянутые провинции в актах своих польскими или вновь присоединенными от Польши и в продолжении тридцати лет ничего не сделав, дабы нравственно присоединить оные к России; что границы Польши собственно начинаются там, где кончаются наречия малороссийское, русское, или по-польски, холопское; где же большая часть народа говорит упомянутыми наречиями и исповедуют греко-российскую или униатскую религию, там Русь, древнее достояние наше» [60. С. 181].

Из этих реплик явственно ощущалось, что напряженное общественное обсуждение проблемы «возвращенных» провинций придало новую значимость образу Украины. Его принадлежность русскому миру вновь стала предметом рефлексии, что нацеливало не только на выявление общих черт, но и на актуализацию подразумеваемых различий, объяснявшихся имперскими (в том числе малороссийскими) авторами чаще всего прошлым влиянием Речи Посполитой. Подобные интенции присутствуют фактически во всех дискурсивных сферах, связанных с репрезентацией Украины. Их можно найти в оценках малороссийского языка, осмысляемого как диалект языка русского, но претерпевшего искажающее воздействие польской речи. Еще более обширное поле здесь предлагала историография. Так, создание первой полной версии украинской истории Д.Н. Бантыш-Каменским [67], состоявшееся по официальному заказу, невозможно воспринимать вне обсуждения проблемы «кресов»: «История Малой России» мотивировала включение региона в имперский исторический канон и актуализировала антипольские темы. В этот процесс включилась и харьковская журналистика 1816–1825 гг., исторические публикации которой посвящались, прежде всего, эпохе Богдана Хмельницкого и войнам казаков против Речи Посполитой [68. № 1. С. 7–21; № 4. С. 3–19; 69. № 2. С. 145–156; № 3. С. 304–314; 70. № 4.

¹ Подробнее см.: [63. С. 52–54; 64. С. 104].

² Подробнее см.: [65, 66].

С. 19–33; № 5. С. 151–168; № 6. С. 265–297; 71. № 9. С. 249–271; № 10. С. 3–11¹. Негативная оценка польского влияния тем не менее не устраняла его следов из украинской истории, а иногда и делала более отчетливым, как в археологических работах М.Б. Берлинского.

Не осталась в стороне и художественная словесность, где малороссийский материал, с одной стороны, выступал региональным вариантом русского, но с другой – воплощал местную специфику, в том числе польское присутствие, о чем можно судить по уже упоминавшемуся «Бурсаку» В.Т. Нарезного и другим его повестям («Запорожец», «Два Ивана», «Гаркуша»). Литераторы-декабристы подчинили украинские сюжеты собственной историко-патриотической концепции, как в «Думах» и поэмах К.Ф. Рыльева, включив в нее и польский компонент². Ряд этих политических рефлексов, безусловно, можно продолжить – они предлагают отдельное поле исследования. В целом же можно констатировать, что подобное настойчивое возвращение к чертам «инаковости», связываемым с польским влиянием, акцентирование особенности Малороссии создавало питательную среду для развития и укрепления местного националистического дискурса, вырвавшегося в полемиках 1830–1840-х гг. о степени самостоятельности украинского языка, истории и культуры³.

Литература

1. *Тарле Е.В.* Екатерина Вторая и ее дипломатия. Ч. 1. М., 1945.
2. *Стегний П.В.* Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772. 1793. 1795. М., 2002.
3. *Носов Б.В.* Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756–1768 гг. М., 2004.
4. *Хореев В.А.* Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки. М., 2005.
5. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России: Избранная проза и публицистика. М., 2002.
6. *Nowak A.* Od Imperium do Imperium: Spojrzenia na historię Europy Wschodniej. Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2004.
7. *Аржакова Л.М.* Этатизм и ранняя российская полонистика // Власть и культура. СПб., 2007.
8. *Яковенко Н.М.* Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ, 1997.
9. *Останчук О.А.* Изменение государственных границ как фактор формирования языковой ситуации на Правобережной Украине в конце XVIII – первой половине XIX в. // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе. М., 2005.
10. *Миллер А.И.* Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина 19 века). М., 2000. URL: <http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/miller-pred3.htm> (19.02.2013).
11. *Potocki J.* Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et le Slaves. Paris, 1795.
12. *Czacki T.* O nazwisku Ukrainy i początku kozaków. Warszawa, 1843.
13. *Азадовский М.К.* История русской фольклористики. М., 1958. Т. 1.
14. *Юзвенко В.А.* Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці XIX ст. Київ, 1961.
15. *Болтарович З.* Україна в дослідженнях польських етнографів XIX ст. Київ, 1976.

¹ Подробнее о проблематике этих материалов см.: [72. № 1–3. С. 55–73].

² О биографических и литературных связях К.Ф. Рыльева с польскими украинофилами см., в частности: [73. Т. 26, № 9. С. 727–751; 74. С. 221–223; 75. Кн. 6. С. 25–38; 76. С. 113–128; 77. С. 179–208; 78].

³ См. о них в сравнительном русско-польско-украинском контексте: [79].

16. Дем'ян Г. Українська фольклористика в Галичині кінця XVIII – початку XIX ст. Львів, 2004.
17. Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т.: Т. 1-2. Київ, 1993.
18. Олизар Г. Мемуары графа Олизара / пер. с польск. А. Копылова // Русский вестник. 1893. № 8.
19. Чайковский М.С. Записки / пер. с польск. Турцевич, В.В. Тимошук // Русская старина. 1895. Т. 84, № 11, 12.
20. Русская старина. 1896. Т. 85, № 1.
21. Селецкий П.Д. Записки. Киев, 1884.
22. Западные окраины Российской империи. М., 2006.
23. Глаголев А.Г. Записки русского путешественника А. Глаголева с 1823 по 1827 год. Ч. 1: Россия. Австрия. СПб., 1837.
24. Bazylow L. Polacy w Petersburgu. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1984.
25. Chwalba A. Polacy w służbie Moskali. Warszawa; Kraków, 1999.
26. Kijas A. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa; Poznań, 2000.
27. Долгорукий И.М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда, 1810 года // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1869. Кн. 2–3, отд-ние 2.
28. Долгорукий И.М. Дневник путешествия в Киев 1817 г. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1870. Кн. 2, отд-ние 2.
29. Маслоу С.А. Путевые заметки при поездке из Москвы в Киев, Харьков и Воронеж // Земледельческий журнал. 1839.
30. Michal. R. Ateny Wolyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce. Wyd. 2. Lwow; Warszawa; Krakow, 1923.
31. Zawadzki W.H. The Man of Honor. Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland. 1795–1831. Oxford, 1993.
32. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине. 1793–1914. М., 2011.
33. Булкина И. «Известная фамилья»: польский патриот граф Фаддей Чацкий // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. XII: Мифология культурного пространства: К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова. Тарту, 2011.
34. Нарезный В.Т. Избранные сочинения: в 2 т. М., 1956. Т. 2.
35. Мусяченко С.Ф. Миф Наполеона в русской и польской прозе XIX века (на примере романов «Война и мир» Л. Толстого и «Пепел» С. Жеромского) // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004.
36. Гончар С.В. Адам Мицкевич и миф Наполеона в польской литературе XIX века // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура. Гродно, 2010.
37. Фалькович С.М. Миф Наполеона в сознании поляков // Славяноведение. 2012. № 6.
38. Неуважный А., Васильев А.А. Польские войска Великой армии // Отечественная война 1812 года: энцикл. М., 2004.
39. Лукашевич А.М. Проекты восстановления Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского и их место в военно-стратегическом планировании Российской империи (1810–1812 гг.) // Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе: материалы междунар. науч. конф. Минск, 2002.
40. Макарова Г.В. Фактор общественного мнения в период Отечественной войны 1812 года: польский аспект // Славяноведение. 2012. № 6.
41. Филатова Н.М. Россия в политической пропаганде Княжества Варшавского в ходе кампании 1812 года // Славяноведение. 2012. № 6.
42. Gazeta Warszawska. Прил. к № 66.
43. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 3, кн. 1: Стихотворения, 1817–1825. М.; Л., 1947.
44. Стороженко Н.В. К истории малороссийских казаков в конце XVIII и в начале XIX в. Киев, 1898.
45. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991.
46. Абалихин Б.С. Украинское ополчение 1812 г. // Исторические записки. 1962. Т. 72.
47. Лейберов О. «Одушевляясь любовью и усердием к народу и отечеству...»: ніжинські ополченські полки в наполеонівських війнах // Нежинская старина. Вып. 3 (6). Нежин, 2007.

48. *Киселев В.С., Васильева Т.А.* «Странное политическое сонмище» или «народ, поющий и пляшущий»: конструирование образа Украины в русской словесности конца XVIII – начала XIX в. // Там, внутри: Практики внутренней колонизации России. М., 2012.

49. *Plokhly S.* The Cossack myth: history and nationhood in the age of empires. Cambridge: University Press, 2012.

50. *Данилевский П.* Ода малороссийского простолюдина на случай военных действий при нашествии французов в пределы Российской империи в 1812 году. СПб., 1813.

51. *Дух россиян, или Сердечные чувства сибирского плавильного мастера Усердова и запорожского казака Твердовского, изображенные стихами по случаю победы, одержанной над Бонапартием 14 декабря 1806 года.* СПб., 1830. № 25289.

52. *Кошиц-Квитницкий Г.* Ода, сочиненная на малороссийском наречии по случаю временного ополчения // Вестник Европы. 1807. Ч. 33, № 9.

53. *Кибальник С.А.* «Афинская звезда»: Николай Гнедич в Петербурге // Белые ночи: очерки, зарисовки, воспоминания, документы. Л., 1989.

54. *Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание (1649–1825).* Т. 32. 1812–1813. СПб., 1830. № 25289.

55. *Батюшков К.Н.* Воспоминание мест, сражений и путешествий // Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977.

56. Речь, произнесенная Его Императорским Величеством при открытии Сейма Царства Польского в Варшаве // Украинский вестник. 1818. Ч. 10, кн. 5.

57. *Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. 4. СПб., 1898.

58. *Filatowa N.* Polska w rosyjskiej myśli historycznej // Polacy i Rosjanie. Warszawa, 2002.

59. *Кручковский Т.Т., Хиллота В.А.* «Записка о Польше» Н.М. Карамзина как определение польского вопроса в России первой трети XIX века // История Польши в историографической традиции XIX – начала XX вв.: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 29-30 октября 2009 г. Гродно, 2011.

60. *Из писем и показаний декабристов: Критика современного состояния России и планы будущего устройства* / под ред. А.К. Бороздина. СПб., 1906.

61. *Дружинин Н.* Декабрист Никита Муравьев. М., 1933.

62. *Восстание декабристов: документы* / под ред. М.В. Нечкиной. Т. 7. М.; Л., 1958.

63. *Горбачевский И.И.* Записки декабриста. М., 1916.

64. *Нечкина М.В.* Декабристы. М., 1982.

65. *Baumgarten L.* Dekabryści a Polska. Warszawa, 1952.

66. *Ольшанский П.* Декабристы и польское национально-освободительное движение. М., 1959.

67. *Бантыш-Каменский Д.Н.* История Малой России: в 3 ч. М., 1830.

68. *Гетман Хмельницкий* // Украинский вестник. 1816. № 1, 4.

69. *Квитка И.* О Малой России // Украинский вестник. 1816. № 2, 3.

70. *Грибовский М.* Исторические замечания о Малороссии от смерти Богдана Хмельницкого до Полтавского сражения // Украинский вестник. 1816. № 5, 6.

71. *Марков М.* Введение в Малороссийскую историю, или Краткое описание южной части Российского государства во времена древние: как находилась она во владениях Литвы и Польши, как возвратилась России и получила название Малороссии // Украинский вестник. 1817. № 9, 10.

72. *Журба О.І.* Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10–20-х рр. XIX ст.) // Архіви України. 2002. № 1–3.

73. *Равита Ф. (Гавронский Ф.)* Фома Падурра: (критический очерк) // Киевская старина. 1889. Т. 26, № 9.

74. *Маслов В.И.* Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912.

75. *Гермайзе О.* Рух декабристів і українство // Україна. 1925. Кн. 6.

76. *Гнатюк В.* Падурра, Рилеев і декабристи // Записки Історично-Філологічного відділу ВУАН. Кн. 18. Київ, 1928.

77. *О'Мара П.* К.Ф. Рылеев: Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989.

78. *Кирибаум Г.Э.* Дискуссия о происхождении дум: польская компонента // Тыняновский сборник. Материалы пятнадцатых Тыняновских чтений / под ред. Е.А. Тодеса, М.О. Чудаковой. М., 2011.

79. *Bilenky S.* Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish, and Ukrainian Political Imagination. Stanford University Press, 2012.

Kiselev Vitaly S., Vasilieva Tatiana A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: kv-uliss@mail.ru / tatiana_w_1988@mail.ru DOI 10.17223/19986645/27/8

EVOLUTION OF THE IMAGE OF UKRAINE IN THE IMPERIAL LITERATURE OF THE FIRST QUARTER OF THE NINETEENTH CENTURY: REGIONALISM, ETHNOGRAPHY, POLITICIZATION. ARTICLE 3. "BETWEEN POLAND AND RUSSIA".

Keywords: Russian literature, Ukrainian literature, Polish Issue, the image of Ukraine, nationalism, regionalism, ethnography.

During the partition of Poland in 1792 and 1795 the Left-Bank Ukraine, the former frontier of the Russian Empire, turned into the inner part. "The Ukrainian Issue" was united with "the Polish Issue" and gave rise to a number of new problems, which had a significant impact on the image of Little Russia. Two competing ideologies – the imperial and the Polish ones – engaged into a kind of a struggle for Ukraine.

N.M. Karamzin gave the canonical form to the "Polish" ideological complex (ancient unity, sectarian and ethnic community, reward for intervention), while Catherine the Great's stand, reflected in numerous odes of that period (G.R. Derzhavin, N.A. Lvov, and others), had served as a prologue. The basis of the Polish-Lithuanian Commonwealth ideology was the idea of the same national nature of the Kresy and the Crown Poland. The system of education was the main instrument of polonisation. The Polish image of Ukrainian schools and grammar schools was reflected in the fiction and travels of 1800–1820s (V.T. Narezhny's fiction).

Memories of Little Russia were actualised during the Napoleonic wars and the Russian-Turkish campaign of 1806–1812, when, after a long break, Ukrainian militia was called and Cossack troops were restored. Those events led to the rehabilitation of the Cossack heritage that had been displaced from the Little Russian discourse for such a long time. The odes of 1807–1814 were the poetic review for the Cossack theme revival and, as a consequence, for the anti-Polish historical reminiscences. Some of the odes were written in the Ukrainian language, although they were intended for the imperial audience (G.P. Danilevsky, P.F. Kalaidovich, etc.). In texts, which reflected the regionalist consciousness, the Cossacks appeared as a phenomenon of the general Russian-Ukrainian history, as the embodiment of the ethnic-religious relationship. In keeping with the similar precedent discourse the events of 1807–1814, which glorified the Cossacks all over the world, were conjured up as a retribution not only to Napoleon, but to Poland, that was going to conquer Ukraine again.

After the Congress of Vienna, during 1815–1819 Alexander I had a firm intention to expand the territory of the formed unitary state, the Kingdom of Poland, by annexation of the Kresy. Those plans provoked strong reactions of both conservative and liberal camps of the imperial elite and became a constant background of Ukraine's image, not only of the Right-Bank Ukraine.

The Decembrists' projects proposed the attempts to comprehend Ukraine's place in the cultural space. The attempts significantly transformed the confrontational Russian-Polish discourse. On the one hand, they reflected the impact of the federalist ideas and, on the other hand, – the influence of the emerging Pan-Slavism (for example, the division of Russia into the territorial entities, some of which would have M.A. Dmitriev-Mamonov's national colouring, a similar territorial approach embodied in N.M. Muraviev's constitution projects, the unitary state model, which takes P.I. Pestel's ethnic realities into account, etc.).

The intense public discussions of the "returned" provinces problem gave new significance to the image of Ukraine. Its affiliation to the Russian world again became the object of reflection, and that aimed people not only at identification of similarities, but also at the actualisation of the implicit differences that resulted, in the imperial (including Little Russian) authors' opinions, from the former influence of the Commonwealth. It is revealed in the evaluation of the Little Russian language, historiography and art literature. Such insistent returning to the features of the "otherness", which were connected with the Polish influence, and the emphasis on Little Russia's specialness created the culture medium for the development and strengthening of the local nationalist discourse growing in the polemics of 1830–1840s about the independence degree of the Ukrainian language, history and culture.

References

1. Tarle E.V. Ekaterina Vtoraya i ee diplomatiya. Ch. 1. M., 1945.
2. Stegnyy P.V. Razdely Pol'shi i diplomatiya Ekateriny II: 1772. 1793. 1795. M., 2002.
3. Nosov B.V. Ustanovlenie rossiyskogo gosподства v Rechi Pospolitoj. 1756–1768 gg. M., 2004.

4. *Khoreev V.A.* Pol'sha i polyaki glazami russkikh literatorov: Imagologicheskie ocherki. M., 2005.
5. *Karamzin N.M.* O drevney i novoy Rossii: Izbrannaya proza i publitsistika. M., 2002.
6. *Nowak A.* Od Imperium do Imperium: Spojrzenia na historie Europy Wschodniej. Krakow: Wydawnictwo Arcana, 2004.
7. *Arzhakova L.M.* Etatizm i rannaya rossiyskaya polonistika // *Vlast' i kul'tura*. SPb., 2007.
8. *Yakovenko N.M.* Naris istorii Ukraïni z naydavnishikh chasiv do kintsya XVIII stolittya. Kiïv, 1997.
9. *Ostapchuk O.A.* Zmienenie gosudarstvennykh granits kak faktor formirovaniya yazykovoy situatsii na Pravoberezhnoy Ukraine v kontse XVIII – pervoy polovine XIX v. // *Regiony i granitsy Ukrainy v istoricheskoy retrospektive*. M., 2005.
10. *Miller A.I.* Ukrainskiy vopros v politike vlastey i russkom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina 19 veka). M., 2000. URL: <http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/miller-pred3.htm> (19.02.2013).
11. *Potocki J.* Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et le Slaves. Paris, 1795.
12. *Czacki T.* O nazwisku Ukrainy i początku kozaków. Warszawa, 1843.
13. *Azadovskiy M.K.* Istoriya russkoy fol'kloristiki. M., 1958. T. 1.
14. *Yuzvenko V.A.* Ukraïns'ka narodna poetichna tvorchist' u pol's'kiy fol'kloristitsi XIX st. Kiïv, 1961.
15. *Boltarovich Z.* Ukraïna v doslidzhennyakh pol's'kikh etnografiv XIX st. Kiïv, 1976.
16. *Dem'yan G.* Ukraïns'ka fol'kloristika v Galichini kintsya XVIII – pochatku XIX st. L'viv, 2004.
17. *Ogienko I.I.* Ukraïns'ka tserkva: Narisi z istorii Ukraïns'koï Pravoslavnoï Tserkvi: U 2 t.: T. 1–2. Kuiv, 1993.
18. *Olizar G.* Memuary grafa Olizara / per. s pol'sk. A. Kopylova // *Russkiy vestnik*. 1893. № 8.
19. *Chaykovskiy M.S.* Zapiski / per. s pol'skogo Turtsevich, V.V. Timoshuk // *Russkaya starina*. 1895. T. 84, № 11, 12.
20. *Russkaya starina*. 1896. T. 85, № 1.
21. *Seletskiy P.D.* Zapiski. Kiev, 1884.
22. *Zapadnye ukrainy Rossiyskoy imperii*. M., 2006.
23. *Glagolev A.G.* Zapiski russkogo puteshestvennika A. Glagoleva s 1823 po 1827 god. Ch. 1: Rossiya. Avstriya. Spb., 1837.
24. *Bazyłow L.* Polacy w Petersburgu. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1984.
25. *Chwalba A.* Polacy w służbie Moskali. Warszawa; Kraków, 1999.
26. *Kijas A.* Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa; Poznań, 2000.
27. *Dolgorukiy I.M.* Slavny bubny za gorami, ili Puteshestvie moe koe-kuda, 1810 goda // *Chteniya v Obshchestve istorii i drevnostey rossiyskikh*. 1869. Kn. 2–3. Otd-nie 2.
28. *Dolgorukiy I.M.* Dnevnik puteshestiya v Kiev 1817 g. // *Chteniya v Obshchestve istorii i drevnostey rossiyskikh*. 1870. Kn. 2. Otd-nie 2.
29. *Maslov S.A.* Putevye zametki pri poezdke iz Moskvy v Kiev, Khar'kov i Voronezh // *Zemle-del'cheskiy zhurnal*. 1839.
30. *Michal. R.* Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce. Wyd. 2. Lwow; Warszawa; Krakow, 1923.
31. *Zawadzki W.H.* The Man of Honor. Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland. 1795-1831. Oxford, 1993.
32. *Bovua D.* Gordiev uzul Rossiyskoy imperii: Vlast', shlyakhta i narod na Pravoberezhnoy Ukraine. 1793–1914. M., 2011.
33. *Bulkina I.* «Izvestnaya famil'ya»: pol'skiy patriot graf Faddey Chatskiy // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. XII: Mifologiya kul'turnogo prostranstva: K 80-letiyu Sergeya Gennadiyevicha Isakova. Tartu, 2011.
34. *Narezhnyy V.T.* Izbrannye sochineniya: v 2 t. M., 1956. T. 2.
35. *Musienko S.F.* Mif Napoleona v russkoy i pol'skoy proze XIX veka (na primere romanov «Voyna i mir» L. Tolstogo i «Pepel» S. Zheromskogo) // *Mif Evropy v literature i kul'ture Pol'shi i Rossii*. M., 2004.
36. *Gonchar S.V.* Adam Mitskevich i mif Napoleona v pol'skoy literature XIX veka // *Tvorchestvo Adama Mitskevicha i sovremennaya mirovaya kul'tura*. Grodno, 2010.

37. *Fal'kovich S.M.* Mif Napoleona v soznanii polyakov // *Slavyanovedenie*. 2012. № 6.
38. *Neuvazhnyy A., Vasil'ev A.A.* Pol'skie voyska Velikoy armii // *Otechestvennaya voyna 1812 goda: entsikl. M., 2004.*
39. *Lukashevich A.M.* Proekty vosstanovleniya Rechi Pospolitoj i Velikogo Knyazhestva Litovskogo i ikh mesto v voenno-strategicheskom planirovanii Rossijskoy imperii (1810–1812 gg.) // *Vneshnyaya politika Belarusi v istoricheskoy retrospektive: Materialy mezhdunar. nauch. konf. Minsk, 2002.*
40. *Makarova G.V.* Faktor obshchestvennogo mneniya v period Otechestvennoy voyny 1812 goda: pol'skiy aspekt // *Slavyanovedenie*. 2012. № 6.
41. *Filatova N.M.* Rossiya v politicheskoy propagande Knyazhestva Varshavskogo v khode kampanii 1812 goda // *Slavyanovedenie*. 2012. № 6.
42. *Gazeta Warszawska*. Pril. k № 66.
43. *Pushkin A.S.* Polnoe sobranie sochineniy: v 16 t. T. 3, kn. 1. Stikhotvoreniya, 1817–1825. M.; L., 1947.
44. *Storozhenko N.V.* K istorii malorossiyskikh kazakov v kontse XVIII i v nachale XIX v. Kiev, 1898.
45. *Antonovich V.* Pro kozats'ki chasi na Ukraïni. Kiïv, 1991.
46. *Abalikhin B.S.* Ukrainское opolchenie 1812 g. // *Istoricheskie zapiski*. 1962. T. 72.
47. *Leyberov O.* «Odushevlyayas' lyubov'yu i userdiem k narodu i otechestvu...»: nizhins'ki opolchens'ki polki v napoleoniv'skikh viynakh // *Nezhinskaya starina*. Vyp. 3 (6). Nezhin, 2007.
48. *Kiselev V.S., Vasil'eva T.A.* «Strannoe politicheskoe sonnishche» ili «narod, poyushchiy i plyashushchiy»: konstruirovaniye obraza Ukrainy v russkoy slovesnosti kontsa XVIII – nachala XIX v. // *Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii Rossii*. M., 2012.
49. *Plokhly S.* The Cossack myth: history and nationhood in the age of empires. Cambridge: University Press, 2012.
50. *Danilevskiy P.* Oda malorossiyskogo prostolyudina na sluchay voennykh deystviy pri nashestvii frantsuzov v predely Rossiyskoy imperii v 1812 godu. SPb., 1813.
51. *Dukh rossiyan, ili Serdechnye chuvstva sibirskogo plavil'nogo mastera Userdova i zaporozhskogo kazaka Tverdovskogo, izobrazhennye stikhami po sluchayu pobedy, oderzhannoy nad Bonapartiem 14 dekabrya 1806 goda*. SPb., 1807.
52. *Koshits-Kvitnitskiy G.* Oda, sochinennaya na malorossiyskom narechii po sluchayu vremennogo opolcheniya // *Vestnik Evropy*. 1807. Ch. 33, № 9.
53. *Kibal'nik S.A.* «Afinskaya zvezda»: Nikolay Gnedich v Peterburge // *Belye nochi: ocherki, zarisovki, vospominaniya, dokumenty*. L., 1989.
54. *Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii*. Pervoe sobranie (1649–1825). T. 32. 1812–1813. SPb., 1830. № 25289.
55. *Batyushkov K.N.* Vospominanie mest, srazheniy i puteshestviy // *Batyushkov K.N. Opyty v stikhakh i proze*. M., 1977.
56. *Rech', proiznesennaya Ego Imperatorskim Velichestvom pri otkrytii Seyma Tsarstva Pol'skogo v Varshave* // *Ukrainskiy vestnik*. 1818. Ch. 10, kn. 5.
57. *Shil'der N.K.* Imperator Aleksandr Pervyy. Ego zhizn' i tsarstvovanie. T. 4. SPb., 1898.
58. *Filatowa N.* Polska w rosyjskiej myśli historycznej // *Polacy i Rosjanie*. Warszawa, 2002.
59. *Kruchkovskiy T.T., Khilyuta V.A.* «Zapiska o Pol'she» N.M. Karamzina kak opredelenie pol'skogo voprosa v Rossii pervoy treti XIX veka // *Istoriya Pol'shi v istoriograficheskoy traditsii XIX – nachala XX vv.: materialy Mezhdunar. nauch. konf., Grodno, 29-30 oktyabrya 2009 g. Grodno, 2011.*
60. *Iz pisem i pokazaniy dekabristov: Kritika sovremennogo sostoyaniya Rossii i plany budushchego ustroystva / pod red. A.K. Borozdina*. SPb., 1906.
61. *Druzhinin N.* Dekabrist Nikita Murav'ev. M., 1933.
62. *Vostanie dekabristov: dokumenty / pod red. M.V. Nechkinoy*. T. 7. M.; L., 1958.
63. *Gorbachevskiy I.I.* Zapiski dekabrista. M., 1916.
64. *Nechkina M.V.* Dekabristy. M., 1982.
65. *Baumgarten L.* Dekabrysci a Polska. Warszawa, 1952.
66. *Ol'shanskiy P.* Dekabristy i pol'skoe natsional'no-osvoboditel'noe dvizhenie. M., 1959.
67. *Bantysh-Kamenskiy D.N.* Istoriya Maloy Rossii: v 3 ch. M., 1830.
68. *Getman Khmel'nitskiy* // *Ukrainskiy vestnik*. 1816. № 1, 4.
69. *Kvitka I.* O Maloy Rossii // *Ukrainskiy vestnik*. 1816. № 2, 3.

70. *Gribovskiy M.* Istoricheskie zamechaniya o Malorossii ot smerti Bogdana Khmel'nitskogo do Poltavskogo srazheniya // *Ukrainskiy vestnik*. 1816. № 5, 6.

71. *Markov M.* Vvedenie v Malorossiyskuyu istoriyu, ili Kratkoe opisanie yuzhnoy chasti Rossiyskogo gosudarstva vo vremena drevnie: kak nakhodilas' ona vo vladenyakh Litvy i Pol'shi, kak vozvratilas' Rossii i poluchila nazvanie Malorossii // *Ukrainskiy vestnik*. 1817. № 9, 10.

72. *Zhurba O.I.* Zhurnal'niy period stanovleniya ukrains'koï arkheografii (Kharkivs'ki zhurnali 10–20-kh rr. KhIKh st.) // *Arkhivi Ukraïni*. 2002. № 1–3.

73. *Ravita F. (Gavronskiy F.)* Foma Padurra: (kriticheskiy ocherk) // *Kievskaya starina*. 1889. T. 26. № 9.

74. *Maslov V.I.* Literaturnaya deyatel'nost' Ryleeva. Kiev, 1912.

75. *Germyze O.* Rukh dekabristiv i ukraïnstvo // *Ukraïna*. 1925. Kn. 6.

76. *Gnatyuk V.* Padura, Ryleev i dekabristi // *Zapiski Istorichno-Filologichnogo viddilu VUAN*. Kn. 18. Kiïv, 1928.

77. *O'Mara P. K.F.* Ryleev: Politicheskaya biografiya poeta-dekabrista. M., 1989.

78. *Kirshbaum G.E.* Diskussiya o proiskhozhdenii dum: pol'skaya komponenta // *Tynyanovskiy sbornik. Materialy pyatnadsyatk Tynyanovskikh chteniy / pod red. E.A. Todesa, M.O. Chudakovoy*. M., 2011.

79. *Bilenky S.* Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish, and Ukrainian Political Imagination. Stanford University Press, 2012.

УДК 821.133.1-3.09А.Франс
DOI 10.17223/19986645/27/9

Н.А. Никитина, Н.А. Тулякова

«ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАРЕЦ» А. ФРАНСА: ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ

В статье рассматривается «Перламутровый ларец» А. Франса как цикл, объединяющий произведения разных форм малых жанров. Анализируются композиция цикла, принципы объединения и расположения входящих в цикл произведений, авторская трансформация их жанровых характеристик. Общность мотивов, повествовательных приемов и авторского отношения делают возможным объединение произведений, демонстрирующих черты литературной легенды, новеллы и рассказа, а само объединение ведет к возникновению дополнительных смыслов и служит выражением авторской позиции в сложной повествовательной структуре отдельных текстов.

Ключевые слова: цикл, жанр, литературная легенда, новелла, рассказ, композиция, Анатоль Франс.

Вопросы циклизации и циклообразования в последние десятилетия привлекают все более пристальное внимание исследователей, при этом большинство работ посвящено поэтическим циклам [1. С. 174]. В настоящей статье рассматривается прозаический цикл Анатоля Франса «Перламутровый ларец» (*L'Étui de nacre*), а именно проблемы жанрового состава книги и расположения текстов по отношению друг к другу.

«Перламутровый ларец» в исследовательской литературе чаще всего получает жанровое определение «сборник новелл» (*recueil de contes*) [2. С. 95; 3. С. 10; 4. С. 3]. В пользу отнесения книги к сборнику говорит тот факт, что изначально произведения, вошедшие в книгу, не рассматривались автором как единое целое – они появлялись в периодической печати с 1884 по 1892 г. и были опубликованы как отдельное издание в 1892 г. Тем не менее объединение принадлежит самому автору, а расположение текстов в сборнике носит произвольный характер, что позволяет говорить о книге как о цикле. Принципы объединения данных текстов в цикл, без понимания которых невозможно грамотно интерпретировать авторский замысел и возникающие при циклизации «добавочные смыслы» [5. С. 23], требуют отдельного рассмотрения, до сих пор не предпринимавшегося отечественными и зарубежными филологами.

Традиционно тексты, входящие в «Перламутровый ларец», разделяются исследователями на три группы, прежде всего по хронотопическому принципу. В первую группу входят тексты, «посвященные раннему христианству и облеченные в большинстве случаев в форму стилизованных церковных легенд» («Прокуратор Иудеи», «Амикус и Целестин», «Легенда о святых Оливерии и Либеретте», «Святая Евфросиния», «Схоластика», «Жонглер Богоматери»). Ко второй принадлежат произведения «на различные темы из современности» («Обедня теней», «Лесли Вуд», «Гестас», «Записки сельского врача»). Третью составляет «группа новелл о французской буржуазной револю-

ции) («Записки волонтера», «Рассвет», «Госпожа де Люзи», «Дарованная смерть», «Эпизод из времен флореаля II года республики», «Оловянный солдатик», «Обыск») [3. С. 53].

Хронотопическое единообразие, наблюдаемое внутри этих частей, влечет за собой их тематическое и жанровое сходство, поэтому кажется целесообразным сопоставить их в этих аспектах. Справедливое разделение сборника на три «слоя» вызывает вопрос о жанровой принадлежности текстов, составляющих три части книги. Традиционно цикл определяется как «наджанровое» объединение текстов, характеризующееся жанровой гомогенностью входящего в него материала [6. Стб. 398], жанровой однородностью состава [7. С. 33]. Однако цикл обладает потенциальной возможностью включать в себя тексты разных жанров: «...если эволюция циклов лирических в литературе Нового времени состояла в смене моножанровых “однофамильцев” разножанровыми тематическими, то история циклообразования малых эпических форм предстает <...> как последовательный переход от циклов одной жанровой ориентации (в 1830–60 гг. – новеллистических) к другим (очерковым, “сценочным”, а далее – к “синтезным”, собственно эпическим, соединившим все эти традиции)» [7. С. 34]. В этих достаточно распространенных случаях, когда в книгу входят разножанровые тексты (в терминологии Е.А. Шраги, «цикл, возникающий на пересечении разнонаправленных жанров» [8. С. 5]), действуют иные принципы циклообразования (общность мотивов, персонажей, рассказчика и т. д.). Именно к таким циклам относится «Перламутровый ларец»: хотя чаще всего он и называется сборником новелл, причисление всех текстов к жанру новеллы является упрощением.

Вопрос о жанровой принадлежности текстов, составляющих цикл, представляется достаточно сложным. Это объясняется не только разнородностью входящего в книгу материала, но и тем, что в исследовательской литературе не существует однозначной жанровой классификации прозаических текстов малого объема. Вслед за Робертом Ф. Малером [9] в данной статье мы разграничиваем понятия «рассказ» и «новелла», считая их жанрами с различными формальными и содержательными признаками. В случае «Перламутрового ларца» жанровыми образцами, по которым строятся тексты, являются легенда, новелла и рассказ.

Отнести тексты первой части сборника к жанру новеллы не представляется возможным, поскольку в них отсутствует необходимый для новеллы композиционный элемент – пуант, неожиданная развязка. Тексты строятся по известному образцу, в связи с чем фабульность и остросюжетность в них предельно ослаблены. Эта часть стилизована под раннехристианские биографии святых, поэтому необходимо сопоставление текстов с каноном данного жанра. Религиозная легенда обычно определяется как «первоначально термин средневековой католической письменности, впоследствии – жанр средневековой повествовательно-дидактической литературы (жизнеописания святых, затем – любые тексты религиозно-назидательного содержания)» [10. С. 432]. Основным, но вовсе не обязательным объектом описания легенды становится жизненный путь святого. Поскольку легенда стремится повлиять на читателей или слушателей, она написана благочестивым, но простым языком; ее

темой является чудо, чаще всего неканоническое, не отраженное в священных текстах или не подтвержденное официальными источниками.

С одной стороны, тематически данная группа текстов вполне соответствует жанру легенды, поскольку повествует о святых и их духовных подвигах. Франса с детства привлекали жития святых, он «...был способен чувствовать поэзию христианских легенд и эстетическое обаяние церковного ритуала» [11. С. 17]. В текстах присутствуют такие обязательные для агиографической легенды мотивы, как испытание, чудо, прижизненное или посмертное, признание окружающими святости персонажей. Время и место действия легенд, согласно законам жанра, достаточно условны и могут быть с легкостью изменены. В то время как новелла утверждает игру случая и случайности, легенда возводит в ранг истины давно известное, предустановленное веками. Суть легенд – в предсказуемости развития событий, их повторяемости. Исключением является лишь первое произведение – «Прокуратор Иудеи» (*Le procureur de Judée*), по типу повествования отличающееся от остальных текстов первой части и выполняющее прежде всего композиционную функцию, которая будет определена позже.

С другой стороны, однозначно причислить эту группу текстов к агиографическим легендам нельзя, поскольку в тексты вводятся элементы, чуждые этому жанру и влекущие за собой концептуальные преобразования. Прежде всего, изменяется, по сравнению с религиозным жанром, отношение к языку и повествованию. Благодаря тому, что «большое внимание уделяется деталям, сравнениям с драгоценными камнями, цветам, материалам <...> в легенде возникает противоречащий ценностям христианства культ красоты, изящества, роскоши» [12. С. 76]. Для религиозных же легенд типичен простой, лаконичный стиль, соответствующий духу христианства. Наоборот, мораль и дидактизм занимают все меньше места.

Большинство «легенд» написано от лица всеведущего повествователя (лишь в двух случаях из шести мы имеем дело с явным пересказом, оформленным посредством введения рамы) с эксплицированной точкой зрения: он разделяет строго христианскую позицию, которую постоянно противопоставляет языческой. Взгляд на него автора достаточно ироничен, поскольку его основной чертой является ригоризм. З.А. Венгерова характеризует отношение Франса как «философию терпимости, основанную на отсутствии той полной и совершенной истины, которая исключала бы противоположную ей» [13. С. 22]. Повествователь не замечает противоречий, содержащихся в текстах легенд: обилия фантастических существ (фей, фавнов), которые встречаются и разговаривают с отшельниками и святыми, возможности двоякого истолкования чуда.

Иногда повествовательная техника усложняется, как, например, в «Схоластике» (*Scholastica*), где приводятся две концепции чуда, две его трактовки: христианская и языческая, которым соответствуют две повествовательные техники. Первая часть, «христианская», написана сторонним наблюдателем и повествует о духовном подвиге супругов Схоластики и Иньюриоза, сохранивших целомудрие в браке. Мысли и внутренняя речь героев не передаются и не комментируются, повествование лишено всякой субъективности и обезличено: «После десятилетнего искуса Схоластика умерла» [14. Т. 2. С. 698].

Когда на могилах супругов вырастают розы, соединяя их, люди видят в этом знак их святости. Вторая часть сообщает мысли язычника Сильвана, осмысление им увиденного как знака сожаления Схоластики о неизведанной земной любви: «Это чудо учит нас вкушать радость жизни, пока есть время» [14. Т. 2. С. 699]. В текст вводится сложная система комментариев, призванная выразить, как может показаться, мнение повествователя: «Так думал в простоте своей язычник Сильван» [14. Т. 2. С. 699]. Однако этот на первый взгляд ироничный по отношению к персонажу комментарий на деле обращивается иронией по отношению к повествователю, когда в сборнике встречается новелла «Лесли Вуд» (*Leslie Wood*) на такой же сюжет, но уже из современной жизни и подтверждающая правоту Сильвана. Венгерова отмечает парадоксальную особенность философии Франса – «отрицательное отношение ко всем религиозным учениям и вместе с тем его сочувствие ко всем, кто исповедует эти учения» [13. С. 17]. В то же время в третьей части цикла, в «Эпизоде из времен флореаля II года республики» (*Anecdote de floréal, an II*), главная героиня, которой предоставляется возможность соединиться с тем, «кто ее любил и чьей любовницей она не стала» [14. Т. 2. С. 792], вновь добровольно отказывается от такой возможности, предпочитая ей смерть на гильотине. В отличие от Схоластики, графиня Фанни д'Авенэ руководствуется не верой, а рассудком [14. Т. 2. С. 793], она открыто сожалеет о своей «жизни безмятежной, благополучной <...> но не ведавшей ни страстей, ни душевных бурь» [14. Т. 2. С. 792-793], но иное сознание героини ведет к тому же исходу. Ироническое отношение к повествователю не означает его осуждения. Подобная игра с повествовательными инстанциями и техниками невозможна для традиционной легенды.

В первой части цикла доминирует мысль о том, что истинная религия многогранна и не сводится к учениям богословов: она может с легкостью включать в себя языческие элементы. «Самым неожиданным образом язычество выполняет миссию христианства, а в самом христианстве сплетаются нравственные подвиги с непобедимыми слабостями» [13. С. 16–17]. Андрей Левинсон подчеркивал, что Франс «...своим творчеством вскрывал тщету всякой веры, изнанку всякого величия...» (цит. по: [15. С. 203]). Таким образом, традиционная фабула легенды осложняется неоднозначной авторской позицией, выстраивающей непростые отношения читателя с текстом и привносящей элемент неожиданности, новизны в трактовку традиционных сюжетов. В связи с этим условно можно определить эту группу текста как новеллистические легенды.

Назвать вторую, самую малочисленную, группу текстов произведениями «из современности» можно с некоторой натяжкой, поскольку она повествует не об определенном десятилетии, а скорее обо всем XIX в. От первой части цикла эти тексты отличает светская трактовка тем, хотя все они в той или иной степени связаны с религией; от третьей – отсутствие исторической проблематики. В то же время используются иные принципы построения текстов.

Центральная часть «Перламутрового ларца» более соответствует жанровому канону новеллы, подробно описанному в исследовательской литературе. Основным жанрообразующим признаком новеллы считается необычность происходящих в ней событий, диктующая особенности ее композиции, кото-

рая призвана удивить читателя. «Новелла должна строиться на основе какого-нибудь противоречия, несовпадения, ошибки, контраста и т. д. Но этого мало. По самому своему существу новелла, как и анекдот, накапливает весь свой вес к концу. Как метательный снаряд, брошенный с самолета, она должна стремительно лететь книзу, чтобы со всей силой ударить своим острием в нужную точку. <...> ...Новелла тяготеет именно к максимальной неожиданности финала, концентрирующей вокруг себя все предыдущее» [16].

Элемент неожиданной развязки, открывающей читателю некую до сих пор скрытую истину о персонажах, ярко выражен в этой части книги. Почти все новеллы, несмотря на их отнесенность к современности, содержат явный, никак не комментируемый фантастический элемент. Это, например, появление призраков в «Обедне теней» (*La Messe des ombres*), встречи Вуда с умершей женой Анни в «Лесли Вуде», поразительное сходство абсолютно посторонних друг другу людей – маленького крестьянского мальчишка Элуа Блена и умершего задолго до него Андре Мари Ампера в «Записках сельского врача» (*Le Manuscrit d'un médecin de village*). Интерес Франса к «загадочному и сверхъестественному» [2. С. 58] был не случаен и отразился не только в художественных произведениях, но и в статьях (*Roman et magie, L'Hypnotisme dans la littérature*). Чудо, по мнению Франса, влечет к себе каждого: «Скажем откровенно, в глубине у всех нас таится любовь к сверхъестественному. Даже самых благоразумных влекут к себе чудеса: они не верят в них, но очарование от этого не становится меньше. Да, мы, кичащиеся собственной мудростью, любим все сверхъестественное какой-то безнадежной любовью» [14. Т. 8. С. 157].

Неожиданность финалов подчеркивается особенностями повествовательной организации этой группы текстов, в которой используется сложная система повествовательных инстанций. Новеллы в основном написаны от лица персонифицированного рассказчика, слышащего или читающего рассказ «второго» рассказчика, выдержки из дневника. В то же время этот рассказ включает в себя чужое слово (рассказ другого персонажа, множество противоположных точек зрения на центрального персонажа).

Тем не менее элемент «новизны» ослабляется за счет того, что новелла может в фабульном отношении повторять легенду из предыдущей части. Так, «Лесли Вуд» является параллелью к «Схоластике», повествуя о чисто духовном браке не в эпоху раннего христианства, а в современном обществе. «Гестас» (*Gestas*) представляет собой вариацию на тему «Жонглера Богоматери» (*Le Jongleur de Notre-Dame*), также рассказывая о благодати, сходящей на юродивых, отверженных, «обездоленных и неимущих» [14. С. 723], казалось бы, людей. Несмотря на свои дурные склонности, Гестас «на редкость простосердечен и сохранил наивную ребяческую веру» [14. Т. 2. С. 722]. Эффект неожиданности, таким образом, создается не столько фабульными приемами, сколько необычностью взгляда на предмет, нетривиальностью сопоставления: пьяница Гестас приобретает черты новозаветного разбойника, крестьянский ребенок – гениального физика.

Однако эта новизна не доводится до своего логического завершения. Так, в «Записках сельского врача» отсутствует какое-либо объяснение доктором наблюдаемых им удивительных совпадений: «В это мгновение мне, наконец,

с непреложной ясностью открылось, какого гениального ребенка сразила смерть год тому назад на ферме в Али» [14. Т. 2. С. 738]. В «Гестасе» вывод противоречит логике жизни: «Не входя в рассмотрение сложного вопроса о предопределении и не изучая взглядов на сей предмет блаженного Августина, Готезиала, альбигойцев, последователей Виклифа, гуситов, Лютера, Кальвина, Янсения и великого Арно, можно, однако, предположить, что Гестасу предуготовано вечное блаженство» [14. Т. 2. С. 729]. Так же как в первой части многообразие форм религиозного чувства опровергает церковный ригоризм, во второй, «новеллистической», части утверждается идея о торжестве законов жизни, не подчиняющихся сухой логике, выраженных в «сюрпризах наследственности», в святости пропойцы, в торжестве любви над смертью.

В третьей части цикла, повествующей о событиях времен Французской революции, фабульность текстов носит скорее условный характер, элемент новизны выражен недостаточно явно. Эти черты – «малое развитие фабулы, слабость беллетристической выдумки» – П.К. Губер называет типичными для творчества писателя в целом [11. С. 28]. Сложно согласиться с мнением Д.С. Наливайко о том, что почти все «новеллы» из третьей части «остро сюжетны, и цель каждой из них – в воспроизведении своеобразия нравов и психологии эпохи, ее исторической “экзотики”» [4. С. 6]. Жизнеописание персонажей предельно конспективно, события не имеют никакого центра устремления. Стиль изложения обрывистый, едва ли соблюдены какие-либо причинно-следственные связи: «Что касается г-жи Бертемэ, то, несмотря на свою порывистость, это была лучшая из женщин. Ее восторженность не имела пределов. Попугаи, экономисты и стихи г-на Милля совершенно лишали ее душевного равновесия. Она благоволила ко мне в короткие часы досуга, ибо почти все ее время было занято газетами и Оперой. Она была единственной женщиной, после своей дочери, встречаться с которой мне доставляло удовольствие» [14. Т. 2. С. 755]. Повествование, построенное не на конфликте, лишено логического завершения, как и фабулы в целом. В «Обыске» (*La Perquisition*) отсутствует всякое разрешение у начальной фабулы: признания в любви любовника, прошедшего испытание. Фанфан-Тюльпан из «Оловянного солдатика» (*Le Petit soldat de plomb*) прямо заявляет о том, что рассказывает одну из историй времен войны; столетняя временная дистанция лишает ее всякого смысла. Главенствует поэтика недосказанности, недомолвок; изображенная сцена предстает как одна из серии подобных. Нет никакой экспозиции, связи между персонажами не объясняются, их предыстория отсутствует. Разговоры о политике и общественном устройстве в «Рассвете» (*L'Aube*) заканчиваются рассуждениями о существовании таинственного, неосознаемого мира; природа торжествует над социумом.

Необходимо отметить, что подобные особенности текстов этой части обусловлены историей их создания. Пять из них – «Рассвет», «Госпожа де Люзи» (*Madame de Luzy*), «Дарованная смерть» (*La Mort accordée*), «Эпизод» и «Обыск» – изначально являлись главами незавершенного исторического романа «Алтари страха», работу над которым Франс прекратил в 1892 г. [2. С. 7]. «Чтобы завершить разрушение романа и придать новорожденным новеллам характер самостоятельных и законченных произведений, писатель

“разукрупнил” основных героев романа, заставив их выступать в новеллах под различными именами...” [3. С. 60].

Повествовательная позиция в третьей части цикла более разнообразна, нежели в первых двух. Это и персонифицированный рассказчик, чья точка зрения ограничена, и сторонний наблюдатель, который в большинстве случаев не в состоянии передать чувства и мысли персонажей, и репортажный стиль повествования, отказывающийся от комментариев по поводу происходящего. Для всех форм повествования характерны ограниченность, недосказанность, отрывочность, хотя формально рассказы демонстрируют установку на достоверность: «Все события, изложенные в «Записках», достоверны и заимствованы из различных рукописей XVIII века. В них нет ни одного обстоятельства, которое не было бы подтверждено документально» [14. Т. 2. С. 739]; «Рукопись от 15 сентября 1792 г.» [14. Т. 2. С. 781]. В «Оловянном солдатике» рассказчик «выдает» себя, признаваясь в том, что излагает истории, произошедшие сто лет тому назад.

«Незавершенность» рассказов подчеркивается и выбором композиционных форм речи, среди которых явно доминируют описание и прямая речь персонажей. Лишь в двух рассказах («Госпожа де Люзи» и «Обыск») повествование занимает основную часть текста, сообщающего о серии событий, действий. В связи с этим в данных текстах, в отличие от большинства других, присутствует подобие кульминации: не найденный полицией Планшоне, спрятавшийся между матрасами; не замеченное полицейскими письмо, торчащее из-под дивана. Однако напряжение разряжается при помощи лаконичных финальных реплик персонажей: « – Слава богу! – воскликнула она. – Вы меня страшно испугали, господин Планшоне! Я думала, вы умерли» [14. Т. 2. С. 786] или неожиданной смены настроения: «Она бежит, с задорным смехом, поцеловать своего Пьера, который, сжав кулачки, спит, не подозревая, какой хаос царит вокруг его колыбели» [14. Т. 2. С. 806]. Необходимо отметить сходство обоих текстов на уровне конфликта.

В жанровом отношении третья группа текстов может быть определена как рассказ. Основной формальной чертой рассказа признается его краткость [17], которая имеет глубокое содержательное значение. Эквивалентная не лаконичности, но эллиптичности [18. С. 469], краткость диктует выбор центрального события, выходящего за рамки привычного, повседневного, хотя и далекого от авантюрно-приключенческого [18. С. 468–469]. Чарльз Мэй описывает эту черту рассказа как способность отражать человеческую реальность в моменты, которые нельзя считать обыденными [18. С. 469].

События Французской буржуазной революции, далекие от повседневных, действительно позволяют проявить истинный характер персонажей: самообладание слабой женщины, способность на самопожертвование, мужественность. Так, Фанни д’Авенэ добровольно отказывается от надежды на спасение, опасаясь за жизнь чужой ей девушки Розы; Полина де Люзи рискует своей жизнью ради соседа-философа. Жюли выказывает удивительное хладнокровие перед лицом грозящей ей опасности: «И она видит, что из-под чехла выглядывает, точно белое ушко котенка, уголок конверта. Тут тревога внезапно покидает ее. Уверенность в неминуемой гибели вселяет в нее спокойствие и налагает на ее лицо выражение, похожее на беспечность. Она не со-

мневается, что эти люди увидят, как видит она сама, злополучный клочок бумаги. Белый на красном ковре, он бросается в глаза. Но она не знает, обнаружат ли его сразу же или несколько позже. Незнание занимает и развлекает ее. В эту трагическую минуту она забавляется своеобразной игрой в загадки, глядя, как патриоты то удаляются, то приближаются к дивану» [14. Т. 2. С. 805–806].

В то же время эти исключительные, ужасные по своей сути события представляются персонажам как обыкновенные: «Преследуют какого-нибудь несчастного, – сказал я. – В Париже днем и ночью идут обыски и аресты» [14. Т. 2. С. 782]. Смерть соседствует с заботами о быте и внешности («Эпизод»), никого не удивляет обращение к властям с просьбой об аресте из желания умереть вместе с возлюбленной вместо попыток спасти ее («Дарованная смерть»).

Таким образом, третья часть «Перламутрового ларца» в какой-то мере противоположна его первой части. На смену легенде приходит рассказ: фантастическое сменяется историческим, вечное и универсальное – частным и обусловленным эпохой, бесстрастность – эмоциональностью, предсказуемость и универсальность – случайностью и недосказанностью. Подобный контраст еще больше подчеркивает общность проблем, ситуаций, в которые попадают персонажи, и решений, которые они принимают.

Поскольку «особенность цикла как текста состоит в его внутренней дискретности, как контекста – в его линейной структурированности: цикл – это однозначно задаваемая автором последовательность произведений» [7. С. 13], возникает вопрос, почему же три части «Перламутрового ларца» располагаются именно в такой последовательности. Первая часть предшествует двум другим во временном отношении, однако вторая и третья части нарушают хронологическую логику. Для подобной композиции есть несколько причин.

Во-первых, нарушение хронологии лишает читательское восприятие новеллы линейности, однонаправленности из прошлого в будущее, предполагающей идею исторического развития, прогресса, противопоставления древнего и нового мира. «Перламутровый ларец» как цикл скорее выражает идею циклического времени, повторяемости сюжетов и судеб вне зависимости от исторического контекста. Происходит сближение совершенно различных культурно-исторических мотивов. Так, «Амикус и Целестин» (*Amicus et Celestin*) из первой части, чье основное действие происходит на Пасху, перекликается с «Рассветом» из третьей части, описывающим ночь падения Бастилии. В обоих текстах мы встречаем двух противоположных персонажей – отшельника и фавна, энтузиаста и скептика, – которые одинаково радуются наступлению новой жизни. Но не остается незамеченным и разительный контраст атмосферы произведений: всеобъемлющая, абсолютная радость первого и тревожность, предчувствие бед второго. Тема торжества любви над смертью также неоднократно поднимается в «Перламутровом ларце», решаясь то мистически («Обедня теней»), то героически («Дарованная смерть»), а героиня «Рассвета», хранящая духовное единство со своим погибшим мужем, почти повторяет слова Лесли Вуда, к которому умершая жена является во плоти. Так, постоянно сопоставляясь и противопоставляясь друг другу, отдельные части цикла создают сложную и противоречивую картину жизни.

Во-вторых, поскольку соседство древности и современности выявляет их идентичность, наличие и актуальность одних и тех же тем и проблем в разные эпохи, на первый план выходит вопрос о смысле исторического развития. История и ее смысл могут быть постигнуты только с учетом общечеловеческих ценностей и с некоторой временной дистанции. Мы считаем, что именно поэтому сборник открывается легендой «Прокуратор Иудеи», заключающей в себе основную идею «Перламутрового ларца» о том, что нельзя ограничиваться современностью при попытке понять суть происходящих событий. «Новелла заключает мысль о том, что современники зачастую не способны постичь объективный смысл деятельности окружающих их людей, в полной мере оценить все историческое значение происходящих вокруг них событий» [3. С. 55]. Необходимо сопоставление с иными веками, обнаружение общей закономерности в цепи событий. Почти в самом конце цикла, в «Оловянном солдатике», вновь возникает тема истории: «Ведь я и сам собственными глазами видел, как он [*маршал Саксонский*] недвижно лежал на своем переносном ложе. Но хорошее воспитание, почтение, уважение и благоговение к полководцу заставили меня об этом умолчать. И поскольку я знаю, как надобно рассказывать о подобных вещах, я и заменил носилки резвым скакуном. Вот как следует писать историю» [14. Т. 2. С. 799–800]. Эти слова как бы служат ответом на мысль Ламии в «Прокураторе Иудеи»: «Туманное будущее не должно тревожить мудреца ни опасениями, ни надеждами. Не все ли равно, что будут люди думать о нас. Мы сами свидетели и судьи своих деяний» [14. Т. 2. С. 665]. Однако обе эти идеи принадлежат персонажам, авторское отношение к которым иронично. Понимание закономерности исторического процесса необходимо и достигается путем беспристрастного анализа. Сила революции, негативно нарисованная Франсом в этом цикле [3. С. 22], отрицает эту закономерность, видит лишь самое себя. Этим она противопоставлена большинству женских образов сборника, для которых превыше всего – любовь и человечность.

В-третьих, первая и третья части образуют своего рода параллель. Эпоха христианства позиционирует себя как новая, начиная свое собственное летоисчисление. Точно таким же образом Французская революция вводит собственный календарь. Именно поэтому заглавием одного из рассказов служит временная координата, не выполняющая никакой сюжетной функции в тексте («Эпизод из времен флореаля II года республики»), но подчеркивающая этот аспект деятельности революционеров. Герои третьей части «Перламутрового ларца» – это те же подвижники, готовые пожертвовать всем, включая собственную жизнь, ради истины. В отличие от святых из первой части, они лишены той безусловной веры, которая дарует спокойствие, и воспринимают личную смерть не как долгожданную награду, а как трагедию, однако их поступки остаются теми же.

Наконец, смешение нескольких временных пластов с достаточно точной временной локализацией (в основном IV в., 1790-е, 1880-е гг.) в сочетаемости с повторяемостью сюжетов служит размыванию временных границ, выводит повествование во вневременной план, доказывает повторяемость и предопределенность жизненных законов.

Таким образом, «Перламутровый ларец» представляет собой цикл, объединяющий несколько разновидностей малой эпической формы, которые следуют друг за другом в определенной логике: этот порядок является одним из способов выражения авторской интенции.

Литература

1. Пепеляева Е.В. Исследовательская циклизация лирики как теоретическая проблема // Вестн. Перм. гос. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2012. № 2. С. 174–180. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=17798074> (дата обращения: 18.07.2013).
2. Ковалева И.С. Творчество Анатоля Франса в годы перелома (1889–1895): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1955. 16 с.
3. Лиходзиевский С.И. Анатоль Франс: очерк творчества. Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1962. 419 с.
4. Наливайко Д.С. Французская буржуазная революция 1789–1794 гг. в творчестве Анатоля Франса: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1960. 21 с.
5. Никольский Е.В. Циклизация в исторической прозе Всеволода Соловьева // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2011. №1. С. 22–25. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=16758103> (дата обращения: 18.07.2013).
6. Сапогов В.А. Цикл // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А.А. Сурков. М., 1975. Т. 8. Стб. 398–399.
7. Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. 280 с.
8. Шпрага Е.А. Прозаическая циклизация и ее роль в русском литературном процессе 1820–30-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2009. 23 с.
9. Marler R.F. From Tale to Short-Story: the Emergence of a New Genre in the 1850's // American Literature. May 1974. Vol. 46. Issue 2. P. 153–169. URL: <http://82.179.249.32:2080/eds/detail?vid=4&sid=4013300b-aa09-4dc7-af9d-d83393236846%40sessionmgr15&hid=102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=aph&AN=10116008> (дата обращения: 27.07.2013).
10. Зуева Т.В. Легенда // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001. С. 432.
11. Губер П.К. Анатоль Франс: Критико-биографический этюд. Пг.: Полярная звезда, 1922. 54 с.
12. Тулякова Н.А. Мотив женско-мужской травести в литературной легенде XIX века // Вестн. Нижневарт. гос. гуманитар. ун-та. 2013. № 2. С. 71–77. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=19109510> (дата обращения: 18.07.2013).
13. Венгерова З.А. Анатоль Франс. М.: Заря, 1910. 54 с.
14. Франс А. Собрание сочинений: в 8 т. / под общ. ред. Е.А. Гунста, В.А. Дынник, Б.Г. Реизова. М.: Худож. лит., 1957–1960.
15. Пахсарьян Н.Т. Франс Анатоль // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940): в 3 т. М., 2003. С. 201–210. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=18078961> (дата обращения: 18.07.2013).
16. Эйхенбаум Б.М. О.Генри и теория новеллы. URL: <http://www.opojaz.ru/ohenry/ohenry01.html> (дата обращения: 18.07.2013).
17. Pattee F.L. The Development of the American Short Story. An Historical Survey. New York; London: Harper & Brothers, 1923. 388 p. URL: <http://archive.org/details/developmentofame00patt> (дата обращения: 26.07.2013).
18. May Ch.E. Prolegomenon to a Generic Study of the Short Story // Studies in Short Fiction. Fall 1996. Vol. 33. Issue 4. P. 461–73. URL: <http://82.179.249.32:2080/eds/detail?vid=7&sid=4013300b-aa09-4dc7-af9d-d83393236846%40sessionmgr15&hid=102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=f5h&AN=813339> (дата обращения: 30.07.2013).

Nikitina Natalia A., Tulyakova Natalia A., Saint-Petersburg Branch of the National Research University Higher School of Economics (Saint-Petersburg, Russian Federation).

E-mail: gromovanat@list.ru / n_tulyakova@mail.ru DOI 10.17223/19986645/27/9

L'ETUI DE NACRE BY ANATOLE FRANCE: GENRE AND STRUCTURE.

Keywords: cycle, genre, literary legend, tale, short story, structure, Anatole France.

The article considers the book *L'Etui de Nacre* by Anatole France as a cycle which combines texts belonging to different forms of small epic genres. The analysis of the genres within the cycle leads the authors of the article to the conclusion that the first part of the book comprises texts of literary legends, complicated by the elements of the tale. The subject, the system of images and motifs are borrowed from the genre of hagiographic legend, whereas the narrative strategies and the author's ironic attitude can be characterised as elements typical of the genre of tale (novella) and are aimed at deceiving the reader's expectations. The second part of the book, devoted to France's contemporaneity, contains texts that correlate with the genre of tale. Among their typical features are the explicit plot and the vivid pointe. The third part consists of texts that can be defined as short stories. Initially supposed to become chapters of a novel, the texts that appear in the book as separate stories are characterised by fragmented structure, weak plot line, laconic style, which are typical of the short story.

The next stage is the analysis of the cycle structure, the principles of uniting the texts into the book and their place within the cycle. It is claimed that the different parts of the cycle contain stories that share the same motifs or ideas but are presented in the traditions of various genre canons. The fact that the chronological succession is broken can be explained by France's concept of history. According to the writer, history does not presents a linear, but a cyclic development, therefore instead of a chronological structure of the book a juxtaposition of different historical epochs is chosen – the first centuries of Christianity, the end of the nineteenth century, and the events of the French Bourgeois revolution. Besides, *L'Etui de Nacre* is opened and closed with the idea that it is possible to comprehend the essence of history only from a certain time distance. When France breaks the time logic, he allows the reader to look at each period of time "from without".

The integrity of the motifs, narrative techniques and the author's attitude makes it possible to unite the stories which demonstrate the features of the literary legend, tale and short story. The unification leads to the appearance of additional messages and serves as a means of expressing the author's position in the complex narrative structure of individual texts.

References

1. *Pepelyaeva E.V.* Issledovatel'skaya tsiklizatsiya liriki kak teoreticheskaya problema // Vestn. Perm. gos. un-ta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya. 2012. № 2. S. 174–180. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=17798074> (data obrashcheniya: 18.07.2013).
2. *Kovaleva I.S.* Tvorchestvo Anatolya Fransa v gody pereloma (1889–1895): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. L., 1955. 16. s.
3. *Likhodzievskiy S.I.* Anatol' Frans: ocherk tvorchestva. Tashkent: Goslitizdat UzSSR, 1962. 419 s.
4. *Nalivayko D.S.* Frantsuzskaya burzhuznaya revolyutsiya 1789–1794 gg. v tvorchestve Anatolya Fransa: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. L., 1960. 21 s.
5. *Nikol'skiy E.V.* Tsiklizatsiya v istoricheskoy proze Vsevoloda Solov'eva // Vestn. Adyg. Gos. un-ta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie. 2011. №1. S. 22–25. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=16758103> (data obrashcheniya: 18.07.2013).
6. *Sapogov V.A.* Tsikl // Kratkaya literaturnaya entsiklopediya / gl. red. A.A. Surkov. M., 1975. T. 8. Stb. 398–399.
7. *Lyapina L.E.* Tsiklizatsiya v russkoy literature XIX veka. SPb.: NII khimii SPbGU, 1999. 280 s.
8. *Shraga E.A.* Prozaicheskaya tsiklizatsiya i ee rol' v russkom literaturnom protsesse 1820–30-kh gg.: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. SPb., 2009. 23 s.
9. *Marler R.F.* From Tale to Short-Story: the Emergence of a New Genre in the 1850's // American Literature. May 1974. Vol. 46. Issue 2. P. 153–169. URL: http://82.179.249.32:2080/eds/detail?vid=4&sid=4013300b-aa09-4dc7-a9d-d83393236846%40ses_sionmgr_15&hid=102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=aph&AN=10116008 (data obrashcheniya: 27.07.2013).
10. *Zueva T.V.* Legenda // Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy / gl. red. i sost. A.N. Nikolyukin. M., 2001. C. 432.
11. *Guber P.K.* Anatol' Frans: Kritiko-biograficheskiy etyud. Pb.: Polyarnaya zvezda, 1922. 54 s.
12. *Tulyakova N.A.* Motiv zhensko-muzhskoy travestii v literaturnoy legende XIX veka // Vestn. Nizhnevart. gos. gumanit. un-ta. 2013. № 2. S. 71–77. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=19109510> (data obrashcheniya: 18.07.2013).
13. *Vengerova Z.A.* Anatol' Frans. M.: Zarya, 1910. 54 s.

14. *Frans A.* Sobranie sochineniy: v 8 t. / pod obshch. red. E.A. Gunsta, V.A. Dynnik, B.G. Reizova. M.: Khudozh. lit., 1957–1960.

15. *Pakhsar'yan N.T.* Frans Anatol' // Literaturnaya entsiklopediya russkogo zarubezh'ya (1918–1940): v 3 t. M., 2003. S. 201–210. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=18078961> (data obrashcheniya: 18.07.2013).

16. *Eykhenbaum B.M.* O.Genri i teoriya novelly. URL: <http://www.opojaz.ru/oheny/oheny01.html> (data obrashcheniya: 18.07.2013).

17. *Pattee F.L.* The Development of the American Short Story. An Historical Survey. New York; London: Harper & Brothers, 1923. 388 p. URL: <http://archive.org/details/developmentofame00patt> (data obrashcheniya: 26.07.2013).

18. *May Ch.E.* Prolegomenon to a Generic Study of the Short Story // Studies in Short Fiction. Fall 1996. Vol. 33. Issue 4. P. 461–73. URL: <http://82.179.249.32:2080/eds/detail?vid=7&sid=4013300b-aa09-4dc7-af9d-d83393236846%40sessionmgr15&hid=102&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#db=f5h&AN=813339> (data obrashcheniya: 30.07.2013).

УДК 82'04; 2-335
DOI 10.17223/19986645/27/10

С.К. Севастьянова

«НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА» ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО И «НАСТАВЛЕНИЕ ЦАРЮ» КАК ИСТОЧНИКИ «ВОЗРАЖЕНИЯ» ПАТРИАРХА НИКОНА¹

В статье рассмотрены способы использования патриархом Никоном в качестве источников «Возражения» «Нравственных правил» святителя Василия Великого и «Наставления царю» – сборника назиданий, составленного Никоном на основе и по подобию «правил» и адресованного царю Алексею Михайловичу. Правила и наставления близки по форме и содержанию, поэтому для датировки «Возражения», характеристики тех или иных полемических приемов, выбранных автором для обличения оппонентов, установления последовательности составления ответов-возражений, выявления способов цитирования источников, состоящих из фрагментов библейских текстов, принципиальное значение имеет то, на какой из двух назидательных источников опирался автор, возражая оппонентам.

Ключевые слова: Святитель Василий Великий, патриарх Никон, «Нравственные правила», «Наставление царю», «Возражение», полемические приемы, способы цитирования.

Сочинения архиепископа Кесарийского Василия Великого, наряду с сочинениями еще двух Вселенских святителей и учителей Церкви Иоанна Златоуста и Григория Богослова, составляли ядро традиционной древнерусской книжности². Цитировали слова и поучения Василия Великого князь Владимир Всеволодович Мономах, и киевский митрополит Фотий, автор Жития преподобного Сергия Радонежского, и соловецкий книжник Сергей Шелонин; переводили произведения каппадокийского святителя Максим Грек и старец Артемий; неоднократно переписывал их и архиепископ Вологодский и Белозерский Симон; а князь Андрей Курбский и ревнитель древнего благочестия Стефан Вонифатьев признавали проповеди и поучения этого отца Церкви образцами поэтической речи и высокого риторического стиля. Следуя традиции составления произведений с опорой на авторитетный источник, не позднее декабря 1662 г., на основе «Нравственных правил» Василия Великого (далее: Правила) патриарх Никон составил «Наставление царю» (далее: Наставление) и адресовал собственную книгу поучений Алексею Михайловичу [1. С. 339–403]. Работая над своим главным полемическим сочинением «Возражением» на вопросы-ответы боярина С.Л. Стрешнева и газского митрополита Паисия Лигарида, Никон вновь обратился к сборнику кесарийского святителя.

В связи с исследованием святоотеческих основ богословия патриарха Ни-

¹ Статья подготовлена в рамках проекта «Эволюция повествовательных жанров в русской литературе: от Средневековья к Новому времени» (номер гос. регистрации 01201268780).

² Для обозначения правил святителя Василия Великого и составляющих их глав используется форма через вертикальную черту: правило / глава.

кона к изучению Правил в составе «Возражения» обратилась Н.В. Воробьева, посвятив этому вопросу ряд статей и раздел в диссертации [2. С. 47–50; 3. С. 75–77; 4. С. 25–27]. Работы исследовательницы вызывают много вопросов. Внимательно читаю выводы Воробьевой: «По нашим подсчетам, в “Возражении, или Разорении...” 417 заимствований из нравственных правил свт. Василия Великого... У патриарха Никона наиболее часто встречается немаркированное использование 70 правила (48 упоминаний – 12%), 69 правила (33 упоминания – 8%), 72 (18 – 4%) и 80 правила (16 – 4%). Из 80 правил использованы 69. Патриарх Никон использует 70-е правило в 1 (4 упоминания), 5 (4), 6 (1), 9 (4), 10 (1), 11 (1), 14 (3), 17 (6), 18 (1), 20 (2), 22 (1), 24 (3), 26 (17) возражениях, причем именно правило 70. В некоторых случаях тематическая группа цитат следует без наименования правила и отсутствует первая цитата-выписка из Нового Завета, не называя того или иного правила Василия Великого, патриарх Никон пользовался ими (судя по подстрочным примечаниям), цитируя из разных источников, прежде всего, из “Кормчей” (л. 173 об. “Возражения” – л. 61 об.–62 “Нравственных правил”))» [4. С. 26]. Не совсем ясно, что Воробьева подразумевает под «нравственными» правилами Василия Великого. Напомню, что Правила святителя Василия Великого – это сборник из 80 правил-разделов, каждый из которых включает в себя несколько глав – всего 233. Постановления, которые перечислены в цитате, делятся на подразделы. Какие из них использует патриарх Никон, из работ Воробьевой не ясно. 70-е правило – это 37 глав, 69-е правило – 2 главы, 72-е правило – 6 глав, 80-е правило – 23 главы. Проведенное мной пословное сличение Правил и «Возражения» доказало, что правило 70 в «Возражении» привлечено 4 раза (70/3,5,6,23); правило 69 – 1 раз (69/1); правило 72 – 1 раз (72/4); правило 80 – 2 раза (80/2,6)!

«Нравственные правила» Василия Великого никогда не включались в Кормчую. В Древней Руси Правила имели сложную рукописную традицию, а с конца XVI в. стали известны русскому читателю по острожскому изданию в «Книге о постничестве» 1594 г. В Кормчую же, в частности изданную на московском Печатном дворе в 1653 г. по инициативе патриарха Никона, вошли правила святителя Василия Великого из его канонических посланий (всего 91 в главе 21) [5. Л. 224–251], которые имели огромное значение для церковного права и церковной дисциплины вообще: они определяли прощение за грехи; эти постановления вошли во все канонические сборники с разницей в количестве [6. С. 146–147, 180–182]. Воробьева смешивает разные по составу, содержанию и цели сборники правил святителя Василия Великого (морально-этические и дисциплинарные) и называет их «нравственными правилами», что в корне неверно.

Отдельные заключения Воробьевой и пути, которыми она к ним приходит, вызывают недоумение. Так, проследовав по указанному Воробьевой направлению – л. 173 об. «Возражения», в тексте патриарха Никона мной не обнаружено ни упоминаний о каких-либо правилах святителя Василия Великого, ни ссылок на Правила (л. 61 об. – 62)¹. Другой пример. «70 правило, –

¹ Н.В. Воробьева пользуется изданием «Возражения» по списку РГАДА, ф. 27, д. 140, л. 2–1039 [7. С. 197–464]. Нахожу соответствующее место в рукописи по изданию: «(л. 173 об.)ги, яко в нем же

пишет Воробьева, – звучит следующим образом: “Диакону осквернившемуся устами и исповедавшему, что грех его далее не простерся, да будет запрещено священнослужение, но причащаться святых таин с диаконами да сподобится. Так точно и пресвитер. Аще же что более сего согрешившим кто либо усмотрен будет: то в которой бы ни был степени, да будет извержен” (Ап. 25; IV всел. 16; трул. 4, 40, 44; анкир. 19; неокес, 4; Василия Вел. 3, 6, 32, 51, 69)» [3. С. 76]. Это действительно правило 70 Василия Великого, но из Кормчей [5. Л. 244]. Однако Воробьева, давая ссылку на процитированное правило, утверждает, что это 70-е «нравственное правило», которое в указанном ею месте¹ звучит следующим образом: «О врученных проповедь Евангельскую когда и кым и что учити и како предисправляти себе, таковым подобает и дрзати в проповеди и како прилежати о ввереных и каковем устроением и о коих потщаних предварив спешити и како чистотствовати от иже на мнозе последующих властем недостаткох, и в кую приводити меру учительствуема и како приводити съпротивляющаяся и кым образом покарати страха // ради отрицающихся и отходити не приемлющих неразумия ради и како инья рукополагати и отметати рукоположеныа и яко подобает комуждо от предстоащих повинна себе вменяти и ввереным ему в их же творит и глаголет извещение» [8. Л. 43–43 об.]. Далее указывается на многочисленные упоминания этого постановления в «Возражении» (см. цитату выше) и называется конкретная глава правила – 35-я, состоящая из двух новозаветных цитат – Мф. 23: 37–38 и Деян. 13: 46–47, которое, как утверждает Воробьева («причем именно правило 70/35») [3. С. 76], многократно используется патриархом Никоном. Приводятся конкретные листы по рукописи РГАДА, где Воробьева обнаружила тому доказательства. При проведении текстологического анализа 14 списков «Возражения» и пословного сличения Правил с «Возражением» мной не найдено ни одного примера обращения патриарха Никона к правилам святителя Василия Великого 70 из Кормчей и 70/35 из Правил, ни цитаты Мф. 23: 37–38; цитата Деян. 13: 46–47 употреблена патриархом Никоном лишь однажды и в меньших границах, чем указана Воробьевой, в совершенно другой тематической группе заимствований².

застану, в том и сужду тя. Ты глаголеши, чтобы за тебя поведанныя молился и долг твой исправляли. А ты когда и не хошеши поститися и молением молитися и своего правила правити. А подобает, да пошуся, когда хошу (л. 174)» [7. С. 252]. Отсылка Воробьевой к «Нравственным правилам», судя по всему, отправляет к острожскому изданию, где на л. 61 об.–62 располагается текст главы второй двенадцатого правила: «Яко недостойт преданном человеческим последовати и отметати заповеди Божия. “По сих въпросиша Его фарисее и книжницы: “Почто ученицы Твои не ходят по преданию старец, но неумовенами руками снедают хлеб?”». Он же, отвещав, рече им: “Яко добре пророчествова Исаиа о вас, лицемерех, якоже есть писано: ‘сии людие устнами чтут Мя, сердце же их далече отстоит от Мене; сас же чтут Мя, учаще учениа заповедий человеческих’; оставльше бо заповеди Божия, держите предания человеческая” и прочая» [8. Л. 61 об.–62]. Очевидно, что тексты патриарха Никона и святителя Василия Великого не имеют связи.

¹ Из раздела «Литература» после статьи: «13. *Василий Вел.* Книга о постничестве. Острог, 1594. Л. 43–43 об.» и «14. *Василий Великий.* Нравственные правила. СПб., 1998» [3. С. 77].

² «Да ты же пишешь, се сон есть смертоносный, не достойно человеку долго спати, которой имеет советы на своей главе, нет, не подобает, негодно. Вся ми лег суть, но не вся на ползу, вопиет апостол. И сам той божественный апостол учит: Вам бе лепо переее глаголати слово Божие, а понеже отвергосте его и недостойны творите сами себе вечному животу. Се обращаемся во языки, тако бо заповеда нам Господь [Деян. 13: 46–47]. Противящим же ся им и хулящим, отряс ризы своя, рече к ним, кровь ваша на главах (л. 164) ваших, чист аз,

Следуя за Воробьевой по ссылке¹, на указанных ею листах текст с цитатой Мф. 23: 37–38 не обнаружен².

Примеры, доказывающие небрежность изучения Н.В. Воробьевой главной труда всей жизни патриарха Никона, можно умножить. Замечу, что заметная часть работ этого автора о письменном наследии первосвятителя написана в такой же манере. Особенно поражают бесстрашные и неосмотрительные выводы Воробьевой, когда она касается вопросов, весьма далеких от предмета ее ученых занятий. Работы такого рода не позволяют приблизиться к пониманию личности патриарха Никона и его идей, соответственно, прийти к правильной оценке противоречивых историко-культурных процессов середины и второй половины XVII в., участие в которых он принимал.

Совершенно очевидно, что принципы работы патриарха Никона с сочинениями Василия Великого нуждаются в новом изучении. При этом, как показано выше, необходимо различать сборники постановлений каппадокийского святителя, поскольку у них разные адресаты, содержание и цели. Настоящая статья посвящена изучению приемов работы патриарха Никона над «Нравственными правилами» Василия Великого при создании «Возражения».

В рукописи ГИМ, Воскресенское собр. 133-бум., содержащей список «Возражения» 1660-х гг.³, на полях обнаружено 12 указаний на заимствования из Правил: в главах первой – «Вас 24»; девятой – «Васил 54»; семнадцатой – «Васил 1 книга 9» и «1 книга Васил Велик 26»; восемнадцатой – «Васи Вели 3» и «Вас Вели 5», «Вас Вели 5»; девятнадцатой – «Вас Вели 15» и «Вас Вели 16»; двадцатой – «Васил Велик 58»; двадцать первой – «1 Вас 9», «Вас Вел 73» [10. Л. 14 об., 73 об., 127, 127 об., 146 об., 147 об., 154, 154 об., 178, 193 об., 205]. Дважды подобные указания включены в авторский текст: в возражении девятом – «яко же Василий Великий пишет в первой книге, глава 54-я» и семнадцатом – «Четыредесятая глава Василия Великого первья книги» [10. Л. 73 об., 75]. Другие указания на Василия Великого отсылают либо

отныне во языки иду [Деян. 18: 6]». – С сохранением орфографии и особенностей передачи рукописи текст цитируется по изданию [7. С. 249]. Цитаты обозначены мной.

¹ «Патриарх Никон использует... именно правило 70/35, основанное на Мф. 23, 37–38: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» [12. Л. 39 об., 86 – 87, 95 об., 535, 595 об., 834], Деян. 13, 46–47: «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли» [12. Л. 561 об., 608, 619, 633 об., 641 об., 642, 644, 651 об., 734 об., 865 об., 958, 981, 1023]» [3. С. 76]. Номером 12 в разделе «Литература» после статьи обозначена рукопись «Возражения»: РГАДА. Ф. 27. Д. 140. Ч. 3.

² К примеру (листы указаны в предыдущей сноске), на л. 39 об. (возражение 5) – Лк. 4: 28–30; на л. 86–87 (возражение 9) – правило 40 в варианте патриарха Никона: Мф. 24: 4; Лк. 20: 46–47; Мф. 23: 2–7, 15, 23–28, 34, 36; Деян. 13: 8–10; Гал. 1: 8–9; на л. 95 об. (возражение 11) – Мф. 23: 9; на л. 535 (возражение 26) – Лк. 11: 52; Мф. 23: 23–26; Иуд. 11–16; на л. 595 об. – выписка из книги: [9. Л. 51–58]; на л. 834 – фрагмент из Евангелия толкового на Мф. 5: 36 с имплицитными вставками из Быт. 17: 1–2; 15: 6; Пс. 131: 11; 109: 4 и т.д. Ср.: [7. С. 211, 225, 228, 352, 368, 422].

³ Рукопись «Возражения» с автографом патриарха Никона, вероятно, не сохранилась. Из двух списков XVII века, составленных в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре при жизни патриарха Никона (на бумаге филигранны 1660-х гг.), – ГИМ, Воскресенское собр. № 133-бум. и РГАДА, ф. 27 (Тайный приказ), д. 140, ч. 4, л. 2–1039 об. – мной используется первый [10].

к правилам из его канонических посланий, либо к сочинениям о самом святителе Василии, фрагменты из которых концентрируются в заключительных, двадцатых главах «Возражения».

Проследовав по отсылкам на полях, я обнаружила, что не все из них относятся к Правилам. Упоминание о первой книге («1 книга», «1 Вас 9»), несомненно, отправляет к первой части «Книги о постничестве», где на л. 40–160 об. изданы 80 правил отца Василия. Так, в 17-м и 21-м возражениях действительно выписка 9/2 из Правил [10. Л. 56 об.]. А вот следование по второй отсылке в 17-м возражении – к 26-му нравоучению – приводит к другому источнику: в Правилах есть 26-е постановление [10. Л. 76 об.–77], но состав его первой главы в «Возражении» соответствует 18-му наставлению [10. Л. 318 об.–319]; как и в Наставлении, в «Возражении» выписки из книги Десяний апостолов (2: 4; 12–14) заменены на цитату из Евангелия от Марка (7: 5–8). Значит, выписками из сборника нравоучений каппадокийского святителя названы в «Возражении» заимствования как из Правил, так и из Наставления. Приведу показательный пример: отсылка на поле в 1-м возражении «Вас 24» отправляет не к 24-му правилу, а 24-му наставлению [1. С. 419], которое соответствует 54/5 [8. Л. 101–101 об.]. Следовательно, при изучении содержания, количества и границ заимствований из Правил необходимо различать выписки из двух разных сборников: Правил и Наставления.

Заимствования из этих источников обнаружены мной в 12 из 27 возражений – это цитатные блоки с наименованием правила / наставления или без него, а не одиночные цитаты, которые могут текстуально совпадать с новозаветными цитатами из Правил и воспроизводиться автором, вероятно, по памяти; количество выписок из этих сборников в возражениях неравномерно. В первом из заимствований из Правил и Наставления шесть; пять – в 18-м возражении; четыре – в 21-м; по три – в 17-м и 19-м; по два – в 6-м и 9-м; по одному – в 5, 10, 15, 16, 20-м. Текстуальную близость с отдельными фрагментами из сборников с нравоучениями обнаруживают цитаты из книг Нового Завета, объединенные в тематические группы (к примеру, в 1, 9, 17, 21-м возражениях), подобно тому, как группируются цитаты в правилах и наставлениях. Поскольку в «Возражении» используются заимствования как из Правил, так и из Наставления, текстологический анализ трех сочинений помог выделить два вида включений: «чистые» и «смешанные» – соответственно из одного или двух источников.

Заимствования из Правил

1. Из более чем 160 глав Правил, не использованных патриархом Никоном при составлении Наставления [1. С. 343–373], только четыре без изменений перенесены в «Возражение»: 3/1; 9/2 (дважды); 15 и 16-е правила. Но и при механическом копировании правила незначительно изменены. Так, название 3/1 дано с легкой парафразой; в 17-м возражении первая цитата введена с обозначения источника; в тексте 16-го правила два слова заменены на близкие по значению, нарушен порядок слов, есть мелкие пропуски, что в целом не влияет на смысл заимствования.

2. Состав цитатных блоков в правилах 2, 5, 25, 32, 49 и 58 в «Возражении» вырос количественно за счет новых заимствований из Правил и библейских текстов, вероятнее всего, печатных: Острожской Библии 1581 г. и мос-

ковских изданий Евангелия (1657) и Апостола (1655). Общие для «Возражения» и Правил фрагменты не всегда совпадают: в книге Никона цитаты вводятся с обозначения источника (правило 32); увеличиваются (правила 5/1; 58) или уменьшаются (правило 32) в объеме; имеют лексические варианты – «любов» / «любь», «дал» / «дал есть», «твой» / «свой».

Состав цитатных блоков 2, 25 и 49 правил в «Возражении» изменился: вместо одной из цитат выстроен ряд новых, близких названным по содержанию. Так, в главе 2 цитата 2 Кор. 6: 14–16 соответствует 7 выписок; в главе 25 цитату Еф. 4: 29–30 заменили 5 новых; в главе 49 вместо цитаты Мф. 26: 50–52 – целых 4; цитатные блоки 2 и 25 правил не имеют в «Возражении» наименований, однако текстуально схожи с соответствующими нравочениями из Правил.

3. В Правилах, Наставлении и «Возражении» обнаружены цитатные блоки, идентичные по составу: правило 54/5 = наставлению 24 в 1-м и 9-м возражениях; правило 72/4 = наставлению 70 в 21-м возражении. Тематические блоки в возражениях имеют «свои» особенности: так, в 21-м возражении наименование правила передано парафразой и помещено в конце цитатной цепочки, последовательность выписок нарушена, а границы цитаты Лк. 10: 16 изменены.

4. Состав двух цитатных блоков из Правил и Наставления полностью совпадает: правило 40 = наставлению 20, правило 54/3 = наставлению 22. В «Возражении» блоки дополнены выписками из книг Нового Завета, которые расширили содержание первоисточника; цитаты введены с обозначения источников.

5. В пяти цитатных цепочках из трех сочинений есть общий блок, но последовательность цитат внутри центонов разная. Это: правило 3/2 = наставлению 6 в 18-м возражении; правило 51 = наставлению 21 в 1-м возражении; правило 70/3 = наставлению 35 в 1-м возражении; правило 70/23 = наставлению 50 в 1-м возражении; правило 12/3 = наставлению 5 в 15-м возражении. Пословное сравнение общих выписок показало, что цепочки в возражениях имеют индивидуальные особенности: наименования правил перефразированы или отсутствуют; изменены формы слов.

6. В «Возражении» есть две компиляции, где название нового блока составлено из фрагментов наименований глав одного правила, а цитатный блок – из цитат этих же правил: правила 54/1 + 54/3 в 1-м возражении; правила 73/1 + 73/2 в 21-м возражении.

7. В трех возражениях обнаружены комбинации из фрагментов цитатных блоков разных правил с добавлением из библейских изданий отсутствующих в Правилах и Наставлении цитат. Возникли контаминации: правило 51 = наставлению 21 + правило 54/1 + Иак. 4: 11–12 в 17-м возражении; правило 70/5 + правило 70/6 + Мк. 16: 15–16 в 1-м возражении; правило 3/2 = наставлению 6 + правило 4 = наставлению 7 + правило 7 = наставлению 8 + правило 9/1 = наставлению 10 + правило 80/2 + правило 80/6 + Мф. 18: 20 в 9-м возражении. Все они имеют как индивидуальные чтения, так и текстовые схождения с их источниками.

Заимствования из Наставления

В «Возражении» выявлены четыре цитатно-тематических блока, близких по содержанию одновременно Наставлению и Правилам. По сравнению с

этими источниками цепочки либо меньше по составу (наставление 8 = правилу 26/1 в 17-м возражении; наставление 31 = правилу 69/1 в 6-м возражении), либо превышают его в разы (наставлению 25 = правилу 63/1 в 5-м возражении; наставление 2 = правилу 11/4 в 19-м возражении). Текстологический анализ показал: все заимствования сделаны из Наставления и библейских изданий (при отсутствии необходимых цитат в Наставлении и Правилах).

«Смешанные» включения

В 21-м возражении есть компиляция из правил и наставлений: правило 7 = наставлению 8 + правило 9/1 = наставлению 10, которая имеет свои особенности (порядок слов; границы цитат); сами же цитаты обнаруживают сходство как с Правилами, так и Наставлением, что говорит о творческом подходе к источникам заимствования.

Вычленив из «Возражения» все заимствования из Правил, я получила 34 главы из 24 правил; половина включений – 16 глав и 10 правил – не использовались патриархом Никоном для работы над Наставлением. Значит, и набор правил для «Возражения» отличается от того, который был положен в основу Наставления. Посылая сборник наставлений Алексею Михайловичу, Никон воздействовал на совесть и разум государя, «выправлял душу» (Л. Лебедев) христианского царя: без заповедей этих, писал патриарх царю, «невозможно всякому христианину спастися... всяко познаеши недостаточество свое пред Господем Богом и ближнему любовь наше почтеша». При работе над Наставлением патриарх Никон исключил из Правил несколько глав, которые могли быть адресованы христианину вообще и касались разъяснения вопросов духовного значения Церкви в обществе [1. С. 373]. Но правила именно такого содержания понадобились для «Возражения».

Количество заимствований из Правил и Наставления и их адресность определялись содержанием вопроса-ответа Стрешнева–Лигарида; выписки локализируются, как правило, в начале – первой половине возражения, после фрагментов из рассуждений оппонентов Никона, и вместе с ними занимают сильную позицию в тексте, усиливая полемический тон повествования. Следует отметить, что больше всего выписок адресовано митрополиту Паисию Лигариду и «новые» заимствования из Правил, не характерные для Наставления, появляются в основном с 9-го возражения.

Выписки из Правил помогают Никону раскрыть и обличить некоторые личные качества оппонентов, а также доказать их неправоту по конкретным вопросам и суждениям, ими же предложенным. С.Л. Стрешневу адресованы 6 правил; их содержание подтверждало слова Никона о боярине, который спрашивал о делах, неведомых ему, и рассуждал о вещах непознанных им: «Ты убо, Симеоне, вопрошаеши не о своих. Их же ти не подобает» [10. Л. 17 об.]; «Почто вопрошаеши яже не суть достойных?» [10. Л. 127]; «Почто, оставя свет, ко тме отходиши, оставя святые евангельския заповеди и Святых Апостол и Святых Отец правила?» [10. Л. 193]. Боярин, как показывает Никон, вообще не понимает существа спора: «Рцы ми, Симеоне, которые книги тебе повелевают на мя о безвестных свидетельствовати?»; «Подобало тебе, Симеоне, первые себе исправити якове любо согрешении» [10. Л. 1 об.].

Невежественность в суждениях, лишенное христианской этики отношение к оппоненту, высокое самомнение и субъективная трактовка событий –

вот отличительные особенности публичного поведения царского родственника, вероятно, и других близких к государю людей. Похожую по содержанию характеристику дает патриарх Никон другому боярину – князю Н.И. Одоевскому, руководителю Уложенной комиссии, да и всем занимающим высокие государственные посты – боярам, воеводам дьякам и др., лишаящим государственное управление духовного стержня: «А он, князь Никита, – // человек прегордой, страху Божия в сердце не имеет, и Божественного Писания, и правил Святых Апостол и Святых Отец ниже чтет, ниже разумеет, и жити в них не хошет, и живущих в них ненавидит, яко врагов сущих, сам быв враг всякой истине. А товарищи его – люди простыя, и Божественного Писания не ведущии, а дьяки – ведомыя враги Божия и дневныя разбойники, без всякия боязни в день людей Божиих губят» [10. Л. 487–487 об.].

В «Возражении» патриарх Никон с помощью выписок из Правил создает нелюбимый портрет Паисия Лигарида, используя сатирическую манеру изложения. Лигарид позиционирует себя человеком, в совершенстве владеющим законами Священного Писания и Предания («Ты убо, о Паисею, глаголеши, пиша боярину Симеону Стрешневу, яко “Выучени есмь // от иерусалимского Началочителя, Христа моего, проповедати истину, как на встречах, как в церковных местех, на амбонах, поставил есмь дать сей мой ответ”») и пр. [10. Л. 2–2 об.]), однако его поведение и суждения, как показывает Никон, свидетельствуют об обратном.

Лигарид – человек с сомнительным прошлым и с сомнительным, с точки зрения древнерусского благочестия, образом жизни: «Правду истинную изрек еси сам о себе... “А подобает, да пощюся, когда хощу, и чтоб моление твое и должность удоволствована была” от подданных твоих. Да кто весть от подданных твоих, где есть ты и что твориши?... ты ни постишися, ни молишися, яко же мы слышахом от достоверных свидетелей, иже при тебе пребы//вающи исповедаша, что ничим же лутче есть поганина! Внегда ходити к Троицы Живоначальной в Сергиев монастырь ни постившася тебя видели, когда ни молившася, но всегда днем и нощию ядуща и пиюща, яко свиния, и ничто же ино благо творяща» [10. Л. 153–154].

Непрочность и непоследовательность веры Паисия проявляется, как видит Никон, в свободных трактовках текстов Писания и церковных законов («Тебе же кто повеле семо приити учити и законы новы творити?»; «Ты же како смел еси дерзнути развращати Вселенскаго VI-го собора каноны и вводити зловерныя, аще не бы ты, окаянные, зловерен сам был?!»; «Ты почто чрез божественныя заповеди и законы от себе везде толкуешь?»; «Да ты же вракаешь, враже всякая истины, не повинуюся евангельскому учению»; «Ты убо лжеш... Латини убо точию приемлют четыре Вселенския соборы, о прочих триех не брегут. Явно, яко еси оногo сонмища исчадие, ибо беседа твоя явна тя творит» [10. Л. 3, 42, 91 об., 124, 77 об.]), и в привлечении в качестве аргументов сомнительных источников («И аще възглаголеши, яко имаши веру писанию твоему, на тя свидетелствующу, странному и несведомому нами, // яко от овец Христовых, но волк являешися вместо пастыря, смущая и разгоняя стадо Христово, не преданое тебе»; «...о твоём презорстве показано не баснями, яко же ты глаголеши, но истинным свидетельством»; «Да почто бесишися, отвечаеши кроме писания и заповедей?» [10. Л. 10 об. – 11, 14 об.,

128 об.]), и в рассуждениях о вещах, неведомых ему («Глаголи! Какое ли смел еси в чужей епархии учить и законополагати о неведомых, еже несть ти прощено от Евангелия и Святых // Апостол, и Святых Отец?»); «но не тебе единому суд или ответ творити; ниже ты видел или слышал что любо от мене... Ты же ни о клевете уведев, ниже о клеветнике, но единому непреподобну мужу паче и прокляту, аще и сигклитик, клевету прием чрез вся святя Божия заповеди и Святых // Апостол, и Святых Отец каноны, на соблазн людем простым ростолковал, а не от повеленных заповедей и канонов» [10. Л. 9–9 об., 14 об., 15–15 об.]), и в грубых нарушениях церковного законодательства («Повелено ти есть в своей области и епархии учить и проповедати, а не идеже приидеши без воли святейших вселенских патриарх»; «Да почто порокуеши деяние царское и архиерейское в чужей епархии?» [10. Л. 2 об., 117]).

По мнению патриарха Никона, газский митрополит своим поведением нарушает важнейшие заповеди христианства – о любви к Богу и ближнему: «Колико, имаши свой престол, оставя, и скитаешися, яко // волк, хапая и угрызая братню совесть?» [10. Л. 142 об.–143]; «Видел ли еси, човекоугодниче... Самем реченное Господем нашим Иисусом Христом: чесога ради подобни Богу бываем и чада Божия нарицаемся... и чесога ради во тме ходим... и чесога ради несмы от Бога... и чесога ради яко човекоубийцы вменяемся и пребываем в смерти... и чесога ради антихристи нарицаются...» [10. Л. 149].

Выписки из Правил помогают патриарху Никону прокомментировать ответы Лигарида о событиях, о которых тот знал по слухам, и изложить собственное мнение по важнейшим вопросам современности. В 5-м возражении, повествуя о причинах своего ухода с патриаршей кафедры, Никон делает вставку из 25-го наставления с примерами «отхождений» и «беганий» Иисуса Христа и его учеников от их преследователей [10. Л. 35 об. – 39 об.]. В 9-м возражении Никон строит сложную комбинацию из фрагментов правил и наставлений, чтобы обосновать незаконность действий царя, созвавшего в 1660 г. церковный собор для осуждения Никона [10. Л. 53–54 об.]. Доказывая Лигариду невозможность совершения церковного суда над патриархом без специального расследования, Никон приводит 54/5-е правило [10. Л. 73 об.–74], а обличая митрополита, который одобряет организацию подобных «судилищ» – «сонмищ жидовских», да еще поощряет осуждение митрополитами своего патриарха, что противоречит церковному законодательству, Никон приводит 40-е правило [10. Л. 75 об. – 77 об.]. Продолжая в 17-м и 19-м возражениях тему самовластных действий царя, который «весь на себя суд и управление архиерейское взял», и «мнит царь, яко добро творит, владея и повелевая во священных уставах», Никон приводит комбинацию из двух правил – 51 и 54/1 [10. Л. 131 об.] и делает отдельные выписки из Правил – 2/1-го и 11/4-го [10. Л. 156–157]. Стремление самодержца подчинить своей единоличной воле Церковь вызывает бурный протест Никона: в 20-м возражении он цитирует 58/1-е правило [10. Л. 178–179 об.] и восклицает: «Подобает комуждо своя мера знати, а не совосхищатися на не // суцая своя» [10. Л. 180 об. – 181]. Обличая Лигарида, подстрекавшего Алексея Михайловича к избранию нового патриарха, в 21-м возражении Никон вставляет выписки из Правил: 72/4 и 73/1 + 73/2 [10. Л. 205, 207 об. – 208].

Интересно отметить и такой факт: правила, адресованные Стрешневу,

все, за исключением одного (9/2), повторяются при обращении к Лигариду. Используя полемический прием, сходный, говоря современным языком, с психологической уловкой (затруднить спор для оппонентов), который усиливается благодаря выпискам из Правил, патриарх Никон показывает своих «сопротивников» слабыми духом (правила 7, 51), не имеющими объективного знания о сути полемики и не владеющими методами ведения спора (правила 9/1, 54/1, 54/3). Разоблачая Стрешнева, который развлекается, задавая Лигариду явно заказные вопросы, Никон с сарказмом восклицает: «Второе, Симеоне, вопрошаеши не о своих: ни ты архиерей, ни ты поп... И всему злу начальник, яко играиши благодатию Христовою... Ты же не самого того Бога зрителя тайнам человеческим постыдися, благословением апостолом и иже под ними тех наследником даное в ыгру сотвориши дерзнув не без греха...» [10. Л. 22 об.–23]. Иронизирует патриарх и над Лигаридом, называя его малообразованным и «некнижным»: «До сих твоих глагол, лицемере, без лености выслушал и зело показался ми еси некнижен; сам весь еси // во гресе и ответы твориши чрез божественая писания: доброе уничижаеши, а злое обновляеши» [10. Л. 152–152 об.], «зломным» и «лжецом»: «Как в прежних своих ответах, злоумне, неправедно писал, тако и zde солгал» [10. Л. 155 об.]. Называния Никоном Лигарида – тема особая, однако именно в именовании оппонента при помощи в том числе бранной лексики патриарх подчеркивает несостоятельность митрополита как его полемического противника: «лжесловец», «писатель неправды и беззакония» и т.д.

Таким образом, заимствования, сделанные патриархом Никоном из одного источника, внутри разных нарративов выполняют разные функции и наделяются разными задачами: в полемическом контексте «Возражения» выписки из Правил приобретают полемическое звучание, а в контексте святоотеческих поучений выписки из Правил в виде самостоятельного сочинения – Наставления – выполняют строго дидактическую роль.

Анализ некоторых принципов работы патриарха Никона с Правилами и Наставлением при создании «Возражения» позволяет сделать следующие выводы и несколько осторожных предположений.

1. Главный источник нравственных постулатов в «Возражении» – «Нравственные правила» – сборник святителя Василия Великого, из которого сделана значительная часть заимствований. Наравне с печатной Кормчей книга отца Василия составила законодательную основу ответов-возражений патриарха Никона современникам.

2. Небольшое число заимствований из Наставления говорит, возможно, о том, что патриарх непродолжительное время работал со своим сборником: книга наставлений была завершена в декабре 1662 г. и отправлена царю не позднее лета 1663 г., когда по указу Алексея Михайловича в Москве активно готовились к новому собору для осуждения патриарха Никона [1. С. 395–403; 11. С. 131–135]. Содержательная и текстуальная связь «Возражения» и Наставления, дает возможность, как представляется, высказать ряд соображений о времени составления отдельных возражений.

Все высказанные в литературе о патриархе Никоне мнения о датировке «Возражения» сводятся к первой половине 1660-х гг. [12. С. 55–56; 13. С. 42–43; 14. С. 194–195; 15. С. 885]. Аргументы В.М. Ундольского представляются

наиболее убедительными: историк датировал «Возражение» периодом после 12 декабря 1663 г., когда вышло московское издание Библии с изображением двуглавого орла на фронтиспise, которое патриарх Никон осуждает, и до 13 января 1665 г., даты приезда в Воскресенский монастырь чудовского архимандрита Иоакима с царским поручением выяснить у опального патриарха условия отречения от патриаршества, о чем Никон не упоминает [16. С. 616]. В основе всех датировок лежат, как правило, свидетельства самого памятника о событиях, случившихся или нет в 1663–1665 гг. Для аргументации своей точки зрения привлеку эпистолярные сочинения патриарха Никона и факты его биографии, не упомянутые в «Возражении».

В августе 1662 г., как установили историки, был сделан перевод ответов митрополита Паисия Лигарида на вопросы к нему боярина С.Л. Стрешнева [17. С. 518–550; 18. С. 281], который вскоре стал известен патриарху Никону. Уже 9 марта 1663 г. газский митрополит был допрошен в патриаршей Крестовой палате боярином П.М. Салтыковым и думным дворянином П.К. Елизаровым о том, каким образом текст его ответов попал в руки Никона. Дело в том, что в феврале 1663 г. посланному в Воскресенский монастырь окольниковому О.И. Сукину первосвященник говорил, «держачи в руках письма»: «...великий государь в своих царских палатах при своих государевых комнатных боярах говорил о мне и изволил спрашивать газского митрополита; а какие, де, его, государевы, к митрополиту вопросы были, и что митрополит великому государю ответы давал, и на письме в тетратех подал, и то, де, все у меня написано»; и добавил: «Газскому я во всем ответ дам и правилами, и святым Евангелием». В связи с изложенным можно сделать два осторожных предположения: первое – зимой 1662/63 г. патриарх Никон уже активно работал над ответами Лигариду; второе – возражения, в которых есть прямые заимствования из Наставления (5, 6, 17 и 19-е), могли быть составлены уже в первой половине 1663 г., до передачи Наставления Алексею Михайловичу.

В пользу этих предположений свидетельствуют и тексты, которые в это же время составлял патриарх Никон. При издании Наставления и корпуса эпистолярных сочинений первосвященника мной обнаружены текстуально сходные фрагменты в Наставлении и письме патриарха царю 24 декабря 1662 г., а также несколько фрагментов «Возражения», близких как Правилам, так и Наставлению (в частности, в письме Никона Алексею Михайловичу 18 декабря 1664 г.) [1. С. 392–402; 19. С. 32–37, 288–296]. При выявлении в «Возражении» заимствований из Правил в возражении 5 обнаружен цитатный монтаж из книг Нового Завета, завершающийся текстом правила 19 с толкованием поместного Сардикийского собора: по форме этот блок напомнил 25-е наставление (расширенное патриархом Никоном правило 63/1), которое в полном объеме включено в упомянутое письмо патриарха царю 1662 г. Сравнение трех источников (Наставление, письмо 1662 г. и возражение 5) – показало, что тематический блок из Наставления подвергся переработке для возражения уже после того, как был включен в письмо, что логично: письмо отправлено 24 декабря, в него инкорпорирован точный фрагмент из Наставления, что, скорее всего, исключает одновременную передачу царю письма и сборника наставлений во избежание дублирования текстов. Предполагаю, что с конца декабря 1662 г. Наставление еще у патриарха и он с ним работает,

возможно, используя содержание памятника для «Возражения». В возражении 5 изменены последовательность и количество цитат, часть «общих» для послания 1662 г. и 25-го наставления цитат заменена на другие, благодаря чему центон получил новое содержание, отвечающее тематике ответа-возражения. Текстологический анализ показал: соборное постановление выписано непосредственно из Кормчей, а подавляющее большинство цитат в блоке 5-го возражения сделаны из 25-го наставления и печатных библейских книг.

3. Наличие в заимствованиях из Наставления индивидуальных чтений, а также чтений, близких одновременно Правилам и библейским изданиям, может свидетельствовать также об использовании патриархом Никоном не самого сборника наставлений, а каких-то выписок из / для него (подготовительных или черновых). Иначе говоря, под рукой патриарха мог находиться определенным образом сформированный цитатный фонд, служивший ему в разное время для работы над Наставлением и «Возражением». По наблюдениям В.С. Румянцевой, сборник с Наставлением, написанный четким парадным полууставом и киншварными заголовками, так и не был завершен [11. С. 101–126]: на листах после отдельных наставлений оставлены строки, вероятно, для продолжения и новых примеров-цитат; в чистовой экземпляр небрежным и размашистым почерком чернилами, цвет которых отличался от основных, Никон вносил дополнительные записи и делал пометы; в рукописи есть несколько незаполненных листов; да и сами тетради расшиты. Если Никон работал с рукописью Наставления до ее отправки и использовал для нее некий гипотетический цитатный фонд, то это же собрание выписок он мог использовать и для «Возражения».

Как показал анализ содержания «Возражения» и текстуальные сходства с Правилами и Наставлением, включения из этих сочинений в виде тематических блоков, а не отдельных цитат заканчиваются в 21-м возражении. Кроме того, комплексные заимствования из Правил не обнаружены мной в других сочинениях Никона, составленных после декабря 1664 г. Например, послание патриарха царю 18 декабря 1664 г., в котором отдельные цитаты обнаруживают текстуальное сходство с Правилами [19. С. 295–296, 426–428]. В определенный момент патриарх Никон перестает использовать Наставление и Правила в качестве источников своих сочинений: заимствования из Наставления исчезают предположительно после первой половины 1663 г., когда «тетради» с наставлениями передаются царю, а до декабря 1664 г. Никон продолжает работать только с Правилами, после чего к поучениям святителя Василия Великого о нравственной жизни у патриарха Никона пропадает интерес.

Литература

1. *Севастьянова С.К.* «Наставление царю» патриарха Никона: Исследование // Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003.
2. *Воробьева Н.В.* Святые отцы-каппадокийцы в богословии патриарха Никона // Омский научный вестник: Исторические науки. 2009. № 4 (29).
3. *Воробьева Н.В.* «Нравственные правила» Василия Великого в «Возражении, или Разорении» патриарха Никона // Инновационное образование и экономика. 2009. № 5 (16).

4. *Воробьева Н.В.* Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Омск, 2009.
5. *Кормчая.* М., 1653.
6. *Василий Великий* // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 7.
7. *Никон*, патриарх. Труды. М., 2004.
8. *Книга о постничестве.* Острог, 1594.
9. *Андрей*, архиеп. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. Киев, 1625.
10. *Никон*, патриарх. «Возражение» // ГИМ, Воскресенское собр. № 133-бум.
11. *Румянцева В.С.* Патриарх Никон и духовная культура в России XVII века: Из рукописного наследия патриарха Никона: «Правила христианской жизни (“нужнейшиа Заповеди”)». М., 2010.
12. *Субботин Н.И.* Дело патриарха Никона: Историческое исследование по поводу XI тома «Истории России» проф. Соловьева. М., 1862.
13. *Вернадский Г.* Введение // Patriarch Nikon on Church and State: Nikon's "Refutation" ["Возражение, или Разорение смиренного Никона, Божию милостию патриарха, против вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на вопросы Паисиовы", 1664 г.] / ed. with introduction and notes by Valerie A. Tumins and George Vernadsky. Berlin; New York; Amsterdam, 1982.
14. *Макарий*, митр. Московский и Коломенский. История Русской церкви. М., 1996. Кн. 7.
15. *Зызыкин М.В.* Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи: в 3 ч. Варшава, 1931-1938. Ч. 2.
16. *Ундольский В.М.* Отзыв патриарха Никона об Уложении царя Алексея Михайловича: Новые материалы для истории законодательства в России // Русский архив. 1886. Кн. 2, № 8.
17. *Гиббенет Н.* Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1884. Ч. 2.
18. *Каттерев Н.Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 2.
19. *Севастьянова С.К.* Эпистолярное наследие патриарха Никона: Переписка с современниками: исследование и тексты. М., 2007.

Sevastyanova Svetlana K., Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: sevask@mail.ru DOI 10.17223/19986645/27/10
THE MORALIA BY BASIL THE GREAT AND THE INSTRUCTION TO THE TSAR AS THE SOURCES OF PATRIARCH NIKON'S REFUTATION OR DEMOLISHMENT.

Keywords: Basil the Great, Patriarch Nikon, *Moralia*, *Instruction to the Tsar*, polemical techniques, methods of citation.

The article describes the principles of application of two edifying sources – the *Moralia* by Basil the Great and *Instruction to the Tsar* by Patriarch Nikon, written on the basis of the *Moralia* – as the sources of Patriarch Nikon's polemical book *A Refutation or Demolishment by the Most Humble Nikon, Patriarch by the Grace of God, of the Questions Which the Boyar Simeon Streshnev Addressed to Paisius Ligarid, Metropolitan of Gaza, and Paisius's Answers*. The borrowings from both sources are encountered in 12 of the 27 chapters of the book. More often the author refers to the *Moralia*, he combines the fragments from this source with each other, or with the extracts from *Instruction to the Tsar*. Borrowings from both sources are located, as a rule, in the first half of a refutation and take the strong position, which enhances the polemical tone. With the help of the extracts Patriarch Nikon reveals and exposes some personal characteristics of the opponents, proves that some of their views are wrong. Patriarch condemns ignorance in judgment, the attitude to the opponent devoid of Christian ethics, high self-esteem and subjective interpretation of events, which are the distinctive features of public behaviour of Streshnev.

Patriarch depicts a scathing portrait of Metropolitan Paisius Ligarid using a satirical manner of presentation. Ligarid is shown as both a man with a dubious past and a similar way of life from the point of view of the ancient Russian piety; the behaviour and judgments of Metropolitan indicate the fragility of his faith and grave violations of the Church law. Nikon presented his opponents as men with weak spirit, who are deprived of the sound knowledge of the essence of controversy and ignorant of debate. The citation of both sources in the form of thematic blocks was found to cease at the end of the 21st objection. Patriarch Nikon's polemic letters to Tsar Alexei Mikhailovich revealed that a letter of December 18, 1664, was the last containing a direct borrowing from the edifying sources. It was assumed that 21 out of 27 objections had been written by the end of 1664, when the author could use the same

sources or the total quotation fund, which served as the basis for *Instruction to the Tsar* and *Refutation or Demolishment* in his works.

It was supposed that Chapters 5, 6, 17 and 19 might have been written in the first half of 1663, because, as well as the letter of Patriarch Nikon of December 24, 1662 to Tsar Alexei Mikhailovich, they contained direct borrowings from *Instruction to the Tsar*. *Instruction* was, probably, sent later, and Patriarch Nikon had an opportunity to use it as a source of *Refutation or Demolishment*. These assumptions serve to verify the opinion in the historiography of Patriarch Nikon existing since the 19th century that *Refutation or Demolishment* was written within a limited period from December 1663 to January 1665.

References

1. *Sevast'yanova S.K.* «Nastavlenie tsaryu» patriarkha Nikona: Issledovanie // *Sevast'yanova S.K. Materialy k «Letopisi zhizni i literaturnoy deyatelnosti patriarkha Nikona»*. SPb., 2003.
2. *Vorob'eva N.V.* Svyatye otsy-kappadokiysy v bogoslovii patriarkha Nikona // *Omskiy nauchnyy vestnik: Istoricheskie nauki*. 2009. № 4 (29).
3. *Vorob'eva N.V.* «Nravstvennye pravila» Vasiliya Velikogo v «Vozrazhenii, ili Razorenii» patriarkha Nikona // *Innovatsionnoe obrazovanie i ekonomika*. 2009. № 5 (16).
4. *Vorob'eva N.V.* Istoriko-kanonicheskie i bogoslovskie vozzreniya patriarkha Nikona: avtoref. dis. ... d-ra ist. nauk. Omsk, 2009.
5. *Kormchaya*. M., 1653.
6. *Vasily Velikiy* // *Pravoslavnyaya entsiklopediya*. M., 2004. T. 7.
7. *Nikon*, patriarkh. *Trudy*. M., 2004.
8. *Kniga o postnichestve*. Ostrog, 1594.
9. *Andrey*, arkhiep. *Kesariyskiy. Tolkovanie na Apokalipsis*. Kiev, 1625.
10. *Nikon*, patriarkh. «Vozrazhenie» // *GIM, Voskresenskoe sobr.* № 133-bum.
11. *Rumyantseva V.S.* Patriarkh Nikon i dukhovnaya kul'tura v Rossii XVII veka: Iz rukopisnogo naslediya patriarkha Nikona: «Pravila khristianskoy zhizni ("nuzhneishia Zapovedi")». M., 2010.
12. *Subbotin N.I.* Delo patriarkha Nikona: Istoricheskoe issledovanie po povodu XI toma «Istorii Rossii» prof. Solov'eva. M., 1862.
13. *Vernadskiy G.* Vvedenie // *Patriarch Nikon on Church and State: Nikon's "Refutation"* [“Vozrazhenie, ili Razorenie smirennago Nikona, Bozhieyu milostiyu patriarkha, protiv voprosov boyarina Simeona Streshneva, ezhe napisal Gazskomu mitropolitu Paisiyu Ligaridiusu i na voprosy Paisiovy”, 1664 g.] / ed. with introduction and notes by Valerie A. Tumins and George Vernadsky. Berlin; New York; Amsterdam, 1982.
14. *Makariy*, mitr. *Moskovskiy i Kolomenskiy. Istoriya Russkoy tserkvi*. M., 1996. Kn. 7.
15. *Zyzykin M.V.* Patriarkh Nikon. Ego gosudarstvennye i kanonicheskie idei: v 3 ch. Varshava, 1931-1938. Ch. 2.
16. *Undol'skiy V.M.* Otzyv patriarkha Nikona ob Ulozhenii tsarya Alekseya Mikhaylovicha: Novye materialy dlya istorii zakonodatel'stva v Rossii // *Russkiy arkhiv*. 1886. Kn. 2, № 8.
17. *Gibbenet N.* Istoricheskoe issledovanie dela patriarkha Nikona. SPb., 1884. Ch. 2.
18. *Kapterev N.F.* Patriarkh Nikon i tsar' Aleksey Mikhaylovich. *Sergiev Posad*, 1909. T. 2.
19. *Sevast'yanova S.K.* Epistolyarnoe nasledie patriarkha Nikona: Perepiska s sovremennikami: issledovanie i teksty. M., 2007.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 82-4

DOI 10.17223/19986645/27/11

П.П. Каминский

ПРИРОДА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ОЧЕРКАХ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА 1960–1990-х гг.

На материале очерков предпринимается попытка реконструкции системы представлений В.П. Астафьева о природе. В становлении этой системы от начала 1960-х до 1990-х гг. выделяется два этапа: конкретно-образный и образно-концептуальный. В ходе анализа прослеживается, как эстетическое восприятие природы, чувственно-эмоциональное переживание ее как гармонически организованного пространства жизни, выраженное в пейзажных этюдах, развивается в концептуальную философскую рефлексию, умозрительное истолкование всеобщих законов и предельных оснований природного бытия.

Ключевые слова: В.П. Астафьев, мировоззрение, публицистика, очерк, природа, онтология.

Природа (природное) – одна из ключевых доминант, определяющих структуру мировоззрения писателя, систему его представлений о реальности, наряду с человеком (человеческим) и социумом (социальным). Образованные этими доминантами уровни мировоззрения выражаются в публицистике. Объединяя публицистичность и художественность как разные способы мышления, этот, несобственно-художественный, тип писательского творчества позволяет обнаружить те свойства мышления, которые формируют персональную картину мира и определяют художественное творчество.

В публицистике В. Астафьева картина природного мира выстраивается не рационально-логически, а образно: преимущественная форма обращения писателя к природе – пейзажные этюды, зарисовки с натуры, включенные в повествовательный план очерков и эссе, переходных, несобственно-художественных жанров. Эволюцию системы представлений о природе, реконструируемой в анализе, характеризует, с одной стороны, их усложнение, с другой стороны, изменение способа их формирования, восприятия и осмысления природы. В этом процессе выделяется два этапа. Первый, охватывающий 1960–70-е гг., можно определить как конкретно-образный¹. Вторым, начинающийся с конца 1980-х, – как образно-концептуальный². Вектор эволюции составляет движение от эстетического восприятия природы, осуществляемого на чувственно-эмоциональном уровне, – к ее концептуальной философской рефлексии.

¹ «Родной голос» (1960), «Сопричастный» (1973), «Как тот заречный огонек» (1975), «Звуки родины» (1978), «Белая тишина» (1981) и т.д.

² «С карабином против прогресса», «Хомо технократус» (1988), «Вечно живи, речка Виви» (1989), «Лес не шумит, лес стонет» (1992) и т.д.

В одном из первых публицистических произведений В. Астафьева, в очерке 1960 г. «Родной голос», воссоздается объемная картина природы Игарской (Губинской) протоки Енисея, которая предстала перед членами экспедиции профессора Урванцева и инженера Рюбина, прибывших сюда летом 1928 г. на пароходе «Тобол» и заложивших основание города-порта Игарки [1. С. 160–161]¹.

В описание включаются, во-первых, различные объекты неорганической среды, географические условия: Енисей, каменный мыс, замыкающий вход в протоку, остров Самоедский, «крутобокий берег», озера, вечная мерзлота, особенности климата. Во-вторых, населяющие это пространство организмы: животные (птицы, насекомые) – «табуны непуганых уток», «долгоногие кулики», «тучи комаров»; растительные – лиственные (березы) и хвойные (ели, лиственницы) деревья, кустарники (голубичник, багульник, брусничник), травянистые растения (морозка), мхи. Пейзажная картина обеспечивает представление конкретного природного топоса как целого, в полноте и единстве его структуры и проявлений.

Каждый из объектов в этой картине воплощает определенное состояние или выполняет то или иное действие. Состояния природы, запечатленные в очерке, – динамические. Их характеризуют, во-первых, сложные взаимодействия между организмами, условиями среды, во-вторых, изменчивость. В «Родном голосе» многочисленные глаголы действия, субъекты которого не только живые организмы, но и объекты неорганической среды, указывают на восприятие этого пространства как живого. Оно предстает и как вместилище жизни, ее средоточие, и как наделенное жизнью само по себе.

Эти представления развиваются в дальнейшем. Так, актуализируя в очерке 1973 г. «Сопричастный» («Сопричастный <ко> всему живому») впечатления, полученные в детстве во время одинокого рыбацкого промысла, В. Астафьев описывает динамику состояний природы заполярного озера, витальные процессы, происходящие в ней на протяжении суток, когда ночь сменяется утром, а утро – днем [2. С. 23–25]. Природное пространство северного озера, в его ритмах и состояниях, описывается как биогеоценоз (В.Н. Сукачев) – сложная система отношений, объединяющая живые организмы и неживые компоненты ландшафта: выражается представление об упорядоченности, гармонической организованности природы. Органическое и неорганическое в совокупности составляют среду существования каждой из разнообразных форм жизни, взятых в отдельности. Любому из живых существ здесь определены его особое место и роль.

Витальные процессы упорядочиваются суточными колебаниями (как процесс засыпания «всего живого» с наступлением темного времени суток). Природные ритмы предписывают живым существам образ их существования,

¹ Урванцев Николай Николаевич (1893–1985), доктор геолого-минералогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, первооткрыватель Норильского рудного района. В действительности, обследование Игарской протоки было произведено в 1927 г. капитаном парохода «Тобол» П.Ф. Очеретько и инженером Томского округа путей сообщения Л.Н. Смирновым. В 1928 г. в протоку уже зашли и загрузились экспортным лесом три иностранных морских судна. Строительство порта по решению Совета труда и обороны СССР началось летом 1929 г., когда пароход «Туруханск» доставил сюда сто первых строителей.

порядок смены физиологических состояний (ночью многие из них засыпают, «как это и полагается», в то время как для других настает время активности; и наоборот – днем наступает активность для большей части биоты).

Этот мир изначально внеположенный человеку. Человек приходит в него извне и наблюдает за процессами, разворачивающимися без его участия. Максимальная степень приобщения к природе, доступная мальчику, – «сопричастность»: он может лишь чувствовать свое отношение к происходящему, но не полноправно участвовать в нем – быть причастным.

При этом само восприятие природного космоса ограничивается масштабами опыта – пространственной локализацией наблюдателя, точкой зрения, которая ограничивает видимый участок пространства и определяет его ракурс, а также условиями наблюдения. Локальность человеческого присутствия в пространстве природы обуславливает такое ее свойство, как таинственность. Так, ночь ограничивает и без того узкие пределы видения (мальчик наблюдает с плота, находясь в одной плоскости с объектом наблюдения: перспектива видения, доступная ему, – горизонтальная). Поэтому большинство из процессов, происходящих в этот момент, скрыты. Он может только предполагать их содержание («должно быть»), интерпретируя вторичные признаки – звуки.

Ограниченность возможностей непосредственного опыта определяет значение интуиции. Полагаясь на нее, повествователь интерпретирует чувства и ощущения, вызываемые феноменальными проявлениями природы, приближаясь к постижению ее тайны: «...у стародубов запах густ, таежен, таит в себе какую-то пещерную мрачность, а в цветении он застенчив и прекрасен этой застенчивостью. Понюхав потаенный цветок-стародуб, не скажешь растроганно: “Ах, какая прелесть!” – но непременно примолкнешь в себе, и что-то древностью веющее встревожит память...» [2. С. 20].

«Густой», насыщенный аромат цветов стародуба скрывает нечто «пещерно мрачное» – окутанное мраком неизвестности, скрытое от человека. С этим «таежным» – диким, темным, тяжелым запахом контрастирует внешний вид цветов, «застенчивый» и «прекрасный этой застенчивостью» – робкий, легкий, вызывающий тихое восхищение своей ненавязчивой красотой. Контраст образов обонятельного и визуального восприятия переориентирует внимание повествователя внутрь себя, на мир собственных чувств и мыслей, открывает ему глубинные пласты памяти, «древнее», архетипическое, сохраняющееся в бессознательном. Пробуждаясь, они тревожат писателя, вызывают душевное волнение, тем самым стимулируя его раздумья о человеке и бытии.

В другом очерке – «Как тот заречный огонек», – описывая оттенки запаха, источаемого осенним, почти сухим стеблем чебреца, повествователь угадывает в них всю полноту неповторимых запахов курской земли, где он был сорван: «Полузасохшая былка, на конце окропленная цветочками величиной с самую малую букашку, источала все дивные запахи этой засыпающей на зиму соловьиной земли, и главный из них, не растроченный в засушливое лето, запах молодой, еще влажной, силу набравшей веснь» [3. С. 151]. Пряный аромат тимьяна проносит сквозь все знойное, угнетающее жарой и засухой лето – к осени, времени, когда все живое засыпает, память о состояниях весны, времени обновления жизни, – хранит в себе информацию о природном

пространстве долины Сейма, самого крупного притока Десны, в целом, о его сезонных ритмах и состояниях, о циклических законах становления и угасания природы.

Феноменальное только приоткрывает тайну природного бытия, представления о которой пока ограничиваются ощущениями и эмоциями. Картина природного мира выстраивается как цепь ассоциаций (аллюзий, аналогий), которые вызывают конкретные образы восприятия (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные).

Чувственно-эмоциональное и интуитивное по способу восприятие природы – эстетическое по своему характеру: очерки характеризуются акцентированным лирическим началом, выражают движения души художника, который переживает прекрасное в природе. Описания природы передают ее внешнее великолепие, пышность. В приенисейских ландшафтах повествователь видит «причуды и фантазии природы», «буйство» ее проявлений – своенравие в выражении созидательного начала (природа как творящая, созидающая сила). Творения природы – «дивные», вызывают удивление, восторг. Эти чувства – ответные, мотивированы не только красотой, но и отношением, которое природа проявляет к человеку, – открытость, расположенность, терпеливое смирение перед его слабостями, неразумными поступками и бескорыстие в даровании блага: «...землю свою люблю, и не устаю удивляться красоте ее, неистощимому терпению и доброте» [2. С. 21]. Эмоциональное переживание стремится к воплощению – природа призывает к творчеству, требует от писателя выражения красоты, растворенной во внешнем мире: «...и дух захватывает от этого невиданного, нигде более не повторяющегося цветения, и доброго человека ждет одинокая, пустая избушка на реке. И рука тянется к перу от чувства красоты и любви ко всему этому...» [4. С. 542].

Эстетическое восприятие природы определяет генезис мироощущения, который реконструируется в очерке «Сопричастный». Первооснову образа мира, которая закладывается в детстве, составляет родная природа. Писатель неоднократно подчеркивает свое особое, «сентиментальное» отношение к ней, невыразимые чувства глубокой привязанности и родства: «...я рано и навсегда полюбил дивную нашу природу...» [2. С. 18].

Свою глубокую связь с приенисейской природой писатель объясняет ранним сиротством, когда после гибели матери природа занимает ее место: «Рано потерявши мать <...> я, естественно тянулся ко второй моей и неизменной матери – земле» [2. С. 21]. С природой связывается женское, материнское начало. В таком – наивном, архетипическом – мировосприятии ребенка природа воспринимается и как источник собственной жизни, и как пространство всеобщего становления. Сама природа проявляет соучастие к нему, доброе отношение, заменяющее материнскую любовь. Мальчик ощущает здесь гармонию, так же – как в родовом укладе Овсянки (до социальных преобразований 1930-х гг.). И то и другое в целом составляют для него гармонически организованное мироустройство.

В поэтике фрагмента о рыбалке на заполярном озере важны не только направление движения повествователя и позиция наблюдателя, которую он занимает, но и исходная точка его движения – социальное пространство. Мальчик приходит жить и рыбачить на озеро из социальной среды Игарки начала

1930-х гг. На бытовом уровне как среда первичных человеческих отношений она характеризуется разобщенностью, утратой родства (безразличие мачехи и отца, беспризорность и т.д.). На уровне собственно социальном она воплощает общественную ситуацию тех лет: кризис традиционного уклада, вступающего в фазу маргинальности в связи с процессами индустриализации и социальным насилием (репрессиями), хоть и не осознаваемый на тот момент. Таким образом, гармонию, утраченную в реальности социального существования, мальчик теперь ощущает только в природе.

С конца 1980-х гг. способ обращения к природе усложняется, приобретая образно-концептуальную форму. Путем синтеза, умозрительного обобщения накопленных в памяти наглядных образов природы, всех многочисленных рядов чувственно-эмоциональных ассоциаций, стоящих за ними, в публицистике В. Астафьева складывается целостное философское понимание природы¹.

Очерки этого периода характеризуются расширением пределов видения природы. Кроме картин, ограниченных полем физиологического зрения и периодом восприятия, В. Астафьев создает широкие полотна, охватывающие громадные пространства в длительной временной перспективе. Как биогеоценозы, взаимообусловленные в своей внутренней структуре природные комплексы, теперь описываются географические ландшафты целых регионов. В зарисовках раскрываются сложные взаимодействия их компонентов, подсистем, входящих в сопряженные ряды: рельефа (горы, долины, равнины, поймы рек и т.д.), водотоков и водоемов (реки, ручьи, озера), воздушных масс, почвенного покрова, ледников, растительных и животных организмов.

В. Астафьев открывает в природе противоречивое единство движения (изменчивости) и покоя (устойчивости). С одной стороны, повествователь ощущает здесь тишину – состояние покоя, когда видимое движение отсутствует, с другой – непрерывные процессы изменения. Двойственность восприятия состояний природного космоса определяют, во-первых, характер его движения, во-вторых, позиция наблюдателя.

Процессы движения, разворачивающиеся в природе, двух типов. Во-первых, циклические процессы, суточные и сезонные колебания, засыпание и пробуждение. Они служат обновлению, воспроизводству природных систем, обеспечивают их стабильность, гомеостаз. Во-вторых, в природе происходят необратимые (линейные) процессы становления и развития (эволюции). Сама изменчивость при этом составляет состояние, которое пребывает – сохраняется, воплощает момент устойчивости.

В отличие от циклических, эволюционные процессы скрыты от наблюдателя в силу скорости их протекания и ограниченности периода наблюдения.

¹ Это позволяет говорить о корреляции публицистического и художественного типов слова, когда система представлений о природе в публицистике (авторская онтология) выстраивается лишь ко второй половине 1980-х гг.: в риторическом слове писатель артикулирует представления, уже выраженные в слове художественном – как в прозе («Последний поклон», «Затеси», «Царь-рыба»), так и в изобразительном плане отдельных очерков и эссе.

Рассмотрение причин, обусловивших изменение способа восприятия и осмысления природы в публицистике, образование в ней онтологического (природа как часть онтологической реальности и ее знак), философско-антропологического (природа человека как вида) и социально-экологического (противоречия отношений социума и природы) планов рефлексии – мировоззренческие, творческие и социальные (перестроечные), – задача специальной работы.

Недоступная для непосредственного опыта континуальность природного бытия открывается автору в умозрении. Созерцая статику природных единств, он обладает возможностью предполагать их предшествующий генезис.

Универсальный принцип природного становления, основной движущий фактор эволюционных процессов – борьба за существование. В очерке «С карабином против прогресса» он открывается наблюдателю, который возвышается над плоскостью ландшафта, достигая тем самым полноты видения его горизонтальной структуры: «С вертолета очень хорошо видно, как тут возникла и укреплялась жизнь. <...> Все-все, что происходило и происходит со здешней землей, весь путь ее к жизни, борьба за жизнь, очень нелегкая, читается сверху будто по ученическому букварю» [5. С. 296].

Понимание борьбы за существование В. Астафьевым близко дарвиновскому. Писатель рассматривает ее не в узком значении конкурентной борьбы между организмами и их видами, а в широком – как совокупность многообразных взаимоотношений между организмами и неорганическими факторами среды. Поэтому в борьбу за существование, в картину мира В. Астафьева, вовлечены как отдельные организмы, их виды, так и биогеоценотические системы в целом.

Борьбу за существование определяет желание жить – воля к жизни, вложенная в каждое живое существо: любая угроза жизни, испытываемая им, порождает агрессию, которую естественным образом мотивирует инстинкт самосохранения. В очерке «Вечно живи, речка Виви» повествователь описывает, как «...буйно боролся за свое существование» ленок, пойманный им в реке, – «завершенное создание природы». «Завершенный» – совершенный, идеальный (для реализации определенной цели), исполненный целью, которой является жизнь. «Буйство», т.е. неистовство, непокорность, неукротимость, составляет качество живых созданий, не терпящих несвободы, притеснения: «Как и всякое чудо, ленок не терпит плена, насилия, чуждой ему среды» [6. С. 16]¹.

По В. Астафьеву, ленку, как и всем живым существам, для жизни необходима естественная для его вида среда обитания (река), конкретная совокупность условий, к которым он приспособился в ходе эволюционного развития. Рыба существует здесь в состоянии свободы, а сама свобода, таким образом, является ее биологической потребностью, условием нормальной жизнедеятельности. Поэтому когда его насильственно извлекают из среды обитания, лишают свободы, ленок проявляет ответную – оборонительную агрессию, борется за свою жизнь².

Сама среда существования для всех представителей биоты складывается в ходе их сложного взаимодействия между собой и условиями ландшафта. Эти экологические связи также трактуются как борьба за существование, уже

¹ Ленок (*Brachymystax lenok*) – пресноводная рыба семейства лососевых, «сибирская форель».

² В отличие от животных, борьба за жизнь которых мотивирована биологическим инстинктом, филогенетической программой самосохранения, человеком движет рассудок. Инстинктивные механизмы оборонительной агрессии в нем редуцированы, а доминирующая рассудочность предлагает пассивные варианты выживания, трусливую покорность – смирение перед агрессором и готовность принять неестественную среду, рабское существование: «Все рыбы хотят жить, не понимают и не принимают смиренно смерть, как мы – человеки <...> трусливо-покорные перед смертью» [6. С. 16].

на уровне природных систем в целом, что иллюстрировано описанием лесного покрова в пойме Енисея на Севере. Прибрежные песчаные почвы угнетающе воздействуют на рост деревьев: «Лесок по берегам рек и в ближнем отдалении скособочен, полубодран, полусух, сосенки сплошь тохонькие, покрытые по стволам серыми лишаями, еще в детстве впавшие в старушечий возраст, веток на них больше голых, чем с хвоею» [5. С. 296–297]. Но угнетенные деревья исполняют важную роль – предотвращают эрозию, обеспечивая тем самым абиотические условия для становления в этом пространстве других, разнообразных форм жизни: «...они, эти старухи подросткового вида, стоят и веками несут нужную земле службу, закрепляют пески корешками, удерживают сыпучую почву, и, глядишь, меж ними возросли мхи, по мху ягодники, взнялась пышно-телая зеленая сосна, мятежно взнявшись надо всей мелкотой, – царица здешних земель» [5. С. 301]. Каждый из живых организмов, существующих в пределах этого единого ландшафта, создает общую среду обитания, жизнедеятельность каждого делает возможным жизнь другого.

Понимание борьбы за существование как фундаментального основания природного бытия, фактора, движущего эволюционное развитие, не противоречит, таким образом, представлению о гармонии природы. Процессы естественного отбора, в том числе элиминации одних существ другими, подчинены объективной, онтологической закономерности. Они не нарушают баланс системы природы, а, напротив, поддерживают ее гомеостаз.

С конца 1980-х гг. природа в публицистике В. Астафьева включается в реальность высшего порядка – некое абсолютное бытие, определяющее законы сущего и требующее сверхчувственного познания, трансценденции. Представления о трансцендентном, присутствие которого только ощущается в окружающем природном пространстве, – неопределенные. Так, Енисей в Заполярье «зовет» повествователя, «...манит взор заглянуть дальше, дальше, уплыть за край земли, за мерцающую кромку, где синими отводками светятся, но не сходятся берега, уходящие в небо, в просторы уже неземные» [5. С. 294]. В размышлениях о тайне Тунгусского метеорита, ее неразгаданности, писатель выражает идею множественности миров, среди которых земная природа и человек, как ее обитатель, оказываются не единственными в своем роде: «...все еще идут споры о том, что это? Метеорит, межпланетный корабль, потерпевший аварию, звездолет, сделавший вынужденную посадку и снова умчавшийся в миры иные?..» [6. С. 8].

Писатель не знает, где именно находится высшая, предельная реальность, определяя ее либо как неземную (находящуюся за пределами сущего), либо как внеземную (находящуюся за пределами земного пространства). Недоступное восприятию, сверхъестественное получает абстрактную, рассудочную концептуализацию религиозно-догматического толка. Природа (и мир в целом) определяется как творение Бога, составляющего первопричину бытия, его первоначало. Божественный сверхразум открывается человеку только через откровение (размышления об «Апокалипсисе» в «незаконченной статье» «Лес не шумит, лес стонет» [7]). Это непосредственное волеизъявление божества содержит и предостережение, и моральное предписание, и информацию о сокровенной тайне бытия. Она выражена в виде догмата, неоспори-

мой истины, которая не требует доказательств и предполагает свое безусловное признание – веру.

Как показывает анализ, В. Астафьев обращается к осмыслению природы как художник. Картина природного мира в его очерках формируется на основе непосредственного опыта чувственно-эмоционального восприятия. Эстетическое восприятие природы и представление о ней как о гармонически организованном пространстве жизни изначально определяет генетическая связь с родной, сибирской природой, а также специфика переживания реальности социального существования. Как писатель русской деревни, переживающей разложение традиционной среды, он не ощущает гармонии в социуме, но обнаруживает ее в устройстве природы. При этом гармония открывается только «здесь и сейчас», в феноменальных проявлениях, состояниях и процессах природы, что обуславливает пейзажную форму ее изображения. В дальнейшем, в ходе мировоззренческой рефлексии, на основе категоризации, умозрительного преобразования наглядных образов восприятия (перцептов) в понятия, в очерках писателя выстраивается философская концепция природы, складывается концептуальное понимание ее структуры, свойств и всеобщих законов (эволюции, борьбы за существование).

Литература

1. Астафьев В. Родной голос // Астафьев В.П. Всеми своим часам. М., 1985. С. 160–171.
2. Астафьев В. Сопричастный // Астафьев В.П. Посох памяти. М., 1980. С. 16–33.
3. Астафьев В. Как тот заречный огонек // Астафьев В.П. Всеми своим часам. М., 1985. С. 146–154.
4. Астафьев В. Тоска по тундре. О стихах Владимира Романенко // Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 541–542.
5. Астафьев В. С карабином против прогресса // Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 292–309.
6. Астафьев В. Вечно живи, речка Виви // Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 7–43.
7. Астафьев В. Лес не шумит, лес стонет: Из незаконченной статьи // Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 44–48.

Kaminskiy Pyotr P., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: kelagast@yandex.ru / apzh2010@yandex.ru DOI 10.17223/19986645/27/11

NATURE IN THE PUBLICISTIC ESSAYS OF VICTOR ASTAFIEV OF 1960s – 1990s.

Keywords: Victor Astafiev, outlook, publicism, essay, nature, ontology.

On the material of the sketches and essays the views of V.P. Astafiev on nature are reconstructed. The system of these views is considered in its development from the early 1960s until the 1990s. In the analysis of poetics the logic of the natural world picture constructing is revealed. The holistic conceptual understanding of the structure and characteristics, conditions and relations of nature develops basing on the immediate experience of sensual-emotional perception, expressed in landscape sketches, by synthesis, theoretical generalization of visual images accumulated in the memory. There also develops the understanding of nature as a living space, of universal laws, and of absolute bases of a harmoniously organised space.

V. Astafiev refers to nature understanding as an artist. The picture of a natural world is not built rationally and logically, but spontaneously. It consists of immediate life observations. A personalised author-narrator, identical with the writer's personality, is localized at the point in space and time. He perceives the natural processes immediately, synchronously with their implementation. The position of an observer provides a view of concrete natural toposes as a whole, in the fullness and unity of their patterns and manifestations, conditions and relations. Natural spaces are described as biogeocenoses

that unite living organisms (plants and animals) and non-living components (landscape). The essays express the idea about the order and harmonic organization of nature.

The fundamental principles of the world picture, which begins in childhood, is mother nature. As the writer of a Russian village, which experiences the decay of the traditional way of life, he does not feel harmony in the social reality, but finds it in the organization of nature. However, he finds this harmony only "here and now", in the phenomenal manifestations (conditions and processes) of nature, which makes the landscape shape its image.

While the structure and features of nature in V. Astafiev's world picture are open, available to the human, its inner essence, the ultimate foundations of natural existence remain hidden from him. The limited possibilities of immediate experience define the value of intuition. The phenomenal only opens the secret of natural existence, representations about which so far are limited by feelings and emotions. The picture of the natural world is built as a chain of associations (allusions, analogies), which cause specific images of perception (visual, auditory, olfactory, gustatory, tactile).

From the second half of the 1980s the way of nature perceiving changes, acquiring a figurative-conceptual form.

Basing on categorisation, on speculative conversion of the visual and sensual perception images to the concept the holistic picture of the natural world develops, which includes the understanding of the structure and characteristics, conditions and relations of nature as a living space, the understanding of the general laws (cyclical renewal and evolution, struggle for existence) and the absolute foundations of existence (eternity, God).

References

1. *Astafiev V. Rodnoy golos // Astafiev V.P. Vsemu svoy chas. M., 1985. S. 160–171.*
2. *Astafiev V. Soprichastnyy // Astafiev V.P. Posokh pamyati. M., 1980. S. 16–33.*
3. *Astafiev V. Kak tot zarechnyy ogonek // Astafiev V.P. Vsemu svoy chas. M., 1985. S. 146–154.*
4. *Astafiev V. Toska po tundre. O stikhakh Vladimira Romanenko // Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: v 15 t. T. 12: Publitsistika. Krasnoyarsk, 1998. S. 541–542.*
5. *Astafiev V. S karabinom protiv progressa // Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: v 15 t. T. 12: Publitsistika. Krasnoyarsk, 1998. S. 292–309.*
6. *Astafiev V. Vechno zhivi, rechka Vivi // Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: v 15 t. T. 12: Publitsistika. Krasnoyarsk, 1998. S. 7–43.*
7. *Astafiev V. Les ne shumit, les stonet: Iz nezakonchennoy stat'i // Astafiev V.P. Sobranie sochineniy: v 15 t. T. 12: Publitsistika. Krasnoyarsk, 1998. S. 44–48.*

УДК 654.197
DOI 10.17223/19986645/27/12

А.А. Пронин

АВТОРСКАЯ ИНТЕНЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ: ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Статья посвящена проблеме автора в тележурналистике. Журналистское произведение анализируется в аспекте выявления коммуникативного намерения автора. Применение когнитивно-функционального подхода позволяет выявить авторскую интенцию и описать стратегии в жанровом, композиционно-сюжетном и стилевом аспектах. На конкретных примерах рассматриваются варианты применения авторских стратегий в произведениях информационной тележурналистики.

Ключевые слова: тележурналистика, автор, интенция, стратегия, медиатекст.

Проблема автора – одна из ключевых и наиболее сложных для исследователей произведения тележурналистики. На наш взгляд, перспективным способом ее изучения является когнитивно-функциональный подход, в частности интенциональный анализ, применяемый в медиалингвистике. Как отмечает Н.И. Клушина, «порождение текста диктуется авторской интенцией» [1. С. 28], которая, в свою очередь, «характеризует не сознание автора, а обозначает целеустановку высказывания или текста как единого целого» [2. С. 24]. Принимая данное положение за основу, мы постараемся применить его при анализе такой сложной поликодовой структуры, как телевизионное журналистское произведение. Но поскольку структура творческой деятельности журналиста предполагает наличие двух взаимосвязанных уровней (этапов): когнитивного и коммуникативного, то следует уточнить, что наша задача – выявить прежде всего коммуникативное намерение автора (прагматики высказывания). Безусловно, оно взаимосвязано с когнитивными установками восприятия реальности, отраженной в высказывании, и взаимообусловленность «когнитивной» и «функциональной» структуры телевизионного медиа-текста очевидна, но нас будет интересовать, главным образом, функциональность.

Однако прежде зададимся вопросом: а в какой степени задача по выявлению авторской интенции выполнима по отношению к произведению тележурналистики? Во-первых, она усложняется тем обстоятельством, что телевизионный журналист делит авторство с целым творческим коллективом, и интенция «коллективного автора» все-таки достаточно условна. Во-вторых, есть разные оценки значения авторства в тележурналистике. Одни исследователи считают, что роль автора как субъекта творчества и выразителя определенной позиции на ТВ растет, а другие, наоборот, что снижается. Так, А. Новикова, прослеживая эволюцию документальной драмы на телевидении, вспоминает знаменитую историю времен перестройки, когда С. Курехин и С. Шолохов в эфире Ленинградского телевидения рассказали о том, что «Ленин – это гриб»¹ (передача «Пятое колесо», выпуск 17 мая 1991 г.). Анализи-

¹ Расшифровка на сайте www.skeptik.net/prikol/lenin_gr.htm

руя сам факт появления курехинской мистификации, исследователь делает вывод: «Под напором безудержной фантазии телевизионных авторов пала не только официальная советская история. Пали все запреты и табу... Документ перестал быть стержнем телевизионной документальной драмы, превратившись в трамплин для фантазии авторов, которые, оттолкнувшись от него, отправились в свободный полет» [3. С. 125]. И с того самого момента, как показывает А. Новикова на примерах телепроектов Э. Радзинского, А. Гордона, Л. Парфенова, Л. Лурье и т.д., тенденция «повышения авторского начала» превратилась в доминирующий процесс.

Противоположной точки зрения придерживается, к примеру, известный социолог Александр Кустарев, который считает, что телевидение в силу «установки на фактологию» сильно «потеснило позиции авторской журналистики» [4]. По мнению исследователя, на ТВ побеждает «новый журнализм», ориентированный не на презентацию «старой высокой культуры», а на интересы и потребность к самоутверждению «малой публики», частью которой ощущают себя *сильные медиаличности*. В глазах общественности это воспринимается как демократизация, однако на деле, утверждает А. Кустарев, фактологи, «подавляя авторскую культуру, сами заняли место авторов в виде *звезд* или *фигур* (*personalities*)».

Мы привели два противоположных по сути суждения не столько для сравнения (они сделаны в разных дискурсах), сколько для иллюстрации актуальности задачи исследования проблемы автора в тележурналистике, в том числе и в предлагаемом нами ключе. Понимание авторских интенций и стратегий, выявление коммуникативной прагматики произведения позволяет определить существенные признаки журналистского творчества. В ситуации с медиатекстом эта задача упрощается тем, что его автор «в отличие, например, от автора художественного произведения не условный образ (рассказчик, лирический герой и т.п.), от лица которого ведется повествование, но конкретная подлинная личность со своими вкусами и пристрастиями» [5. С. 11]. То есть нам нет необходимости искать «образ автора» (или «маску») и делать поправку на ее наличие при анализе текста, мы исходим из того, что личность тележурналиста и автор, как правило, в целом совпадают – мы его видим на экране, иногда встречаем в качестве гостя в других передачах или читаем о нем в прессе. Другое дело, что в собственном журналистском произведении он активизирует только те стороны своей личности, которые востребованы ситуацией телевизионного творчества и актуальны «здесь и сейчас». И понимая это, мы можем говорить о «подлинных намерениях автора», которые обусловлены целым рядом обстоятельств: как творческих (жанр, композиция, стиль передачи), так и прагматических (технология производства, программная верстка, место в сетке вещания, рейтинг и т.д.).

Каким же образом можно определить авторскую интенцию и стратегию конкретного телевизионного медиатекста? Самый простой путь – вывести ряд стратегических формул, исходя из моделей авторства, предлагаемых известной классификацией Г.Я. Солганика. Он выстраивает структурную модель категории автора в журналистике на основе дихотомии «автор – человек социальный» / «автор – человек частный» и выделяет два базовых принципа отношения к действительности: «оценочное» и «безоценочное», которые за-

тем разбивает, соответственно, на «апологетическое» и «критическое», «информирование» и «анализ» [5. С. 79]. Последние четыре дефиниции, позволяющие выделить конкретные модели автора (пропагандист, полемист, иронист; репортер/летописец/художник, аналитик/исследователь), относятся, на наш взгляд, как раз к области творческой интенции создателя медиатекста, а следовательно, определяют стратегические намерения журналиста – хотя и в довольно общих чертах. Классификация Г.Я. Солганика, в сущности, утверждает обусловленность категории автора категорией жанра): например, безоценочное отношение на уровне информирования определяет автора как репортера, следовательно, его стратегию можно определить как *«нейтральное информирование с места события»*, – что попросту вытекает из классического определения жанра репортажа. Но практика современного телевидения показывает, что эмоциональность, а иногда и вполне «оценочное» сопереживание, в определенных случаях делает репортаж более достоверным, документальным и т.д. О подвижности жанровой системы в современной тележурналистике уже немало сказано (В.В. Егоров, С.Н. Ильченко, Т.В. Лебедева и др.), и эта тенденция естественным образом влечет за собой другую: традиционная коннотация жанр – автор в условиях быстрой смены форм творчества, характерной для медиаккультуры, теряет свою устойчивость. Разумеется, жанровое содержание журналистского произведения в значительной мере определяет характер авторства, но, во-первых, эта связь двусторонняя, а во-вторых, это не единственный фактор влияния. Кроме того, и сам базовый принцип – отношение субъекта к действительности – на практике, конечно же, не сводится к двоичной системе, как у Г.Я. Солганика, столь удобной для создания теоретической конструкции авторства. Таким образом, приходится признать, что при верных посылах подобный «дедуктивный» путь в известном смысле заменяет представления о намерениях автора на определение того, какими они должны быть.

Когнитивно-функциональный подход предполагает скорее «индуктивный» путь исследования: на основе анализа конкретных медиатекстов выявлять авторские намерения, которые позволят определить когнитивную модель профессионального поведения журналиста. При этом под намерениями, или *интенцией*, автора мы понимаем именно *целеустановку на творческую деятельность определенного характера*. Следует оговорить также, что определяемый данной интенцией способ действия, уже сознательно выбранный для выполнения однотипных задач, мы будем называть *«авторской стратегией»* (т.е. «коммуникативной стратегией автора»). Под этим термином мы, по сути, подразумеваем то, что в литературоведческих исследованиях называют «повествовательной» или «нарративной» стратегией, т.е. «каким образом автор описывает последовательность происходящих событий, как он их трактует, какие грамматические и событийные категории при этом оказываются ключевыми» [6. С. 62]. Разумеется, в случае с тележурналистикой стратегия охватывает и невербальный инструментарий. И, следуя данной логике до конца, мы вправе предположить, что при работе над конкретным журналистским произведением автор использует и определенные *тактики* (речевые, риторические, сюжетно-композиционные и т.д.), которые также необходимо анализировать.

Чтобы показать, как можно определить авторские интенции и стратегии, проанализируем несколько репортажей на одну тему. Весьма показательным в этом смысле является, на наш взгляд, пример из эфирной практики недавнего прошлого: материалы о разрешении громкого социально-экономического конфликта в г. Пикалево (4 мая 2009 г.). В этот день город в Ленинградской области, ставший знаменитым на всю страну акциями протеста против остановки градообразующих предприятий, посетил тогдашний премьер-министр В. Путин. В своем репортаже для выпуска «Последних известий» на телеканале «100ТВ» Дарья Милявская не только информирует, где и что происходило (завод, совещание в мэрии, площадь), какие лица стали героями (Путин, Дерипаска, Сердюков, безымянные активисты), но и в финальном «стенд-апе» дает оценку событию: об окончательном решении проблемы говорить еще рано, снята только острота, и не факт, что административные меры окажутся эффективными. При этом слово «горожане» и его синоним «жители Пикалево», употребляемые в репортаже около десяти раз, используются в сочетании с такими определениями, как «доведенные до отчаяния», «возмущенные», «растерянные» и т.д. Таким образом, репортер, в течение нескольких месяцев освещавший пикалевскую историю, избирает стратегию «свидетельства-сопереживания», которая придает событийному репортажу публицистическую интонацию.

Корреспондент «Пятого канала» Аркадий Назаренко применил в своей работе иную авторскую стратегию: добросовестно и логически четко изложив перипетии действия, он акцентирует внимание на забавном, с его точки зрения, моменте «добровольного» подписания кабального для себя договора миллиардером О. Дерипаской, нынешним владельцем глиноземного завода. Иронизирующий автор сосредоточился в построении своего сюжета на возможности продемонстрировать аудитории показательную «порку», учиненную бизнесу властью, и это дает нам возможность утверждать, что он реализовал в своем репортаже стратегию «иронического свидетельства». Его интенция в таком случае определялась априорным отношением к бизнесу как к заведомо нечистоплотному делу, а во власти он видел сильную руку и гарантию социальной стабильности. Хотя не исключено, что мотивация такого профессионального действия не только творческая и личностная, но и социальная (карьерный рост), однако это внешнее обстоятельство по отношению к собственно творческому процессу – влияет на интенцию и стратегию, но не составляет их. Кроме того, нельзя исключать и возможности прямой внешней установки или пожелания редактора, а также влияния коллег. Факторов, влияющих на целеустановку, можно выявить достаточно много, и они требуют специального изучения социологическими методами. Для нас важно, что в профессиональном сознании тележурналиста все значимые для него импульсы синтезировались в обозначенную авторскую стратегию.

Если мы проанализируем подобным образом недавние эфирные материалы, различия в коммуникативной установке автора и избранных им стратегиях также будут заметны. Например, 12 января 2013 г. в сообщениях о завершении истории с исчезновением журналистки Ирины Кабановой на телеканалах «Санкт-Петербург», «100ТВ», «Пятом» и «Первом» только журналист местного канала ограничился нейтральным свидетельством, в то время как в

работе авторов регионального и федеральных каналов была явно видна установка на то, чтобы показать причины трагедии в широком контексте проблемы насилия в семье. Эта разница проявилась прежде всего на жанровом уровне: в первом случае в эфире была короткая видеoinформация, в трех других – развернутые проблемные репортажи, композиционно-сюжетная структура которых была обусловлена данной установкой. Кроме того, в репортажах гораздо шире использовалась и соответствующая лексика: «издевательства», «побои», «бытовое насилие» и т.д. (как в закадровых авторских текстах, так и в интервью экспертов). Очевидно, на целеустановку, определившую выбор авторской стратегии «свидетельства-сопереживания», также повлиял тот факт, что жертва оказалась коллегой-журналистом.

Приведенные выше примеры – вариант синхронного анализа, однако не менее показательным является, на наш взгляд, сравнение в динамическом ключе. Так, 14 ноября 2011 г. в Москве произошел пожар на теплоходе «Сергей Абрамов» – сравним материалы об этом событии в утреннем (9.00) и вечером (21.00) информационных выпусках «Первого канала». В первом репортаже корреспондент Денис Давыдов, находясь на месте происшествия в момент тушения пожара, информирует зрителя о том, что происходит в данный момент: сколько пожарных расчетов, машин скорой помощи, какова площадь возгорания, сколько пострадавших и т.п. В коротком синхроне руководитель пожарных уточняет параметры пожара, не касаясь причин. Характерно, что в 1,5-минутном репортаже два стэнд-апа на фоне горящего и дымящегося в темноте судна, которые образуют композиционное «кольцо». И в целом можно говорить о том, что автор избрал для репортажа стратегию «нейтрального свидетельства». А вот в материале вечерней программы «Время» мы наблюдаем уже другой подход к рассказу о том же событии: на этот раз начальник пожарных высказывается о предполагаемых причинах происшедшего; появляется эпизод из больницы, где о начале ЧП говорит пострадавший член команды; в закадровом тексте журналист формулирует первые результаты комиссии по расследованию (нарушения техники безопасности и несанкционированные конструктивные изменения). Таким образом, корреспондент Илья Костин вполне логично для итогового выпуска дня применяет стратегию «свидетельства с элементами анализа».

Во всех приведенных журналистских работах основной является целеустановка на свидетельство, что позволяет сделать вполне очевидный вывод: *свидетельская интенция* является базовой для данного вида журналистского творчества. Очевидно, ею обусловлены выбор автором жанра журналистского произведения (если он не задан как внешняя установка), его композиционно-сюжетное решение, использование тех или иных речевых и иных выразительных средств, т.е. способ и приемы коммуникации, ее прагматика. Что касается авторских стратегий и тактик, определяемых данной коммуникативной целеустановкой, то их применение связано с когнитивной деятельностью автора, его отношением к факту или явлению, о котором он свидетельствует (от отстраненности до сопереживания или иронии). Кроме того, на выбор авторской стратегии может повлиять и множество внешних факторов: политических, социальных, технических и т.д., которые также необходимо учитывать при анализе произведения.

Разумеется, возникает резонный вопрос: а что дает такой анализ, для чего он нужен? На наш взгляд, он имеет очевидное прикладное значение – как метод обучения профессии. Функционально-когнитивный подход позволяет сосредоточиться на практике интерпретации отдельного произведения, определения индивидуальной когнитивной системы автора-тележурналиста в конкретном творческом, производственном и историческом контексте. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что представленный в данной статье анализ может показаться субъективным, основанным на личном опыте преподавателя и журналиста-практика, для которого наиболее важными аспектами произведения являются жанр, композиция и стиль. Для более глубокой научной интерпретации, вероятно, недостаточно категорий классического литературоведения, и для поиска типологических закономерностей, выработки общих принципов интерпретации потребуются междисциплинарные исследования на стыке медиалингвистики, психологии, социологии и теории коммуникаций.

Литература

1. *Клушина Н.И.* Интенциональные категории публицистического текста в аспекте коммуникативной стилистики (на материалах периодических изданий 2000–2008 гг.): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2008. 45 с.
2. *Дускаева Л.Р., Цветова Н.С.* Интенциональный анализ как вектор развития // Журналистика и культура русской речи. 2012. № 4. С. 18–33.
3. *Новикова А.* Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. СПб., 2008. 208 с.
4. *Кустарев А.* Конкуренция и конфликт в журналистике // Российское общество и СМИ. М., 2000. № 4. URL: <http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/55938.htm>.
5. *Солганик Г.Я.* К определению понятия «текст» и «медiateкст» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2005. № 2. С. 17–15.
6. *Петрухин П.В.* Нарративные стратегии и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века // Вопросы языкознания. 1996. № 4. С. 62–84.

Pronin Alexandr A., Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russian Federation).

E-mail: prozin@mail.ru

AUTHOR'S INTENTION IN INFORMATION TELEVISION JOURNALISM: THE EXPERIENCE OF PRACTICAL ANALYSIS. DOI 10.17223/19986645/27/12

Keywords: television journalism, author, intention, strategy, media text.

The article deals with the author in television journalism. A journalistic work is analyzed in terms of identifying the communicative intentions of the author. Application of the cognitive-functional approach reveals the author's intention and describes the strategy in genre, compositional and stylistic aspects of the scene. Specific examples help to consider the use of individual author's strategies in information journalism.

The problem of the author is one of the key and most difficult issues for researchers of journalism. In our opinion, a promising way to study it is the cognitive-functional approach, in particular, intentional analysis used in media-linguistics. Understanding author's intentions and strategies, identifying the communicative pragmatics of a work determine the essential features of journalistic creativity. It is the purpose, the true intentions of the author, which are caused by a number of circumstances: creative (genre, composition, style) and pragmatic (production technology, montage, broadcasting schedule, rating, etc.). The author's intention is the task of creative activity of a certain character. The mode of action this intention defines, consciously chosen for the same kind of tasks, is called the author's strategy (i.e. the author's communicative strategy). This term, in fact, means the "narrative" strategy, how the author describes the sequence of events and interprets them, what grammatical and event categories in this case are the key ones. And, following this logic to the end, we may assume that when working on a specific journalistic product, the author uses certain tactics (speech, rhetoric, plot, etc.), which should also be analyzed.

The article shows it by specific examples of television messages. In all the journalistic work the task is to be the evidence, which leads to an obvious conclusion: the intention of an eyewitness is basic for this kind of journalistic activity. Obviously, it motivates the author's choice of the genre of the journalistic work (if it is not specified externally), its composition and storyline solution, its speech and other expressive means – the method and techniques of communication, its pragmatics. As for the author's strategies and tactics defined by the communicative purpose, their use is associated with the cognitive activity of the author, his attitude to the fact or phenomenon, which he describes (from detachment to empathy or irony). In addition, the author's choice of strategy can be affected by many external factors: political, social, technological, etc., which should also be considered when analysing the works.

References

1. *Klushina N.I.* Intentsional'nye kategorii publitsisticheskogo teksta v aspekte kommunikativnoy stilistiki (na materialakh periodicheskikh izdaniy 2000–2008 gg.): avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. M., 2008. 45 s.
2. *Duskaeva L.R., Tsvetova N.S.* Intentsional'nyy analiz kak vektor razvitiya // *Zhurnalistika i kul'tura russkoy rechi*. 2012. №4. S. 18–33.
3. *Novikova A.* Sovremennye televizionnye zrelishcha: istoki, formy i metody vozdeystviya. SPb., 2008. 208 c.
4. *Kustarev A.* Konkurentsia i konflikt v zhurnalistike // *Rossiyskoe obshchestvo i SMI*. M., 2000. №4. URL: <http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/55938.htm>.
5. *Solganik G.Ya.* K opredeleniyu ponyatiya «tekst» i «mediatekst» // *Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika*. 2005. №2. S. 17–15.
6. *Petrukhin P.V.* Narrativnye strategii i upotreblenie glagol'nykh vremen v russkoy le-topisi XVII veka // *Voprosy yazykoznaviya*. 1996. № 4. C. 62–84.

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

Предлагаемой читателям статьей редколлегия журнала открывает новую рубрику, в которой предполагается публикация научных работ ведущих филологов, заложивших основы научных школ, внёсших значительный вклад в становление и развитие новых научных направлений. Статьи, представленные в данной рубрике, были опубликованы в региональных изданиях, которые в настоящее время практически недоступны читателю, но вместе с тем имеют принципиальную значимость для развития современной филологической науки. Отсутствие их в широком доступе, по мнению редколлегии, может явиться причиной неполного представления о генезисе и динамике ряда актуальных направлений филологии.

Маина Николаевна Янценецкая – профессор кафедры русского языка, с 1987 по 1992 г. зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета, основатель дериватологического направления томской лингвистической школы. Маина Николаевна стояла у истоков теории диалектного словообразования, развила и уточнила ряд кардинальных понятий теории словообразования: понятие словообразовательной категории, лексического гнезда, аналогии, мотивации и мотивационных отношений, понятие обобщенно-мотивационного значения и др.; разработала типы словообразовательной аналогии и ее связи с типами мотивации, типологию словообразовательных значений, многоуровневую семантическую классификацию производных существительных и глаголов с опорой на семантику. В последние годы жизни развивала идеи функционального словообразования, наметив программу коммуникативно-функционального и когнитивного аспектов исследования русского словообразования. Эти идеи представлены в последней статье М.Н. Янценецкой, опубликованной в 1995 г. в сборнике «Актуальные проблемы региональной лингвистики и истории Сибири» (Кемерово, 1992. С. 4–33).

УДК 811.161.1
DOI 10.17223/19986645/27/13

М.Н. Янценецкая

ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (ОБЗОР РАБОТ СИБИРСКИХ ДЕРИВАТОЛОГОВ)

В статье характеризуются направления когнитивных дериватологических исследований в работах сибирских дериватологов, сложившиеся к началу 90-х гг. XX в. Рассматриваются основные направления в изучении словообразования, которые привели к формированию когнитивного анализа: лексикологический, мотивологический и синтаксический анализ деривационных процессов. Представлен обзор исследований семантики производного и деривационного потенциала производящего слова с учётом пропозиционального смысла, заложенного в его семантической структуре.

Ключевые слова: словообразование, когнитивный аспект дериватологии, пропозициональный анализ, словообразующие возможности.

1. Если исходить из того, что пропозициональный подход характеризуется универсальностью и показывает способ мышления и организации человеческого сознания, то следует признать, что язык «ориентирован» на пропозицию, которая является смысловой основой языковых единиц всех уровней. Это означает, что структура пропозиции, её компоненты и характер связей между предикатом и его аргументами находит отражение не только в синтаксических предикативных единицах, но и в морфологических формах, словообразовательной структуре и лексической семантике, хотя и в специфическом, «свернутом» виде.

Эта идея настойчиво обсуждалась у нас в начале 80-х годов. Именно тогда была установлена иерархия средств выражения пропозиции. Так, М.Б. Бергельсон и А.Е. Кибрик выделяют следующие её ступени: независимое предложение – придаточное предложение – оборот – предикат – определитель – именная группа – служебное слово – грамматическая категория – часть лексического значения [1. С. 344].

Анализ производной лексики показал, что в иерархию средств выражения пропозиции – отдельной ступенью – входит также производное слово (ср.: [2. С. 6]). Естественно, что наиболее полное выражение пропозиция получает в предложении, в остальных случаях наблюдается та или иная степень её компрессии.

Анализ производного слова с учётом того пропозиционального смысла, который заложен в его семантической структуре, позволяет уточнить наши представления по таким вопросам словообразования, как способ участия производящего слова в создании производного, источники идиоматичности последнего и степень её проявления, функция производного в тексте (высказывании) и др. Главное внимание уделяется глубинной, смысловой характеристике производного слова, отражающей предикатную ориентированность его структуры и сопровождаемой вычленением того компонента пропозиции,

который непосредственно используется для создания производного. Такой подход характеризует работы ряда сибирских диалектологов¹.

Сказанное не означает, что мы не делаем принципиального различия между значением слова, предложения. Это свидетельствует лишь о том, что смысловую базу словообразовательного акта мы видим в пропозициональной структуре, компонентами которой являются и производящая, и производная семантика.

Мы исходим из того, что каждый компонент препозиции способен выступать в качестве представителя пропозиции в целом. При этом меняется «лишь» тот аспект, в рамках которого оказывается представлена пропозиция, и та степень определённости, с которой пропозиция отражается в семантике слова.

Перенос центра внимания на производящую единицу, на её словообразующие потенции позволяет видеть словообразовательные связи в динамике, в преобразовании производящей семантики в производную. Обладая пропозициональной значимостью, производящая семантика на глубинном уровне включает в себя информацию о других смысловых компонентах пропозиции, каждому из которых соответствует набор конкретных семантик, способных подвергнуться лексической (словообразовательной) объективации, т.е. стать значением производного слова.

Пропозициональный подход, дополненный ономаσιологическим направлением словообразовательного анализа, приводит к функциональному аспекту исследования, при котором создание номинативной единицы рассматривается как элемент коммуникативного акта.

II. Возникает вопрос, как связан данный подход к словообразованию с другими аспектами его изучения. Чтобы ответить на него хотя бы в самом общем виде, необходимо назвать основные направления в изучении словообразования, которые привели к интересующему нас аспекту. Разумеется, мы отметим лишь те подходы, которые оказывали влияние на формирование принятой нами точки зрения на словообразование.

Признание синхронного словообразования (см., напр., [3. С. 5–12]) означало переход к изучению последнего как особой подсистемы языка. Начинают выявляться основные её единицы, даётся описание системы словообразовательных типов [4]; [5]; [6]; [7]; [8. С. 122–264] и словообразовательных гнёзд ([9]; см. также [10] и др.) литературного и диалектного языка. Словообразование рассматривается как самостоятельная область языкознания, отражающая взаимодействие и борьбу двух начал – морфологического и лексического [11. С. 6]. Грамматика систематизирует производные по типовым признакам, лексика их индивидуализирует [12. С. 9–31].

С синхронным аспектом словообразования связан также анализ отношений производности как отношений мотивации (обусловленности формы и значения одного слова формой и значением другого). Более того, появилось

¹ Прежде всего тех, кто работал и работает в Томском госуниверситете, а также тех, кто учился в аспирантуре при ТГУ и сейчас преподаёт в Алтайском и Кемеровском университетах, в Томском, Новосибирском, Благовещенском и др. пединститутах. Некоторые их статьи и монографии представлены в списке литературы. Большая их часть вышла в свет благодаря университетским издательствам Сибири.

суждение о возможности изучения словообразовательной мотивации без обращения к понятию производности. Последнее «вытесняется» «более общим понятием формально-семантической словообразовательной соотносительности» [11. С. 143]. Всё это привело исследователей к анализу мотивационных связей как относительно независимых от словообразовательных моделей. Вступая в собственно лексические отнесения, производное слово как бы освобождается от строгих словообразовательных рамок и функционирует как многомерная структура, управляемая этими отношениями.

В результате производное более чем двухступенчатой словообразовательной цепочки или разветвлённого словообразовательного гнезда приобретает вариативную морфемно-мотивационную структуру. В этом случае его основа может рассматриваться как совокупность простейших морфем, объединяющихся на основе общего корня в различные варианты «производящих основ» и «словообразовательных формантов» ([13]; [14], ср.: [15]). Ср., напр.: словообразовательные связи *борона* – *бороновать* – *боронование*; *подхалим* – *подхалимство* – *подхалимствовать* наряду с *возить* – *возка*; также *возить* – *возчик* и лексические мотивационные отношения *борона* – *бороновать*; *бороновать* – *боронование*; *борона* – *боронование*; *подхалим* – *подхалимство*; *подхалимство* – *подхалимствовать*; *подхалим* – *подхалимствовать*; *возить* – *возка*; *возить* – *возчик*; *возка* – *возчик*. При установлении межлексемных мотивационных отношений многие из производных, приведенных нами в качестве примера, актуализируют разные варианты своей морфемной структуры, см.: *борон-ов-анј-е* (мотивирующее *борона*) и *борон-ов-анј-е* (*бороновать*), *подхалимствовать* (ср. *подхалим*) и *подхалимствовать* (ср. *подхалимство*), *воз-к-а* (ср. *возить*), *воз-чик* (ср. *возить* и *возка*).

Лексические мотивационные отношения начинают рассматриваться как явление лексикологии. Становление нового деривационного аспекта происходит достаточно активно: появляются статьи, монографии (М.Н. Янценецкая [12], О.И. Блинова [16], А.Н.Тихонов, А. Пардаев [18], Н.Д. Голев [17]), отражающие, как нам представляется, последовательные шаги в утверждении лексикологического подхода к словообразованию. Лексикологическому аспекту приписывается статус самостоятельного раздела языкознания под именем «мотивологии» [17]. В качестве материала исследования используются данные русского литературного языка и диалектов.

Конечно, реальное движение к лексикологическому аспекту словообразования не было ни столь единодушным, ни столь целее-направленным, как может показаться с первого взгляда. Решение целой группы вопросов у разных исследователей оказывается неодинаковым.

Сторонники словообразовательного аспекта делают акцент на словообразовательной структуре слова, на основе которой формируется необходимое лексическое значение.

При лексикологическом подходе в качестве главного фактора рассматривается лексическое значение мотивационно связанных слов, частичное отождествление которых и обуславливает выявление внутренней формы и классифицирующего форманта. При этом словообразовательные связи любого вида (непосредственные, опосредованные и др.), трансформируясь на лекси-

ческом уровне, предстают как отношения непосредственной деривации [12. С. 212–224]; [22]; [2. С. 11–14].

Указанная особенность свидетельствует об относительной независимости лексического значения производного слова от его формальной структуры. Этим свойством производного объясняется его способность непосредственно соотноситься с называемым явлением подобно непроемной единице.

Данная особенность создаст и другую возможность – выбора способа опосредованного соотношения производного слова с называемым явлением. Это, на наш взгляд, связано с тем, что последнее может осознаваться говорящим как компонент разных видов ситуаций или как разные компоненты одной ситуации. Вследствие этого возможно соотношение производного слова с разными компонентами одной пропозиции или с общим компонентом нескольких пропозиций.

Так, производное *черника*¹ может соотноситься с субъектом (X) разных пропозиций: *черника чёрная* (X обладает признаком А); *черника чернеет* (X проявляет признак А); *черника чернит руки* (X наделяет У признаком А). Этим обуславливаются мотивационные связи слова *черника*: *чёрный* – *черника*, *чернеть* – *черника*, *чернить* – *черника*. Вследствие этого называемое явление (*черника*) предстаёт или как предмет, обладающий статическим признаком, или как предмет, проявляющий этот признак в той или иной степени, или как предмет, наделяющий данным признаком другой предмет [21].

Слово *пекарня* может быть поставлено в мотивационные отношения со словами *печь* и *пекарь*. При этом все три слова называют компоненты одной пропозиции с многоместным предикатом, ср. *Пекарь печёт хлеб в пекарне* (X создаёт У). Так как в принципе каждый компонент пропозиции несёт информацию обо всей пропозиции в целом (и, следовательно, о каждом её члене), любой из этих компонентов может быть использован в качестве основы мотивации, например: *пекарь* – *пекарня* (там, где работает пекарь), *печь* – *пекарня* (там, где пекут хлеб). Значит, называемый предикат (*пекарня*) предстаёт то как место нахождения субъекта, то как место, где совершаются определённые действия.

Способы связи производного слова с называемым явлением ограничиваются теми видами внутри- или межпропозициональных отношений, которые маркируются его морфемной структурой и которые выделены говорящими в качестве типов номинации². Последние отражают функциональный или характеризующий аспект (принцип) номинации [28]; [25] и оказываются отмеченными, хотя и опосредованно, через тематическое «наполнение» словообразовательного типа [30]; [6].

Указанная выше вариативность мотивационной структуры производного, как правило, снимается в высказывании (в тексте), а производное слово приобретает такую мотивационно-морфемную структуру, которая данным высказыванием (текстом) обуславливается. Поэтому актуализируемый в речи вариант межлексемных мотивационных связей может не только «подтвердить» действительный словообразовательный акт, но и «видоизменить» его,

¹ Данный пример анализируется во многих работах и далеко не всегда однозначно.

² Описание см.: [24. С. 198–315; С. 122–264]; [5]; [6]; [7]; [25]; [26]; [27] и др.

сблизив слова разных словообразовательных ступеней, и даже создаст уникальную по структуре производную единицу. И хотя коммуникативно обусловленные мотивационные связи производного недолговечны (они существуют столько, сколько длится высказывание), сам факт их проявления, умноженный на количество высказываний, их повторяющих, создаёт прецедент новых словообразовательных структур, которые при необходимости могут быть использованы языком.

Например, актуализация опосредованных словообразовательных связей типа *влажный* – *влажнить* – *увлажнить* как непосредственных (*влажный* – *увлажнять*) приводит к появлению второго варианта словообразовательной структуры производного *у-влажн-и(ть)* (ср. его с собственно словообразовательной схемой – *у-влажни(ть)*). По возникшей схеме создаются новые слова, в результате чего формируется префиксально-суффиксальный тип отадъективных глаголов (*короткий* – *укоротить*, *длинный* – *удлинить* и др.). «Промежуточное» звено в словообразовательной цепи в данном случае отсутствует: нет **богатить*, **коротить*, **длинить* [31. С. 34–42; 12. С. 229–225].

Иными словами, при функционировании словообразовательные и лексические (мотивационные) отношения принципиально не противопоставлены друг другу. Напротив, словообразовательная связь может рассматриваться как один из видов мотивационных отношений, т.к. словообразовательные отношения актуализируются через мотивационные связи лексических единиц.

Таким образом, создаются условия для функционального подхода к единицам словообразования / мотивологии.

Свидетельством формирования такого подхода являются исследования, в которых авторы значение производного слова сводят к той или иной синтаксической единице, утверждая тем самым синтаксическую (с учётом семантики и средств выражения) базу словообразования. Нам представляется, что производное должно соотноситься не с тем или иным конкретным предложением или синтаксическим оборотом, а с глубинной пропозицией, которая, в свою очередь, может получать синтаксическое, морфологическое или лексическое выражение.

Учитывая, что предложение является иконическим способом выражения пропозиции, сведение производного к какому-либо конкретному типу предложения можно рассматривать как исследовательский приём, как описание словообразовательной семантики трансформационным методом.

Признание обусловленности словообразовательных связей внутрипропозициональными отношениями хорошо просматривается и в утверждении об изоморфизме падежных и словообразовательных значений, что позволяет «усматривать в них разную поверхностную реализацию единой глубинной структуры» ([32. С. 37; ср. [33]; [31]; [15. С. 303] и др.), под которой, по нашим понятиям, скрывается пропозиция того или иного вида [36. С. 12]; [37. С. 26].

Функциональный подход предполагает исследование словообразовательных единиц в двух связанных между собой аспектах: системно-функциональном и коммуникативно-функциональном.

Первые шаги к функциональному анализу производного слова сделаны И.С. Торопцевым. Им разработана модель мыслительной деятельности человека, регулирующей процесс возникновения нового слова, которое осуществляется в недрах того или иного высказывания [33; 39. С. 5–71]. Предлагаемая автором многоэтапная модель процесса возникновения новой лексической единицы «характеризуется единством мыслительной и речевой форм деятельности при примате первой» [17. С. 58] и отрицанием имманентной стороны словопроизводства и тех психических процессов, которые обеспечивают создание лексической единицы. Реальные коммуникативные акты, по существу, находятся вне поля зрения ученого. Тем не менее, работы И.С. Торопцева способствуют продвижению исследовательской мысли в сторону функционально-коммуникативного словообразования.

Важным моментом в развитии словообразования является обращение к анализу межлексемных мотивационных связей в актах коммуникации, прежде всего, в текстах художественной литературы [31. С. 21]; [20]; [12. С. 210–212] и др. и в речи диалектоносителей [36]; [12. С. 207–210]; [37]; [16. С. 135–161]. Проблема функционирования производного слова в коммуникативных актах имеет, по крайней мере, два аспекта. С одной стороны, формально-семантические характеристики производных, их мотивационные связи используются в определённых коммуникативно-стилистических целях, поэтому встала задача изучения особенностей функционирования мотивированных слов в этом плане. С другой стороны, устная и письменная речь является той средой, в которой не только используются результаты действия тех или иных словообразовательных моделей, но также происходит как бы «доводка» и модификация последних вследствие взаимодействия и втягивания новых лексических единиц в среду влияния различных словообразовательных типов. В связи с этим возникает необходимость выявления как самих этих процессов, так и условий их протекания [36. С. 92].

Первая сторона проблемы, а именно – анализ межлексемных мотивационных связей в тексте с точки зрения их целевого назначения рассматривается в книге О.И. Блиновой «Явление мотивации слов (лексикологический аспект)» [16]. Отмечая полифункциональность мотивации в тексте, автор выделяет её коммуникативные, экспрессивные и эстетические функции [16. С. 135–163]. Вероятно, можно было бы говорить и о своеобразных номинативных свойствах мотивации, о способе представления предмета, явления через отношение, а также о «словопроизводственной» функции мотивационных связей. Но сознание дериватологов должно было «сблизить» между собой такие процессы, как функционирование слова и его образование.

Анализ процессов воспроизводства и/или порождения слов в тексте с точки зрения пропозиционального подхода к словообразованию является наиболее продуктивным.

Начальные попытки связать процесс создания слова с коммуникативным актом имеются в нашей монографии «Семантические вопросы словообразования» (см. [12. С. 201–237], где процессы речевой коммуникации рассматриваются как основа развития словообразовательных структур языка. Через мотивационные отношения, актуализируемые в речи, лексическая система оказывает влияние на систему словообразовательных единиц. Лексические

мотивационные отношения, идущие вразрез со словообразовательными связями слов, закрепляясь в языковом сознании, приобретает потенциальную способность служить схемой построения новых лексических единиц. В результате этого в языке создаются условия для развития словообразовательных типов, характеризующихся ранее неизвестными видами производящих основ и суффиксов [12. С. 230].

Наиболее ярко функционально-коммуникативный подход к изучению лексической деривации представлен в двух работах: «Словообразование и синтаксис» Е.Л. Гинзбурга [2] и «Динамический аспект лексической мотивации» Н.Д. Голева [17]. Разделенные десятилетием, эти работы по существу соположены с точки зрения исследуемой проблемы и способов её решения. Тем не менее это совершенно разные книги, каждая из которых имеет свой предмет анализа, свои решения по тем или иным общим и частным вопросам. Е.Д. Гинзбург в производном видит концентрированное отражение всех лексических и синтаксических связей производящего слова, обусловленных как его системными особенностями, так и синтагматическими связями. По мнению автора, производное – это «форма производящего, призванная кодифицировать внутрисловными средствами наличие и общезначимость тех его семантико-синтаксических свойств, которые определяют функционирование производящего в тексте» [2. С. 3]. Производные, в которых подобные характеристики производящего объективируются, рассматриваются им как «синтактико-морфологические формы» производящего. При этом задачу исследования семантики производного автор видит в том, чтобы выявить его «роль в описании ситуации» [2. С. 6].

В работе Н.Д. Голева мотивация рассматривается как разновидность синтагматической деятельности, как один из частных коммуникативных актов, порождающих высказывание [17. С. 5]. При этом «мотивировка лексических новообразований» представлена как «частный случай мотивации производимых в речи единиц» [17. С. 36]. Иными словами, в данной работе мотивационные процессы рассматриваются «в аспекте взаимодействия планов создания и функционирования слова, которые... выступают частями единого непрерывного деривационно-мотивационного процесса» [17. С. 32]. В ней утверждается тезис об органической включённости целей и механизма лексической деривации в цели и механизм порождения всего данного текста, широкое использование данных конкретной речевой ситуации и контекста в качестве естественных суппозиций и мотивов новообразования» [17. С. 58].

Признание, наряду с субъективным началом, порождающей способности текста не только в области синтаксиса, но и в области словообразования вводит в сферу внимания исследователей вопрос о системно-языковой базе такого порождения, под которой понимаем функциональную направленность формы и значения языковых средств и, прежде всего, лексических единиц. А это означает, что смысловую основу словообразовательного акта мы видим в пропозициональной (предикативной) структуре, компонентами которой являются и производящая, и производная единицы.

III. На наш взгляд, пропозициональный подход обладает широкими возможностями. Он обуславливает многослойное, объёмное представление о словообразовательных процессах, так как позволяет видеть в них реализацию

общеязыковой универсалии на определенном языковом уровне (подуровне). Он способен связать системные характеристики слова с его функционированием, реализующим деривационные потенции разных лексико-семантических групп. Но такое «соединение» двух аспектов возможно лишь в том случае, если слово анализируется с позиций нескольких языковых уровней – лексического, морфологического и синтаксического, если предложение рассматривается «как система вложенных друг в друга пропозиций разной степени выделенности/редуцированности» [1. С. 45].

Пропозициональный подход, как и всякий другой аспект исследования, имеет и определенные ограничения. Главное из них касается выбора вида пропозиции, рассматриваемой в качестве смысловой базы производного слова.

Системно-функциональный аспект предполагает опору на типовые пропозиции, которые представляют собой результаты обобщения ряда утвердительных пропозиций, отличающихся истинностью и отражающих реальное существование ситуации во времени. Следовательно, дериватолог использует для анализа пропозиции с так называемой «незавершенной предикацией», лишённые модальных показателей [3. С. 93].

Главную смысловую базу словообразования составляют пропозиции характеристики [44]. Дальнейшая их классификация связана с особенностями взаимодействия в составе предиката единиц признаковой и субстанциональной семантики: одноместные предикаты обычно формируются за счёт признаковой семантики, многоместные (относительные) осложняются субстанциональными значениями (актантами).

С данными видами предикатов соотносятся два принципа коммуникации: определительный и функциональный. Внутри- и даже межпропозициональные связи с сфере номинации получают вид, своеобразных формул – типов номинации, отражающих один из указанных выше (функциональный или определительный) номинативных принципов, т.е. общий аспект номинативного акта.

Количество таких формул относительно одной производящей единицы (субъект по функции, субъект по объекту функции, субъект по орудию, месту и т.п.) определяется количеством «мест» в составе пропозиции, включая приглагольные актаны всех видов.

Кроме того, на данном этапе исследования мы отстраняемся от фактов незримого присутствия говорящего субъекта при самом процессе номинации, хотя в принципе оно (присутствие говорящего) имеет место и может проявляться: а) в выборе типа пропозиции и конкретного вида внутрипропозициональных отношений (ср. о собаках: *ищейка* и *утятница*); б) в характере временного «оформления» предиката (*убийца* – действие совершается в прошлом, *копалка* – в настоящем); в) в указании на сопричастность говорящего к называемому явлению, в наличии так называемой «внутренней рамки» (*белеть* – воспринимается говорящим – о чем-то белом).

Следующее ограничение касается исследуемого нами материала. В центре нашего внимания находится мутационное словообразование, дающее наименование явлениям по их признакам и месту в системе когнитивного (по-

знавательного) и практического опыта, накопленного человеком. Возникшее понятие вписывается в «старый» опыт и знания путём установления с уже известными понятиями предикативных отношений.

Важно заметить, что мутационное словообразование может давать производные не только строго рационального, логического содержания, но и экспрессивно окрашенные. Однако в обоих случаях мы имеем, по словам В.Н.Телии, «дескриптивное отображение обозначаемого», на которое во втором случае наслаивается информация об эмоционально-оценочном отношении говорящего к обозначаемым явлениям. Это даёт нам возможность рассматривать экспрессивы такого типа в одном ряду с нейтральными производными, как бы абстрагируясь от их «модальной рамки», несущей информации об этом чувстве-отношении [45. С. 5].

В значении производного слова могут отражаться две и более пропозиций, связанные определёнными логическими отношениями. Примеры: *дипломник* (Студент готовит работу; Работа выполняется для получения диплома); *травник* (Заяц родился летом; Летом растут травы, отсюда: Заяц родился тогда, когда растут травы).

В основе метафорических образований обычно лежат три пропорции: диал. *медведник* (Медведь сильный, неуклюжий; Человек сильный, неуклюжий; Человек подобен медведю). Кстати, заключительная пропозиция носит собственно ментальный характер.

Наконец, глубинная структура производного может носить вариативный характер: *кукольник* «любитель флиртовать с женщинами» (Юноша ухаживает за девушками; В любой из них он видит *куклу* «легкого, несерьёзного человека»); Ухаживания его несерьёзны). Очевидно, возможны другие варианты как самих пропозиций, так и их связей.

В примерах со сложным глубинным смыслом формальную маркированность в структуре производного получают лишь некоторые пропозиции.

Но семантическое «поведение» производящего слова во всех случаях подчиняется одним и тем же языковым требованиям: его значение предстаёт в функциональной модели, обуславливаемой его ролью в пропозиции.

Производные, образованные по образцу [46], также имеют пропозиционально обусловленное содержание, однако связь пропозиций в таких случаях является опосредованной – через слово-образец: производное заимствует у последнего как его морфемно-словообразовательную структуру, так и семантический способ представления пропозиции соответствующего типа.

IV. Пропозициональный подход к изучению лексической деривации выдвигает для рассмотрения серию более частных вопросов, к которым относятся следующие: 1) пропозиционально обусловленные семантические категории и их отражение в лексике и словообразовании; 2) функциональная модель лексического значения и словообразовательные отношения; 3) полевой принцип организации лексико-семантического пространства и классификация лексических единиц; способы участия слов разных классов в словообразовательных актах; 4) пропозициональная структура глубинной семантики производного и идиоматичность его лексического значения; 5) полисемия как отражение внутри- или межпропозициональных связей и ряд других.

В рамках статьи мы можем коснуться лишь некоторых вопросов представив в самом общем виде их содержательную сторону и степень разработки в статьях и монографиях сибирских дериватологов.

Внутри- и межпропозициональные отношения лежат в основе таких семантических категорий, которые маркируются не только грамматическими, но и лексическими средствами языка. Это категории относительности/безотносительности, положения на оси времени / положения на вневременной оси; активности/пассивности субъекта [47. С. 56–91].

В оппозиции категорий относительности/безотносительности отражена способность языка представлять признак предмета или в виде его отношения к другому предмету (*резать, арестант, настенный*), или в виде его природного свойства, проявляющегося в нём непосредственно, безотносительно (*спать, красный, слепец*).

Наиболее ярко эта категория представлена в глаголах (*резать, гладить, радовать, лгать*). В относительных ситуациях, отражающих различные связи между предметами, возникают условия для установления направления этих связей вплоть до ролевой представленности участников ситуации в виде субъекта, объекта, орудия и т.д.

В зависимости от набора компонентов и устанавливаемых между ними отношений глаголы могут выражать несколько видов соотносительной семантики. К ним относятся:

– отношение однонаправленного воздействия, что наглядно проявляется при выполнении роли субъекта лицом (ср. *Рабочие строят дом; Человек рубит дрова; Хозяйка готовит обед*);

– отношение взаимодействия, представляемое в высказывании как однонаправленное, что зависит от ролевой интерпретации компонентов взаимодействия (*Стены держат крышу; Крыша лежит на стенах*);

– отношение связи, которое носит преимущественно статичный характер. При этом субъектно-объектные характеристики отношения являются в значительной мере интерпретационными (*Гриб растёт под берёзой*);

– отношение смежности, при котором компоненты ситуации соположены и явного воздействия друг на друга не оказывают. Выбор направления связи произволен и фактически сводится к выбору компонента отношения в качестве темы высказывания (*Гора стоит у озера. – Озеро расположено около горы*);

– ассоциативное отношение, обусловленное не реальными связями денотатов, а сближением представления об этих денотатах в сознании человека.

Распределение ролей между компонентами отнесения в значительной мере произвольно и ограничивается лишь антропоцентрической установкой, характерной для познавательной деятельности говорящего субъекта, и некоторыми другими факторами.

Первый тип отношений отражает реальные динамические связи предметов, и потому данные глаголы имеют широкие префиксальные связи (*резать – отрезать, разрезать, подрезать, урезать* и т.д.). Глаголы с мгновением взаимодействия также отражают реальную динамику процесса, но в отличие от глаголов первого типа преимущественно сочетаются с

временными приставками (*держать, поддержать, продержать, выдержать* и т.п.).

Группа глаголов, выражающих отношение связи, несмотря на статичный характер выражаемого процесса, включает в себе элементы скрытой динамики. В случае, когда субъектом ситуации является лицо, становится реальным появление динамики и, как следствие, результативности (*Человек сидел на диване – Человек отсидел ногу – Высидел разрешение на отпуск*).

Глаголы, отражающие отношения смежности и ассоциативности, ограничены в своих префиксальных связях.

Что касается именной лексики, то в ней семантика соотносительности наиболее определённо представлена в конкретных существительных и относительных прилагательных. Отношение между предметами представлено в них как статичная непроцессуальная ситуация и актуализировано в производных именах с помощью их внутренней формы (*настенный* «расположенный на стене», *школьник* «тот, кто учится в школе»).

Непроизводные имена определённых лексико-семантических групп могут иметь безотносительную поверхностную структуру и скрыто-относительную глубинную семантику. Так, слово *гриб* означает «низшее растение, обладающее такими свойствами, как форма, цвет, запах, плотность и т.д.», но также в своей семантике содержит указание на функциональные возможности предмета: грибы растут в определённых местах и в определённое время, их собирают, из них готовят разные блюда и т.д., отсюда – *грибное* (место), *грибная* (пора), *грибник*, *грибница* «блюдо из грибов» и т.д.

Семантика предназначённости может составлять ядро лексического значения слова, ср. *дом* – это «здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий». Указание на остальные функциональные зависимости предмета (дом создают, его продают, покупают, в нём работают, за ним следят и пр.) скрыто в глубинных слоях семантики. Данные семантические компоненты обусловили появление производных: *домовой*, *домостроитель*, *домостроение*, *домовладелец*, *домовладение*, *домоуправ*, *домоуправление* и др.).

Относительные прилагательные в отличие от конкретных существительных в определённых случаях могут из всего комплекса отношений актуализировать лишь один (*дровяной* «для дров», *стеклянный* «из стекла», *надомный*).

В процессе создания нового отадекватного слова типы отношений, представляемые прилагательными, сохраняются в производном слове (*дровяник* «сарай для дров», *надомница* «кто выполняет надомные работы», *стеклянница* «бабочка, словно сделанная из стекла»).

Среди признаков лексико-семантического соотносительным глубинным признаком чаще обладают слова, обозначающие состояние человека, его поведение, нравственные и этические понятия (*тоска, злой, добрый* и др.). В своей глубинной семантике они скрывают реальные связи человека с другими лицами и явлениями, например, значение прилагательного *злой* на поверхностном уровне безотносительно, глубинная семантика прилагательного соотносится с ситуацией поведения, влекущего за собой отрицательное воздействие на кого-либо, т.к. проявление свойства «злой» выходит за границы сферы самого

субъекта и распространяется на других участников (в отличие от безотносительных прилагательных типа мрачный).

Называемое свойство *злой* может быть результатом предшествующей ситуации, где носитель признака соотносится с объектом действия другого субъекта (X наделяет У свойством А; X наделил У свойством А; У имеет свойство А).

Именно в этой особенности рассматриваемого прилагательного заложена его способность порождать переходный глагол, как бы восстанавливая тот тип отношения, ту ситуацию, которая обусловила появление называемого им свойства, ср. злить «делать злым кого-либо», но нет, например, *мрачить).

Категория протекания во времени/вневременность непосредственно воплощается в глагольной лексике. Глаголы, которые называют признаки в относительной независимости от времени, отражают явления как сущностные, эссенциальные, например, свойство быть красным – краснеть (вдали), отношение стоить (пять рублей), способность летать (о птицах). Данная особенность семантики ограничивает их деривационный потенциал: они не способны к префиксальной сочетаемости, не дают производных существительных (ср. лишь краснеть (вдали)).

Словообразующие возможности глаголов, которые обозначают процесс во времени, более широки. Их ограничения связаны с тем типом отношений, который выражен в их семантике (примеры см. выше).

Противопоставление между сущностным и эпизодическим может находить отражение в отглагольных именах, хотя и не так отчётливо, как в глаголах. Большая часть производных имён указывает на сущностные, постоянные признаки предмета. Однако в отдельных их группах можно видеть отражение эпизодической ситуации, локализованной во времени. Например, ряд отглагольных существительных на *-лк(а)*, *-к(а)* и др. (*копалка*, *ковырялка*, окказ. *запивашка* и т.п.) обладают значением актуального средства действия, т.е. такого предмета, который временно используется в несвойственной для него функции.

Компонент эвентуальности может иметь место в некоторых отглагольных именах со значением лица, типа *беглец*, *убийца*, *спаситель* и др.

Категория активности/неактивности субъекта связана прежде всего с противопоставлением имён лица и неодушевлённого предмета. Имена лиц способны включать в содержание нескольких семантических слоев, отражающих последовательные этапы эволюционного развития природы (физический, физиологический, психический, ментально-речевой и социальный). Разнообразные состояния субъекта (разные виды активности / неактивности) зависят от того, какие из указанных аспектов именной семантики задействованы при выполнении ими функции субъекта. Например, в предложении *Рабочие строят дом* имя лица выполняет функции активного субъекта, каузатора целенаправленного действия. Имена животных и неодушевлённых предметов могут выступать в такой же функции только в том случае, когда называемый ими предмет уподобляется человеку и выполняет его функцию (*Собака ищет хозяина*; *Буря снесла крышу*; *Робот управляет производственным процессом*). Более характерна для них функция неактивного субъекта, орудия, объекта и др. Связь словообразовательного акта с семанти-

ческой категорией активности/неактивности предмета проявляется в том, что от типа субъекта зависит характер (тип) пропозиции (одноместная/многоместная) и качество актантов при предикате. Этот факт не может не иметь отношения к словообразованию, так как любой словообразовательный акт строится на основе той или иной пропозиции, материализуя тот или иной её компонент.

Особое место занимают субъекты со скрытой орудийностью или объектностью. Функция субъекта в них приписывается неодушевлённым именам существительным, когда в действительности источником действия или признака является другой предмет, чаще всего лицо (*ветка стучит в окно*: ветка – предмет со скрытой орудийностью, в действительности источник действия – ветер, а ветка является средством действия; ср. также *часы идут*, но в это состояние часы (объект) приведены лицом. Пропозиции, организуемые субъектом со скрытой орудийностью или объектностью, не используются в качестве смысловой базы того или иного производного слова, так как интерпретационный момент в них сильнее денотативно-отражательного.

В результате исследования семантики слова в самых различных аспектах в современном языкознании сформировалось понятие лексического значения как явления нестатичного, подверженного функционально обусловленным модификациям [47]; [26]; [48]. Основополагающей является оппозиция «лексикографической» и «синтагматической» (проявляемой в типовых словосочетаниях и языковых ситуациях) лексической семантики. Противопоставление «лексикографической» и «синтагматической» лексической семантики по существу является противопоставлением онтологического и функционального типов организации (моделей) лексического значения, отражающих собственно лексический и грамматически (морфолого-синтаксический) уровни существования слова.

В рамках онтологической модели структура лексического значения отражает место слова в лексической системе (онтологии) языка, в резкого вида лексическо-тематических парадигмах, передающих наши представления об онтологии окружающего нас мира.

Основная функция онтологической модели лексического значения – номинативная позволяющая идентифицировать явления объективной действительности. Онтологическая модель лексического значения существует в виде вариантов, представляющих семантику слова в одном из типов собственно лексических отношений: синонимических, антонимических и др., и прежде всего – тематических (гиперо-гипонимических). С точки зрения системных лексических связей все варианты представляются равноправными и могут рассматриваться как «переходящие» друг в друга.

Синтагматическая модель лексического значения опирается на грамматический (морфолого-синтаксический) уровень лексической семантики. Данная модель по своей сути является функциональной. Главное её назначение подготавливать слово, его семантику к функционированию в коммуникативном акте. Лексическое значение приобретает ту структуру, тот аспект, который диктуется соответствующей грамматической формой слова.

В функциональной модели лексического значения «ранее» потенциальное может стать реальным, а иерархическая значимость семантических компонентов способна существенно измениться.

Более того, одно и то же вещественное значение, «включаясь» в грамматическую семантику разных форм, каждый раз претерпевает изменение, позволяющее ему становиться элементом более сложной семантики, предопределяемой соответствующей грамматической формой, ср. *стол* (стоит), (отделить) *от стола*, (лежать) *на столе*, (делать) *стол* и т.д. Происходит актуализация лексического значения слова, необходимая для выражения данного типа связи. При этом слово получает способность указывать на другого члена отношения со степенью обобщения, предписываемой грамматической формой. Через типы межлексемных семантических связей, предопределяемых морфологическими формами, лексическое значение выводится на уровень языковой ситуации, и слово получает информацию о ролевом назначении всех членов языковой ситуации.

Словообразовательно ориентированная структура лексической семантики – один из вариантов функциональной модели лексического значения.

Особенностью словообразующей модели лексического значения является то, что её языковая репрезентация происходит на уровне производного слова, уровне, более конкретном, нежели словосочетание и предложение. Так, производное *лосятник* «охотник на лосей»; *волчатница* «собака, с которой охотятся на волка»; *бекасинник* «вид дробы» выявляют функциональную актуализацию аспекта мотивирующей семантики «объект охоты», притягивая в силовое поле мотивирующего значения информацию о других участниках ситуации, не включаемую в онтологическую модель значения. Словообразовательная структура лексической семантики конкретизирует функциональный (грамматический) тип организации словесного значения, и в пределах данного типа противопоставлена его онтологическим структурам, которые, вероятно, следует признать «исходными», устанавливающими «прямое» соответствие между внеязыковым явлением и словом.

Словообразующие возможности единиц разных частей речи зависят от их места в полевой организации соответствующего лексико-грамматического класса слов.

Так, анализ словообразовательного потенциала имён существительных выявляет основное противопоставление имён предметно-идентифицирующей семантики (конкретные имена существительные, ядро соответствующей части речи – *медведь*, *гвоздь*, *стол*) и имён предикативно организованной семантики (обширная семантическая периферия существительного – *лазурь*, *массаж*, *аллюр*) [49], [51], [52]. Имена первого типа формируют семантику, функционально специализируясь на замещении позиции субъекта, темы предложения, вторые – в предикатной, характеризующей функции. Эта функциональная специализация определяет формирование первой семантики как гетерогенной, многоаспектно организованной, второй – как тяготеющей к моносемизации, одноаспектности [50. С. 156–250].

Аспекты гетерогенно организованной семантики отражают относительные и безотносительные признаки имени, в свернутом виде представляя пропозициональные структуры разного типа, термовым компонентом которых

является данное имя (напр., ср. *медведь* 1) «промысловое животное» – «животное, на которое охотится человек» – X – объект охоты Y; 2) «дрессируемое животное» – X – объект дрессировки Y; 3) «животное с бурой окраской» – X имеет признак A; «всеядное животное» – X употребляет в пищу Y и т.д.). Каждый из таких аспектов формируется предикатом (одноместным или многоместным), через который возможно установление с другими термовыми компонентами – орудийным, субъектным, локативным.

Вследствие этого имя предметно-идентифицирующей семантики имеет возможность устанавливать неоднократные мотивационные связи, как опосредствуемые разными предикатами, отражая разные пропозициональные структуры: *медвежатник-1* «тот, кто охотится на медведя»; *медвежатник-2* «вожак дрессированного медведя», так и мотивировать имена заместителей разных ролей в пределах одной пропозициональной структуры: *медвежатник-1* «охотник на медведя» – субъектный компонент, *медвежатник-2* «собака, с помощью которой охотятся на медведя» – орудийный компонент. Противопоставление имен натурфактов, артефактов и лица а пределах конкретной именной лексики выявляет разную степень вычленения одного аспекта в значении: 1) практически нулевая в именах натурфакта; 2) вычленение одного аспекта («функции») в именах артефакта, не приводящее, однако, к нейтрализации других (формы, структуры и др.); 3) имена лица, включаясь в лексико-грамматический разряд конкретных имен, имеют предикативную, одноаспектно организованную семантику.

Имена предикатной, одноаспектной семантики (имена лица, абстрактные существительные) ограничивают мотивационные связи пределами одной пропозициональной структуры. Возможность неоднократных мотивационных отношений сохраняется в том случае, если свернутая в значении имени пропозициональная структура организуется многоместным предикатом (ср.: *массаж* – *массажист* «субъект»; *массажер* «орудие»).

Абсолютное большинство мотивационных отношений имен существительных устанавливается в рамках пропозициональных структур масштаба лексикализованных ситуаций, созданных мотивирующим именем. Однако объем деривационных связей может расширяться за счет возможности выхода в пределы смежных пропозиций [3. С. 193]. В значении производного слова в таком случае отражается свертывание двух и более смежных пропозиций, поверхностная структура имени несет информацию лишь об одном (двух) компонентах одной пропозиции (ср.: *летняк* «животное, родившееся летом», *вербник* «лещ, который нерестится в то время, когда цветёт верба»), что существенно увеличивает степень идиоматичности производных второго типа.

Противопоставление существительных предметно-идентифицирующей и предикатной семантики выявляется и при мотивации имени прилагательного [54. С. 80–83]. Имена существительные первого типа регулярно мотивируют относительные имена прилагательные, закрепляя в них один или несколько аспектов субстанциональной семантики а виде признака. Например, названия орудий, средств действия могут образовывать прилагательные не только с орудийным и объектным значением, но и со значением субъекта-источника признака. Ср.: *оружейное* (масло), *тележная* (дорога), *остроговая* (рыба) и

скрипичный (звук), *оружейный* (выстрел). Выполняя роль связующего звена между субъектом и объектом действия, орудие способно брать на себя функции субъекта, что и находит отражение в производных прилагательных указанного вида. Это объединяет наименования орудий с именами лиц, для которых субъектная мотивировка относительных признаков является более естественной. Можно отметить и изоморфизм рассматриваемых мотивационных процессов с процессами внутриименного словообразования [55. С. 51]. Ср.: *камень – каменный* «изготовленный из камня»; *каменка* «печь из камня»; *печь – печной* (мастер), *печник*.

Ярко выраженная относительность предметно-идентифицирующей семантики препятствует установлению мотивационных отношений с качественными прилагательными, называющими безотносительный признак. Непосредственные мотивационные связи с качественными прилагательными возможны лишь при условии освобождения значения имени от «груза» многоаспектности. Одноаспектно организованная семантика абстрактных существительных и оценочных имен лица легко трансформируется в признанную, собственно предикатную (ср.: *ханжа – ханжеский, ум – умный, печаль – печальный*).

Для мотивации глаголов значимыми являются функциональные характеристики мотивирующего имени, та роль, которую они играют в пропозиции, называемой производным глаголом [5]; [67]. Выполняемая именем функция выявляет тот семантический аспект, который оказывается задействованным в процессе глагольного словообразования. Это касается, прежде всего, существительных с гетерогенной семантикой (имен натурфактов и артефактов). Имена животных, растений, плодов, минералов и т.п. нередко используются в словообразовании в аспекте объекта промысла (белковать, лисятничать «охотиться на белок, лис»; орешничать «добывать орехи»), в аспекте своеобразного средства действия (травянуть, плесневеть «покрываться травой, плесенью») и даже субъекта действия, когда глагол мотивируется названием активного природного явления (буранить, метелить, куржить). Имена артефактов (в силу целевого назначения последних) в процессе создания глаголов выявляют, главным образом, социально обусловленные аспекты средства, объекта и результата действия (утюжить, боронить, седлать, стоговать, чаевничать). Существительные со значением лица, стремящиеся к одноаспектности, в словообразовательном процессе обычно реализуют функцию субъекта называемого действия, независимо от его социальной или естественной, характеризующей сущности (бригадирить, кочегарить; балагурить, лентяйничать). Имена отвлеченных действий при их преобразовании в глагол не только сохраняют свою семантику, но и приобретают морфологические (глагольные) показатели собственно процессуальных признаков. Хотя следует отметить, что отвлеченные существительные другой семантики (например, наименования чувств), как и конкретные существительные, могут быть представлены в аспекте объекта – результата (стыдить, гневить).

В тех случаях, когда производящее имя выполняет объектную функцию, производный глагол часто оказывается непереходным, обладает семантикой с включенным объектом (см. выше: *белковать, орешничать*). Но возможны и исключения: глаголы типа гневить, стыдить являются переходными.

Объектную функцию при них выполняют имена лиц, обладающие сложной семантикой, способной совмещать в себе указание на само чувство и на источник его появления (объект – чувство является порождением человеческой психики).

Ядерной группой, наиболее ярко воплощающей семантическое и грамматическое своеобразие лексико-грамматического класса имен прилагательных, являются качественные прилагательные. Непроизводные качественные прилагательные представляют преимущественно безотносительный признак, при порождении производных существительных реализуют мотивационную связь «признак – предмет, характеризующийся признаком». При этом узость диапазона типовых мотивационных связей совмещается с шириной их конкретного применения. Чем многообразнее мотивационные связи прилагательного, отражающие широкие возможности предметной приложимости признака, тем менее предсказуемо значение производного имени (ср.: *красный* – *краснуха*, *краснотал*, *красноперка*, *краснозем* и т.д. и имена прилагательные с фразеологически связанным значением – *каурый* «светло-каштановый / о масти лошади» – *каурка*). Между крайними тонами – полоса переходов. В сфере номинации процессов существует несколько вариантов использования прилагательных в функции мотивирующих единиц [12]. Значение изменяющегося признака порождает семантику инхоативных глаголов, а скрытая сема носителя признака в этом случае превращается в сему неактивного субъекта (*теплеть*, *синеть*, *блѣкнуть*, *киснуть* и др.). Ограничение адъективного значения семантикой постоянного внешнего признака, воспринимаемого большей частью зрительно, приводит к образованию глаголов экспозитивного значения (*желтеть*, *белеть*, *синеть* и др., но ср.: *горчить*, *кислить* и др.). В процессуальной ситуации носитель статичного признака сохраняет свою функцию, с той лишь разницей, что признак в ней представлен как существующий во времени.

Прилагательные, обладающие скрытой относительной семантикой, дают глаголы-эссивы. Носитель признака преобразуется в субъект, активно проявляющий своё свойство. Активный субъект может поддерживаться наличием в семантике глагола объектного компонента, например: *хитрить* 1) вести хитрый «обманный» разговор; совершать по отношению к кому-либо хитрые «обманные» поступки; 2) производить хитрые «изобретательные, искусные» действия, работу и др. В некоторых случаях тип отношения, выражаемого глаголом, уточняется с помощью объектного актанта: *зубрить*, *дерзить* (кому), *хитрить* (с кем) и т.п. Указание на способность развития признака в предмете под влиянием извне свидетельствует о ещё более сложной организации смысловой структуры качественного прилагательного. Эта способность создает условия для того, чтобы носитель признака мог быть представлен в виде объекта, который испытывает на себе воздействие активного субъекта. Появляется возможность расчленения того, кто (что) стимулирует развитие признака и у кого (чего) этот признак возникает. Так создается каузативное значение отадъективных глаголов «делать каким кого, что». См. выше: *злая собака* «некто злит собаку, делает собаку злой». Ср. также: *бодрить*, *веселить*, *желтить*.

Относительные прилагательные в русском языке, как правило, производны (опускаем факты заимствования) и строят свою семантику на основе глагольной и именной. Относительные прилагательные актуализируют скрытую относительность производящего имени существительного и вычленяют один (или более) из типов сложного межпредметного отношения производящего глагола, возможный диапазон отношений задается производящей именной и глагольной семантикой и с разной степенью определенности передается производными прилагательными. Конкретизация отношений, заданных производящей семантикой, завершается в сочетании с определяемым существительным, что в конечном итоге и предопределяет значение производного имени. Ср.: *кожа* – *кожаная* «сделанная из кожи» – *кожанка* «куртка из кожи». При этом аспектуализация производящей семантики в относительном прилагательном может быть более или менее определенной.

Рассматривая словообразующие возможности глагола, следует иметь в виду, что в пропозиции процессуальная ситуация может быть дана или во временном аспекте, как действие, лежащее на оси времени, или как вневременное или «надвременное» свойство субъекта. Если ситуация лежит на оси времени, то может быть представлена в одном из двух аспектов – в аспекте протекания (характеризующий временной аспект) или в аспекте направленности на предел (результативный аспект). Преобладание одного из этих аспектов определяет репертуар потенциальных словообразовательных компонентов и как следствие – набор аффиксальных производных. Все префиксальные производные распадаются на две основные группы – временные и предельные. Первые мотивируются глаголами, интерпретирующими ситуацию в аспекте протекания, вторые – глаголами в аспекте предельности или в двух аспектах (переходная зона).

Для префиксальной сочетаемости в конечном счете оказывается значимым наличие в глагольной семантике субстанциональной семы, подвергаемой воздействию, изменению. Именно она актуализирует результативный аспект, подавляя аспект протекания. Одним из наиболее решающих фактов в усилении результативного (предельного) аспекта является присутствие (отсутствие) объекта, способ его презентации [61] и некоторые его характеристики, в особенности такие, как одушевленность [63]. Одушевленность не только объекта, но и субъекта способствует увеличению семантической базы результативного аспекта, «сдвигает» глагол, имеющий субстанциональные сателлиты с указанной характеристикой, в сторону предельного аспекта [64]. В зависимости от характера предела и источника его формирования выделяется пять типов предельности/непредельности глагола. В наибольшей оппозиции находятся глаголы, представляющие ситуацию в аспекте протекания, и глаголы, представляющие ситуацию в аспекте направленности на предел. Между ними располагается большая переходная зона [47. С. 94–136].

К первому типу относятся глаголы, которые не сочетаются ни с одной приставкой, поскольку представляют ситуацию как вневременное или «надвременное» свойство, соотношение (*весить*, *походить*). Второй тип образуют производящие глаголы со значением мышления (*знать*, *полагать*), эмоционального отношения (*любить*, *ненавидеть*, *презирать*), обладания и

др. Все они содержат компонент отношения и потому не заполняют временной оси полностью, «сплошь» [65. С. 134]. Но субъект названных ситуаций одушевленный, обладает некоторой активностью, благодаря чему указанные глаголы могут сочетаться с временными приставками начала действия (*узнать, полюбить, возненавидеть*). Глаголы следующего типа располагаются в самом начале временной оси и соединяются с приставками детерминативными и временными (со значением начала действия), но не дают образований с приставками результативными, это глаголы со значением «виднеться, выделяться цветом (*белеть вдаль*)». К данному типу относятся и другие глаголы, обозначающие статичные процессы, равные себе в каждую из последующих фаз времени: *стоять, лежать* (с неодушевленным субъектом), *мерцать, искриться*. Далее располагаются глаголы, мотивирующие префиксальные производные с временной семантикой, со значением одноразовости, совершения действия в один приём, достижения интенсивности процесса и незапланированной субъектной предельности. В этом случае сам процесс или его участники имеют признаки, могущие быть интерпретированы как граница, предел существования нормированной ситуации, хотя она и представлена глаголом в аспекте протекания. Рассматриваемый тип распределяется на несколько подтипов в зависимости от конкретного репертуара глагольных компонентов и, следовательно, набора префиксальных производных: это глаголы звучания с неодушевленным и одушевленным субъектом, ментально-физические глаголы типа *читать, петь*, другие лексические группы, ср. *прозвучать, почитать, прочитать, напеться, начитаться* и т.п. «Правее», ближе к результативному полюсу располагается большая группа глаголов физического действия, дающая богатую парадигму результативных производных, при этом, если объект неодушевленный, множественный, пространственно-протяженный, если процесс имеет количественный, а не качественный характер воздействия на объект, то глаголы, обладая разветвленной схемой результативных образований, допускают также сочетание с временными префиксами. Если же объект одушевленный, единичный, претерпевает значительные качественные изменения, то сочетание глагола с временными приставками исключается, ситуация оказывается представленной только в аспекте результативности. Последнюю группу образуют глаголы постепенного становления признака (*грузнуть, сесть*) передачи информации (*телеграфировать*), со значением «делать каким-либо» (*чернить, синить*) и др., семантика которых сориентирована на конечную, результативную фазу. Префиксальная парадигма их очень бедна, они сочетаются только с общерезультативными (чистовидовыми приставками, ср.: *посесть, протелеграфировать, посинить, застеклить* и т.п.). Заметим, что наиболее богатой и разнообразной сочетаемостью с приставками обладают глаголы переходной зоны.

Для образования отглагольных существительных [66]; [47. С. 135–162] определяющей является относительная (релятивная) семантика глагола, которая обуславливает образование производных имён соответствующих актантных значений. При неодушевленном субъекте образование субъектных имен возможно в том случае, если функцию субъекта действия выполняют

натурфакты, наделяемые сознанием человека самостоятельной силой, ср.: *пролом, вымоина, обвал* и т.п.; *облепиха, вьюн, вязель* и др. Одушевлённость субъекта резко увеличивает его активность, а следовательно, и значимость в сфере мотивационных связей глаголов и отглагольных существительных, ср.: *жужелица, трещалка, скакун, точильщик* (насекомые), *брызгун, прилипала, улейка* (рыбы), *кряква, воркун, шипун, дергач* (птицы), *лайка, хрюшка, летяга* (животные), *бегун, пахарь, косец, лётчик, учитель, любитель, мечтатель, резчик, рубщик, ловчила, воображала* и т.д. (лица).

Функционирование лица как субъекта действия связано с использованием орудий действия, с воздействием с помощью последних на разного рода объекты, с достижением тех или иных результатов. Отсюда и возникновение отглагольных имен с указанными значениями: *свисток, звонок, скребло, колун, рыхлитель, косилка, молотильня; настойка, пролежень, копоть, накипь, ткань, сечка, плетень* и др.

Продуктивность реализации типовых мотивационных моделей зависит от «субстанциональной наполненности» производящих глаголов. К единицам, обладавшим богатым набором субстанциональных сем, относятся глаголы с имплицитно или эксплицитно включенными актантами: *бодать, душить, лечить* (лицо), *доить* (корову, козу), *кипятить* (воду, молоко), а также *бороздить, пенить, утюжить, пилить, мылить* и т.п. Конкретный характер процессуальной семантики ограничивает синтаксические связи глагольного слова, что приводит к ограничению и его словообразующих возможностей.

Глаголы с абстрактной семантикой (*толкать, рушить, брать, швырять, грязнить, чистить* и т.п.), напротив, могут иметь неограниченное количество актантов, особенно объектных. Но это до такой степени расширяет сочетаемость глагола, что типы актантов теряют определённость, актантные имена образуются тоже довольно редко.

Наиболее активно производные существительные создаются на базе промежуточных групп глаголов, у которых «количество субстанциональных сем характеризуется некоторой оптимальной величиной» [47. С. 159] (примеры см. выше).

Значимые для префиксального словообразования аспектуальные характеристики глагола (представленность действия в аспекте протекания или в аспекте предельности для межкатегориального словопроизводственного механизма являются лишь дополнительными, второстепенными. Наиболее отчётливо они проявляются в синтаксических дериватах – именах действия.

Так, панхронические и ахронические глаголы вообще не дают имен действия. От глаголов, представляющих действие в аспекте протекания, имена действия могут образовываться (*шепот, стук, ворчание, страдание, общение, гадание, решение, езда, плавание, хождение* и т.д.). Глаголы со значением результата динамического процесса (аспект предельности) могут мотивировать имена, совмещающие семантику действия и его результата, типа *покраснение, облысение*. Наиболее активно имена действия производятся от глаголов, в семантике которых присутствуют оба аспекта. При этом на именную семантику действия в ряде случаев наслаиваются дополнительные семы однократности (*гудок, звонок, щелчок, рывок, прыжок, кивок*), интенсивности

(болтовня, трескотня, беготня, толкотня), долговременности (стрельба, пальба, ходьба, косьба, молотьба) и др.

Как видно из текста статьи, мы остановились более или менее подробно лишь на некоторых вопросах, перечисленных в начале IV раздела данного обзора. Ряд проблем, занимающих сибирских дериватологов, в нём не был затронут, как и не были названы работы, в которых эти проблемы рассматривались. Ограниченные рамки статьи не позволили сделать это. В будущем мы надеемся продолжить обзор результатов словообразовательных исследований в Сибири.

Литература

1. Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е. Прагматический принцип приоритета и его отражение в грамматике языка // Изв. АН СССР. 1981. Т. 40, №4. Серия литературы и языка. С. 75–81.
2. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. М., 1979.
3. Земская К.Л. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
4. Словообразование // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. С. 133–453.
5. Гудкова С.Н. Глагольные словообразовательные типы в системе одного говора (опыт ономаσιологического описания): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1983.
6. Араева Л.А. Словообразовательные типы имен существительных в системе говора: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1981.
7. Ким Л.Г. Семантическая структура словообразовательного типа: автореф. дис. ... канд. филол. наук, Томск, 1988.
8. Русские говоры Среднего Приобья / под ред. В.В. Палагиной. Ч. 2. Томск, 1989.
9. Тихонов А.Н. Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря современного русского языка. Самарканд, 1971.
10. Фургель И.А. Типы семантических отношений в словообразовательном гнезде: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1988.
11. Современный русский язык. Словообразование: проблемы и методы исследования. М., 1968.
12. Яценецкая М.Н. Семантические вопросы словообразования. Томск, 1979.
13. Яценецкая М.Н. Словообразовательная и лексическая мотивированность слов // Вопросы русского языка и его говоров. Вып. 4. Томск, 1977. С. 116–128.
14. Яценецкая М.Н. К вопросу о словообразовательной и лексической мотивированности слова // Русское слово в языке и речи. Вып. 2. Кемерово, 1977. С. 46–54.
15. Блинова О.И. Явление мотивированности слов в собственно лексикологическом аспекте // Вопросы сибирской диалектологии. Омск, 1976. Вып. 2. С. 3–16.
16. Блинова О.И. Явление мотивации слов (лексикологический аспект). Томск, 1984.
17. Голев Н.Д. Динамический аспект лексической мотивации. Томск, 1984.
18. Тихонов А.П., Пардаев А.С. Роль гнезд однокоренных слов в системной организации русской лексики. Ташкент, 1989.
19. Яценецкая М.Н., Резанова З.И. К проблеме внутренней формы слова // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Проблемы семантики. Томск, 1991. С. 17–33.
20. Голев Н.Д. О природе лексико-мотивационных отношений в языке и речи // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Проблемы семантики. Томск, 1991. С. 33–46.
21. Введение // Мотивационный диалектный словарь (говорах Среднего Приобья) / под ред. О.И. Блиновой. Томск, 1982. С. 6–23.
22. Яценецкая М.Н. О функциональном аспекте диалектного словообразования // Язык и топонимия Алтая: Тезисы докладов к конференции. Барнаул, 1979. С. 92–96.
23. Яценецкая М.Н. Мотивационные отношения в лексике и лексическое гнездо // Семантическая структура слова. Кемерово, 1984. С. 3–17.
24. Яценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования: дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 1983.
25. Голев Н.Д. О семантических типах мотивационных отношений // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Форма и значение. Томск, 1985. С. 31–42.

26. *Шишкина Т.А.* Принципы номинации орудий труда в русских народных говорах // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Проблемы семантики. Томск, 1991. С. 89–97.
27. *Шишкина Т.А.* Единицы номинации и их особенности в говорах Сибири и европейской части страны // Русские старожильческие говоры Сибири. Томск, 1967. С. 112–125.
28. *Янценецкая М.Н.* Обобщенно-мотивационное значение в семантической структуре словообразовательного типа // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Форма и значение. Томск, 1985. С. 3–31.
29. *Голев Н.Д.* О некоторых общих особенностях принципов номинации в диалектной лексике флоры и фауны // Русские говоры Сибири. Томск, 1981. С. 12–21.
30. *Янценецкая М.Н.* Тематические объединения производных слов и словообразовательная система языка // Говоры русского населения Сибири. Томск, 1983. С. 128–145.
31. *Улханов И.С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М.: Наука, 1977. 253 с.
32. *Кубрякова Е.С.* Категории падежной грамматики и их роль в сравнительно-типологическом изучении словообразовательных систем славянских языков // Тезисы международного симпозиума, декабрь 1984. М., 1984.
33. *Филлмор Ч.* Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М.: Прогресс, 1981. С. 369–495.
34. *Филлмор Ч.* Дело о падеже открывается вновь // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М., 1981. С. 496–530.
35. *Вежбицкая А.* Дело о поверхностном падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. М., 1985. С. 303–342.
36. *Янценецкая М.Н.* О терминах «словообразовательное значение» и «значение словообразовательного типа» // Актуальные вопросы русского словообразования. Тюмень, 1984. С. 8–21.
37. *Янценецкая М.Н.* Словообразовательное значение и его виды: Основные понятия. Томск, 1987.
38. *Торопцев И.С.* Лексическая мотивированность (на материале современного русского литературного языка) // Учен. зап. Орлов. пед. ин-та. Т. 22. Орел, 1964.
39. *Торопцев И.С.* Словопроизводственная модель. Воронеж, 1980.
40. *Блинова О.И.* Мотивированность слова и функциональный аспект на диалектном материале. // Русское слово в языке и речи. Кемерово, 1976. С. 16–22.
41. *Наумов В.Г.* Мотивационные отношения слов диалекта и типы их актуализации (на материале нарымского говора) // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Томск, 1983. С. 64–74.
42. *Янценецкая М.Н.* Языковые условия актуализации словообразовательной структуры производных слов // Русские говоры Сибири. Томск, 1981. С. 92–100.
43. *Степанов Ю.С.* Предикация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 393–394.
44. *Арутюнова Н.Д.* Предложение и смысл. М., 1976.
45. *Телия В.Н.* Человеческий фактор в языке / Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
46. *Кубрякова Е.С.* Типы языковых значений / Семантика производного слова. М., 1981.
47. *Семантические* вопросы словообразования / Производящее слово. Томск, 1991.
48. *Резанова З.И.* Семантика мотивирующего слова // Вопросы словообразования в индоевропейских языках // Проблемы семантики. Томск, 1991. С. 46–67.
49. *Резанова З.И.* Словообразующие возможности существительного: автореф. ... канд. филол. наук. Томск, 1983.
50. *Арутюнова Н.Д.* К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 166–250.
51. *Резанова З.И.* Словообразующие возможности существительных со значением артефакта // Говоры русского населения Сибири. Томск, 1983. С. 145–166.
52. *Резанова З.И.* Семантическая структура неконкретного имени существительного и его деривационный потенциал // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Томск, 1985. С. 42–56.
53. *Резанова З.И.* О двух типах пропозициональных основ именного словообразования // Принципы деривации в истории языкознания и современной лингвистике: Тез. докл. Пермь, 1991. С. 193.

54. Резанова З.И., Яценецкая М.Н. Имя существительное как база адекативного словообразования. // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. Ч. 1. Гродно, 1986. С. 80–83.
55. Харитончик З.А. Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка. Минск, 1986.
56. Резанова З.И. Имя прилагательное как основа субстантивного словообразования // Молодые ученые и студенты – науке: Тез. докл. Кемерово, 1989. С. 120–122.
57. Кубрякова Е.С. Семантика производного слова // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 87–155.
58. Лебедева Н.Б. Некоторые особенности глагольной семантики как мотивирующей базы внутриглагольного словообразования // Вопросы словообразования в индоевропейских языках. Форма и значение. Томск, 1965. С. 96–105.
59. Лебедева Н.Б. Опыт стратификации глагольной семантики и префиксы как индикаторы аспектов // Вопросы слово- и формообразования в индоевропейских языках. Томск, 1991. С. 143–156.
60. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1961.
61. Лебедева Н.Б. К вопросу о семантике возвратных глаголов // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 1978. С. 65–73.
62. Лебедева Н.Б. Семантические основы результативности и объектности (на материале глаголов, транзитивированных префиксами) // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Семантический аспект. Томск, 1983. С. 52–64.
63. Лебедева Н.Б. О зависимости характера результативности глагола от одушевленности – неодушевленности объекта // Семантическая структура слова. Кемерово, 1984. С. 120–127.
64. Лебедева Н.Б. Лексико-грамматическое исследование глагольной семантики (взаимодействие результативности и объектности): автореф. дис. ... канд. филол. наук, Томск, 1979.
65. Семантические типы предикатов. М., 1982.
66. Грушко Н.К. Словообразующие возможности глагола: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1984.
67. Шиканова Т.А. Словообразовательная парадигма орудийных имён (проблема деривационного потенциала русской лексики): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1990.

Yantsenetskaya Maina N., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: klassika4@yandex.ru

THE PROPOSITIONAL ASPECT OF WORD FORMATION (THE OVERVIEW OF WORKS BY SIBERIAN SCHOLARS). DOI 10.17223/19986645/27/13

Keywords: word formation, cognitive aspect of word formation, propositional analysis, word formation potential.

The paper describes the directions of cognitive derivatology research in Siberian dialectology, established by the early 1990s. The derivative is interpreted in the system of linguistic means of expression of the logical – propositional – semantics.

The focus is on the deep, semantic analysis of the derivative, which reflects the predicate type of its structure and finds the component of the proposition that is directly used to form the derivative.

The main trends in the study of word formation, which led to the formation of cognitive analysis, are considered: lexicological, motivological and syntactical types of derivational processes analysis.

Motivological analysis shows that when used word formation and lexical (motivational) relations are not fundamentally opposed to each other. Motivation is a kind of syntagmatic activities as a type of communicative acts that generate statements. Thus, the conditions are created for the functional approach to the units of word formation / motivology.

The functional approach involves the study of word formation units in two interconnected aspects: system-functional and communicative-functional.

The formation of the propositional approach is also connected with researches, in which the meaning of the derivative is reduced to a particular syntactic unit. Recognition of the generating ability of the text not only in syntax, but also in the field of word formation introduces the issue of the system language basis of such generation – the propositional (predicate) structure, the components of which are both derivational bases and derivatives.

There are more specific issues of the propositional analysis of word formation: 1) semantic categories based on propositions and their reflection in the lexicon and word formation; 2) the functional model

of the lexical meaning and word formation relations; 3) the field structure of the lexical-semantic space and classification of lexical units, participation of different word classes in word formation; 4) the propositional structure of the deep semantics of the derivative and the idiomatic character of its lexical meaning; 5) polysemy as a reflection of intra- or inter-propositional links, and several others. The article describes restrictions of the propositional approach. The main one concerns the choice of the type of the proposition considered as the semantic base of the derivative.

References

1. *Bergel'son M.B., Kibrik A.E.* Pragmatischeskiy printsip prioriteta i ego otrazhenie v grammatike yazyka // *Izv. AN SSSR*. 1981. T. 40, №4. Seriya literatury i yazyka. S. 75–81.
2. *Ginzburg E.L.* Slovoobrazovanie i sintaksis. M., 1979.
3. *Zemskaya K.L.* Sovremennyy russkiy yazyk. Slovoobrazovanie. M., 1973.
4. *Slovoobrazovanie* // *Russkaya grammatika*. T. 1. M., 1980. S. 133–453.
5. *Gudkova S.N.* Glagol'nye slovoobrazovatel'nye tipy v sisteme odnogo govora (opyt onomasiologicheskogo opisaniya): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1983.
6. *Araeva L.A.* Slovoobrazovatel'nye tipy imen sushchestvitel'nykh v sisteme govora: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1981.
7. *Kim L.G.* Semanticheskaya struktura slovoobrazovatel'nogo tipa: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk, Tomsk, 1988.
8. *Russkie govory Srednego Priob'ya* / pod red. V.V. Palaginoy. Ch. 2. Tomsk, 1989.
9. *Tikhonov A.N.* Problemy sostavleniya gnezdovogo slovoobrazovatel'nogo slovyarya sovremenogo russkogo yazyka. Samarkand, 1971.
10. *Furgel' I.A.* Tipy semanticheskikh otnosheniy v slovoobrazovatel'nom gnezde: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1988.
11. *Sovremennyy russkiy yazyk. Slovoobrazovanie: problemy i metody issledovaniya*. M., 1968.
12. *Yantsenetskaya M.N.* Semanticheskie voprosy slovoobrazovaniya. Tomsk, 1979.
13. *Yantsenetskaya M.N.* Slovoobrazovatel'naya i leksicheskaya motivirovannost' slov // *Voprosy russkogo yazyka i ego govorov*. Vyp. 4. Tomsk, 1977. S. 116–128.
14. *Yantsenetskaya M.N.* K voprosu o slovoobrazovatel'noy i leksicheskoy motivirovannosti slova // *Russkoe slovo v yazyke i rechi*. Vyp. 2. Kemerovo, 1977. S. 46–54.
15. *Blinova O.I.* Yavlenie motivirovannosti slov v sobstvenno leksikologicheskom aspekte // *Voprosy sibirskoy dialektologii*. Omsk, 1976. Vyp. 2. S. 3–16.
16. *Blinova O.I.* Yavlenie motivatsii slov (leksikologicheskiy aspekt). Tomsk, 1984.
17. *Golev N.D.* Dinamicheskiy aspekt leksicheskoy motivatsii. Tomsk, 1984.
18. *Tikhonov A.P., Pardaev A.S.* Rol' gnezd odnokorenykh slov v sistemnoy organizatsii russkoy leksiki. Tashkent, 1989.
19. *Yantsenetskaya M.N., Rezanova Z.I.* K probleme vnutrenney formy slova // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh: Problemy semantiki*. Tomsk, 1991. S. 17–33.
20. *Golev N.D.* O prirode leksiko-motivatsionnykh otnosheniy v yazyke i rechi // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazyka: Problemy semantiki*. Tomsk. 1991. S. 33–46.
21. *Vvedenie* // *Motivatsionnyy dialektnyy slovar' (govori Srednego Priob'ya)* / pod red. O.I. Blinovoy. Tomsk, 1982. S. 6–23.
22. *Yantsenetskaya M.N.* O funktsional'nom aspekte dialektnogo slovoobrazovaniya // *Yazyk i toponimiy Altaya: Tezisy dokladov k konferentsii*. Barnaul, 1979. S. 92–96.
23. *Yantsenetskaya M.N.* Motivatsionnye otnosheniya v leksike i leksicheskoe gnezdo // *Semanticheskaya struktura slova*. Kemerovo, 1984. S. 3–17.
24. *Yantsenetskaya M.N.* Semanticheskie voprosy teorii slovoobrazovaniya: dis. ... d-ra filol. nauk. Tomsk, 1983.
25. *Golev N.D.* O semanticheskikh tipakh motivatsionnykh otnosheniy // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh. Forma i znachenie*. Tomsk, 1985. S. 31–42.
26. *Shishkina T.A.* Printsipy nominatsii orudiy truda v russkikh narodnykh govorakh // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh: Problemy semantiki*. Tomsk, 1991. S. 89–97.
27. *Shishkina T.A.* Edinitsy nominatsii i ikh osobennosti v govorakh Sibiri i evropeyskoy chasti strany // *Russkie starozhil'cheskie govory Sibiri*. Tomsk, 1967. S. 112–125.
28. *Yantsenetskaya M.N.* Obobshchenno-motivatsionnoe znachenie v semanticheskoy strukture slovoobrazovatel'nogo tipa // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh: Forma i znachenie*. Tomsk, 1985. S. 3–31.

29. Golev N.D. O nekotorykh obshchikh osobennostyakh printsipov nominatsii v dialektnoy leksike flory i fauny // Russkie govory Sibiri. Tomsk, 1981. S. 12–21.
30. Yantsenetskaya M.N. Tematicheskie ob"edineniya proizvodnykh slov i slovoobrazovatel'naya sistema yazyka // Govory russkogo naseleniya Sibiri. Tomsk, 1983. S. 128–145.
31. Ulukhanov I.S. Slovoobrazovatel'naya semantika v russkom yazyke i printsipy ee opisaniya. M.: Nauka.
32. Kubryakova E.S. Kategorii padezhnoy grammatiki i ikh rol' v sravnitel'no-tipologicheskom izuchenii slovoobrazovatel'nykh sistem slavyanskikh yazykov // Tezisy mezhdunarodnogo simpoziuma dekabr' 1984. M., 1984.
33. Fillmor Ch. Delo o padezhe // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 10. M.: Progress, 1981. S. 369–495.
34. Fillmor Ch. Delo o padezhe otkryvaetsya vnov' // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 10. M., 1981. S. 496–530.
35. Vezhbitskaya A. Delo o poverkhnostnom padezhe // Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 15. M., 1985. S. 303–342.
36. Yantsenetskaya M.N. O terminakh «slovoobrazovatel'noe znachenie» i «znachenie slovoobrazovatel'nogo tipa» // Aktual'nye voprosy russkogo slovoobrazovaniya. Tyumen', 1984. S. 8–21.
37. Yantsenetskaya M.N. Slovoobrazovatel'noe znachenie i ego vidy: Osnovnye ponyatiya. Tomsk, 1987.
38. Toroptsev I.S. Leksicheskaya motivirovannost' (na materiale sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka) // Uchen. zap. Orlov. ped. in-ta. T. 22. Orel, 1964.
39. Toroptsev I.S. Slovoizvodstvennaya model'. Voronezh, 1980.
40. Blinova O.I. Motivirovannost' slova i funktsional'nyy aspekt na dialektnom materiale). // Russkoe slovo v yazyke i rechi. Kemerovo, 1976. S. 16–22.
41. Naumov V.G. Motivatsionnye otnosheniya slov dialekta i tipy ikh aktualizatsii (na materiale narymskogo govora) // Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropskikh yazykakh. Tomsk, 1983. S. 64–74.
42. Yantsenetskaya M.N. Yazykovye usloviya aktualizatsii slovoobrazovatel'noy struktury proizvodnykh slov // Russkie govory Sibiri. Tomsk, 1981. S. 92–100.
43. Stepanov Yu.S. Predikatsiya // Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'. M., 1990. S. 393–394.
44. Arutyunova N.D. Predlozhenie i smysl. M., 1976.
45. Teliya V.N. Chelovecheskiy faktor v yazyke / Yazykovye mekhanizmy ekspressivnosti. M., 1991.
46. Kubryakova E.S. Tipy yazykovykh znacheniy / Semantika proizvodnogo slova. M., 1981.
47. Semanticheskie voprosy slovoobrazovaniya / Proizvodyashchee slovo. Tomsk, 1991.
48. Rezanova Z.I. Semantika motiviruyushchego slova // Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropskikh yazykakh // Problemy semantiki. Tomsk, 1991. S. 46–67.
49. Rezanova Z.I. Slovoobrazuyushchie vozmozhnosti sushchestvitel'nogo: avtoref. ... kand. filol. nauk. Tomsk, 1983.
50. Arutyunova N.D. K probleme funktsional'nykh tipov leksicheskogo znacheniya // Aspekty semanticheskikh issledovaniy. M., 1980. S. 166–250.
51. Rezanova Z.I. Slovoobrazuyushchie vozmozhnosti sushchestvitel'nykh so znacheniem artefakta // Govory russkogo naseleniya Sibiri. Tomsk, 1983. S. 145–166.
52. Rezanova Z.I. Semanticheskaya struktura nekonkretnogo imeni sushchestvitel'nogo i ego derivatsionnyy potentsial // Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropskikh yazykakh. Tomsk, 1985. S. 42–56.
53. Rezanova Z.I. O dvukh tipakh propositivnykh osnov imennogo slovoobrazovaniya // Printsipy derivatsii v istorii yazykoznaniya i sovremennoy lingvistike: Tez. dokl. Perm', 1991. S. 193.
54. Rezanova Z.I., Yantsenetskaya M.N. Imya sushchestvitel'noe kak baza ad'ektivnogo slovoobrazovaniya. // Slovoobrazovanie i nominativnaya derivatsiya v slavyanskikh yazykakh: Tez. dokl. Ch. 1. Grodno, 1986. S. 80–83.
55. Kharitonchik Z.A. Imena prilagatel'nye v leksiko-grammaticheskoy sisteme sovremennogo angliyskogo yazyka. Minsk, 1986.
56. Rezanova Z.I. Imya prilagatel'noe kak osnova substantivnogo slovoobrazovaniya // Molodye uchenye i studenty – nauke: Tez. dokl. Kemerovo, 1989. S. 120–122.
57. Kubryakova E.S. Semantika proizvodnogo slova // Aspekty semanticheskikh issledovaniy. M., 1980. S. 87–155.

58. *Lebedeva N.B.* Nekotorye osobennosti glagol'noy semantiki kak motiviruyushchey bazy vnutriglagol'nogo slovoobrazovaniya // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh. Forma i znachenie.* Tomsk, 1965. S. 96–105.
59. *Lebedeva N.B.* Opyt stratifikatsii glagol'noy semantiki i prefiksy kak indikatory aspektov // *Voprosy slovo- i formoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh.* Tomsk, 1991. S. 143–156.
60. *Ufimtseva A.A.* *Tipy slovesnykh znakov.* M., 1961.
61. *Lebedeva N.B.* K voprosu o semantike vozvratnykh glagolov // *Aktual'nye problemy leksikologii i slovoobrazovaniya.* Novosibirsk, 1978. S. 65–73.
62. *Lebedeva N.B.* Semanticheskie osnovy rezul'tativnosti i ob'ektnosti (na materiale glagolov, tranzitivirovannykh prefiksami) // *Voprosy slovoobrazovaniya v indoevropeyskikh yazykakh: Semanticheskiy aspekt.* Tomsk, 1983. S. 52–64.
63. *Lebedeva N.B.* O zavisimosti kharaktera rezul'tativnosti glagola ot odushevlenosti – neodushevlenosti ob'ekta // *Semanticheskaya struktura slova.* Kemerovo, 1984. S. 120–127.
64. *Lebedeva N.B.* *Leksiko-grammaticheskoe issledovanie glagol'noy semantiki (vzaimod-eystvie rezul'tativnosti i ob'ektnosti): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk,* Tomsk, 1979.
65. *Semanticheskie tipy predikatov.* M., 1982.
66. *Grushko N.K.* *Slovoobrazuyushchie vozmozhnosti glagola: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk.* Tomsk, 1984.
67. *Shikanova T.A.* *Slovoobrazovatel'naya paradigma orudiynykh imen (problema derivatsion-nogo potentsiala russkoy leksiki): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk.* Tomsk, 1990.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛЕКСЕЕВ Павел Викторович – канд. филол. наук, доцент кафедры литературы Горно-Алтайского государственного университета; докторант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: concertia@mail.ru

АНИСИМОВ Кирилл Владиславович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Сибирского федерального университета (г. Красноярск). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

БЛИНОВА Ольга Иосифовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета. E-mail: Blinova_11@mail.ru

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Александровна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: tatiana_w_1988@mail.ru

ГАВАР Мария Эрнестовна – аспирант кафедры русского языка Томского государственного университета. E-mail: gaysinamariya@mail.ru

КАМИНСКИЙ Петр Петрович – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики журналистики Томского государственного университета. E-mail: kelagast@yandex.ru / apzh2010@yandex.ru

КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: kv-uliss@mail.ru

КОПЫТОВ Олег Николаевич – канд. филол. наук, науч. сотр. Научно-исследовательского центра Хабаровского краевого института переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования. E-mail: oleg_kopytov@mail.ru

КОЧЕТКОВА Мария Олеговна – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета. E-mail: dla-ko4et@yandex.ru

МОСКАЛЮК Лариса Ивановна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой немецкого языка Алтайской государственной педагогической академии (г. Барнаул). E-mail: l.moskalyuk@yandex.ru

НИКИТИНА Наталья Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». E-mail: gromovanat@list.ru

ПРОНИН Александр Алексеевич – канд. филол. наук, доцент кафедры телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: prozin@mail.ru

РАЗУВАЛОВА Анна Ивановна – канд. филол. наук, докторант Центра теоретико-литературных и междисциплинарных исследований Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург). E-mail: rai-2004@yandex.ru

СЕВАСТЬЯНОВА Светлана Климентьевна – д-р филол. наук, вед. науч. сотр. сектора литературоведения Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск). E-mail: sevask@mail.ru

ТУБАЛОВА Инна Витальевна – канд. филол. наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета. E-mail: tina09@inbox.ru

ТУЛЯКОВА Наталья Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». E-mail: n_tuljakova@mail.ru

ШМЕЛЕВА Татьяна Викторовна – д-р филол. наук, профессор кафедры журналистики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород). E-mail: szmiel@mail.ru

ЯНЦЕНЕЦКАЯ Манна Николаевна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета в 1983–1993 гг. E-mail: klassika4@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://vestnik.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://vestnik.tsu.ru/philology>

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Факс 8(382-2)52-98-46

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2014. № 1(27)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Каипур*

Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 19.02.2014 г. Формат 70x100¹/₁₆.

Печ. л. 12,25; усл. печ. л. 15,92; уч.-изд. л. 15,72.

Тираж 500 экз. Заказ №

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Учебно-производственная типография ТГУ, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 66